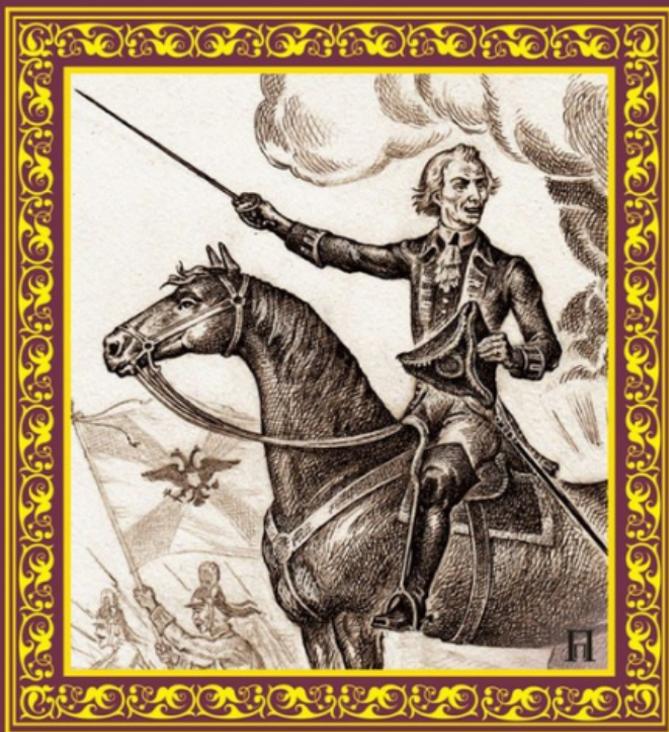


Николай ГЕЙНЦЕ

ГЕНЕРАЛИССИМУС СУВОРОВ



Николай Эдуардович Гейнце

Генералиссимус Суворов

«Солдат и в мирное время на войне». Этот девиз проходит через всю судьбу Александра Васильевича Суворова.

Известный русский писатель Николай Гейнце рассказывает о том, как из слабого здоровьем, застенчивого и чрезвычайно любящего книги юноши вырос герой и великий полководец, обожаемый своими солдатами за мягкость характера, за тихую грусть, которая была написана на его лице и в которой чуткий русский человек угадывал душевную боль, отзываясь на него всем сердцем.

Суворов был участником более 60 сражений и не потерпел ни одного поражения в своей военной карьере. В жизни его главной целью было: спасти Европу, а принципом — лицом к врагу!

Содержание

#1	0007
Об авторе	0008
Избранная библиография Николая Гейнце:	0013
Часть первая Молодость орла	0014
I Над трупом	0014
II Поверенный	0027
III В доме князя Прозоровского	0040
IV Донской монастырь	0050
V В Польше	0062
VI На Висле	0073
VII Детство Суворова	0086
VIII Дикарь	0098
IX Питомец Петра Великого	0109
X Суворов-солдат	0121
XI Петербург елизаветинского времени	0134
XII На новоселье	0145
XIII Первые впечатления	0158
XIV Прелестница	0170
XV Петергоф	0182
XVI Императрица Елизавета	0195
XVII Царский подарок	0207
XVIII В роще	0222
XIX Роман Суворова	0235
XX Смерть Глаши	0248
XXI Суворов-офицер	0263

XXII Семилетняя война	0275
XXIII Начало известности	0285
XXIV Заговоренный	0297
Часть вторая В узах Гемenea	0309
I Сонное видение	0309
II Бунт	0323
III Смутьян	0335
IV Герой	0350
V Молодой старик	0361
VI Приговор подписан	0374
VII В Баратове	0388
VIII Предложение сделано	0404
IX Пилюли патера Флорентия	0421
X После двух смертей	0433
XI Невеста и сестра	0450
XII Дневник Капочки	0464
XIII Фитиль на пушке, Суворов в поле	0481
XIV Краковский замок	0492
XV Первый раздел Польши	0503
XVI Монаршее слово	0514
XVII Победителей не судят	0527
XVIII Сватовство	0537
XIX Под властью «змия»	0550
XX Накануне	0565
XXI Женильба	0578
Часть третья Опальный фельдмаршал	0590
I В Нейшлоте	0590
II На свадьбе	0603

III Семейные неурядицы	0615
IV Почти опала	0626
V «Ку-ка-ре-ку»	0640
VI Фельдмаршал	0651
VII Отец и дочь	0664
VIII Приём	0674
IX Ссылка	0687
X В медвежьем углу	0699
XI При дворе императора Павла	0712
XII Исповедь монаха	0724
XIII Спаситель царей	0739
XIV В Вене	0748
XV Выступление	0759
XVI От победы к победе	0771
XVII В горах	0784
XVIII Победитель природы	0796
XIX Непонятная опала	0808
XX Здесь лежит Суворов	0819
XXI Вместо послесловия	0830

**Николай Эдуардович Гейнце
Генералиссимус Суворов**

© Оформление. ООО «Метропресс», 2012
© ООО «Издательство „Вече“», 2012

Об авторе



Николай Эдуардович Гейнце (1852–1913)

Автор целой библиотеки исторической остросюжетной беллетристики, известный всей читающей дореволюционной России,

Николай Эдуардович Гейнце родился 13 (25 по новому стилю) июня 1852 года в Москве. Отец, чех по национальности, — преподаватель музыки, мать — костромская дворянка, в девичестве носившая фамилию Ерылыкова. После учебы в московском пансионе Кудрякова, а затем и в Пятой московской гимназии, Гейнце поступил на юридический факультет Московского университета, который успешно окончил в 1875 году. Став присяжным поверенным в Москве, он совместно с выдающимся адвокатом Плевако провел несколько крупных процессов, в числе которых было и громкое дело «червонных валетов». В 1879–1884 годах служил в Министерстве юстиции, в тридцать с небольшим лет стал товарищем (заместителем) прокурора Енисейской губернии. В 1884 году Гейнце вышел в отставку, чтобы заниматься только литературной работой.

Поэзия и проза за подписью «Н. Гейнце» стала появляться в московских изданиях с 1880 года. За год жизни в Петербурге им был написан роман, объемом в тысячу страниц, названный «В тине адвокатуры», вышедший

в приложении к журналу «Луч». В романе воссоздавалась жизнь Москвы 70-х годов девятнадцатого века, и современники писателя сразу обратили внимание на цепкую память к деталям, наблюдательность, зрелость размышлений автора. В 1888 году Гейнце стал главным редактором газеты «Свет». Его работоспособность поражала современников, поговаривали даже, что он, как и Дюма-отец, имел штат литературных «негров»...

В 1891 году автор опубликовал свой первый исторический роман «Малюта Скуратов». Следующий роман, «Аракчеев», посвящался «Малюте Скуратову» царствования Александра I. Левая пресса не могла простить писателю, что традиционно ненавистного А.А. Аракчеева, вошедшего в русскую историю как создатель военных поселений, — он показал фигурой страдательной, хоть и извергом, но несчастным и кающимся. Затем один за другим вышли огромными тиражами романы: «Генералиссимус Суворов», «Князь Тавриды» — о князе Потемкине времен Екатерины II, «Коронованный рыцарь» — об императоре Павле, «Первый русский самодержец» —

об объединителе земли Русской Иване III. Той же эпохе были посвящены романы «Новгородская вольница» и «Судные дни Великого Новгорода» — о присоединении Новгорода к Москве. Роман «Ермак Тимофеевич» вновь возвращал читателей к событиям царствования Ивана Грозного. В своих произведениях, обращены они к личности государей или «простых смертных», попавших в их силовое поле, Гейнце искал тот человеческий стержень, который позволял оставаться человеку Человеком в любых обстоятельствах добра и зла.

В 1899 году Гейнце стал сотрудником «Петербургской газеты», в качестве военного корреспондента участвовал в Русско-японской войне 1904–1905 годов. Издал книгу очерков «В действующей армии» (1904, 1907). В эти последние тринадцать лет работы им было написано семь книг прозы. Кроме того, из-под пера автора вышло несколько пьес, вызвавших нападки театральной критики, но имевших успех у зрителя. Всего же им написано более сорока книг. Умер Николай Эдуардович Гейнце 24 мая (6 июня) 1913 года в Киеве и по-

хоронен в Санкт-Петербурге.

От множества современных и более поздних писателей, пишущих на увлекательные темы русской истории, его отличали глубокое проникновение в суть описываемых событий, серьезная работа с документальными источниками, многие из которых оказались безвозвратно утраченными в наши дни, активная гуманистическая и православная идея.

Александр Зеленский

Избранная библиография Николая Гейнце:

- «Малюта Скуратов» (1891).
- «Жертва житейского моря» (1892).
- «Аракчеев» (1893).
- «Князь Тавриды» (1895).
- «Новгородская вольница» (1895).
- «Коронованный рыцарь» (1895).
- «Генералиссимус Суворов» (1896).
- «Герой конца века» (1896).
- «Судные дни Великого Новгорода» (1897).
- «Современный самозванец» (1898).
- «Ермак Тимофеевич» (1900).

Часть первая Молодость орла

I

Над трупом

— Он спит?
— Странно, с полчаса тому назад он говорил со мной и пошел в кабинет, чтобы принести мне и показать отделанный в рамку портрет на кости, который я ему подарила...

— Значит, он пошел и заснул... Впрочем, это отчасти хорошо. Он сегодня снова утром страдал припадками мигрени... На него было жалко смотреть, и когда мне сказали, что ты приехала, я порадовалась за него, я подумала, что это развлечет его и успокоит его страдания...

— Но где ты была?

— Мне надо было сделать несколько распоряжений по хозяйству... Несносная Гавриловна только и знает, что говорить: «Как вы прикажете, ваше сиятельство», а когда «мое сия-

тельство» приказывает, то она все-таки делает по-своему... А ты давно?..

— Я приехала уже около часу... Мадемуазель Лагранж, узнав, что ты у себя, впустила меня в подъезд, а сама поехала по своим делам, обещав заехать за мной через два часа... Как он, однако, крепко спит... Мы говорим с тобой довольно громко...

— Тем лучше, у него пройдет головная боль, и он через полчаса, много час, встанет свежий и бодрый... Приедет Эрнестина Ивановна, и мы все вчетвером поедем кататься... Пойдем ко мне... Пусть спит...

— Но мне почему-то делается страшно при виде его... И потом, посмотри, что-то лежит на ковре около дивана...

Так разговаривая, стояли в открытых дверях роскошно убранного кабинета две молодые девушки.

Одна из них, хозяйка дома, княжна Александра Яковлевна Баратова, была сильная брюнетка, со смуглым лицом и ярким румянцем на покрытых пушком щеках; орлиный нос, несколько загнутый книзу, придавал ее лицу почти строгое выражение, а тонкие ли-

нии у углов полных, чувственных ярко-красных губ красноречиво говорили о твердом характере. Над верхней губой сильно пробивались усики, а нижняя была несколько выдвинута вперед, производя впечатление надменности и недовольства окружающими.

Большие темно-карие глаза, всегда полузакрытые веками с длинными, густыми ресницами, были прелестны, но никто не мог уловить их выражения, и если они, согласно поговорке, были зеркалом души княжны Александры Баратовой, то в этом зеркале нельзя было рассмотреть этой души.

Княжна была роста немного выше среднего. Бюст умеренной полноты и вся ее фигура, соразмерная в своих частях, давала бы ей право назваться грациозной, если бы не было одного недостатка, который не мог быть скрыт даже лучшей московской портнихой, — княжна была кривобока.

Ей, как она сама говорила и как с ней любезно соглашались, шел двадцать третий год. Московские остряки уверяли, что этому нельзя не верить, так как княжна уже несколько лет, как всех в этом уверяет.

Другая гостья была княжна Варвара Ивановна Прозоровская. Стройная шатенка, с тонкими чертами лица и с тем наивным испуганно-недоумевающим взглядом голубых глаз, который так нравится в женщинах пожившим людям. Маленький ротик и родимое пятнышко на нижней части правой щеки были ее, выражаясь языком паспортов, особыми приметами. Княжне Прозоровской шел двадцатый год, что не подлежало сомнению и никем не оспаривалось.

Обе девушки были одеты по тогдашней последней моде, с тем богатством и роскошью, которые не бьют в глаза и служат признаком настоящего аристократизма. Княжна Баратова была одета несколько проще, в домашнее платье.

Описанная нами сцена происходила 8 декабря 1772 года.

— Что такое ты там видишь на ковре? — спросила княжна Александра Яковлевна, щурясь своими близорукими глазами.

— Видишь, что-то голубое... Подойдем.

Молодые девушки на цыпочках приблизились к спавшему на диване князю Владимиру

Яковлевичу Баратову.

Князь, похожий на сестру, был красавец в полном смысле этого слова, но на его матово бледном лице бурно прожитая ранняя юность положила свой отпечаток. В момент нашего рассказа ему было тридцать шесть лет. Рано лишившись отца и матери, он, по выходе из шляхетского корпуса, недолго прослужил в Петербурге в одном из гвардейских полков, вышел в отставку и уехал за границу, где при самой широкой жизни не мог не только истратить колоссального, доставшегося ему от родителей состояния, но не в силах был тратить всего годового дохода. По этому одному можно было судить о колоссальном его богатстве. Здоровье, впрочем, хотя и отпущено ему тоже довольно щедро природой, — было растрачено.

Вернувшись из-за границы, князь поселился в своем великолепном доме на Тверской улице, куда для совместной с ним жизни приехала и окончившая курс в Смольном институте в Петербурге его сестра Александра Яковлевна, или, как он ее называл, Alexandrine. У последней было отделенное по завещанию

отцом и матерью приданое, состоящее из капиталов и имений в разных губерниях и в общей сложности превышающее миллион.

Понятно, что князь и княжна были кумиром московских гостиных, как более чем заманчивые жених и невеста. Первого спали и видели маменьки и дочки, а за второй вился постоянно целый хвост претендентов и старых, и молодых, и военных, и штатских.

Брат и сестра, видимо, однако, не спешили оправдать возложенных на них надежд. Погоня за их особами и капиталами пока что оставалась безрезультатной.

Князь Владимир Яковлевич, с самой ранней юности избалованный женщинами, пресыщенный ими в Петербурге и за границей, не спешил выбирать себе подругу жизни, не заботился о продолжении доблестного и древнего рода князей Баратовых, спокойно живя с сестрой, окруженный множеством крепостных слуг, на обязанности которых было вести дом так, как было «при стариках», за чем главным образом наблюдала ключница Гавриловна.

Княжна Александра Яковлевна тоже оказа-

лась из «разборчивых невест», разборчивее даже выше тех прав, которые, по мнению большого московского света, давало ей ее громадное состояние.

— Убогая, а туда же, разбирает... — говорили отвергнутые претенденты, намекая этим на несколько искривленный стан богатой невесты.

Они не смогли додуматься, что именно это «убожество» красавицы княжны заставляло ее быть на самом деле чрезвычайно разборчивой. Убожество это произошло с княжной в младенчестве, когда она была окружена множеством нянек и мамок, одна из которых, заговорившись с другой, уронила ребенка, всецело оправдав пословицу, что «у семи нянек дитя без глазу», что и причиняло молодой девушке много нравственных страданий.

Вся эта толпа поклонников, казалось ей, гонится только за ее миллионами, а потому она, предубежденная против них, не хотела даже ни к одному из них близко присмотреться. Ее съедало дьявольское самолюбие, ей хотелось властвовать над людьми, над своим состоянием, своей личностью, красотой,

умом, и само это состояние, вступавшее в соперничество с ней, было ей противным. Оно, казалось ей, кроме того, крайне ничтожным.

С годами душевное состояние княжны еще более обострялось.

Невнимание к окружающим ее поклонникам сменилось какою-то глухою ненавистью ко всем мужчинам, не исключая и ее родного брата.

Таким образом, княжна Баратова массой злобствующих поклонников была зачислена в старые девы. Сама княжна, конечно, этого не признавала, упорно не желая считать свои лета далее двадцати двух.

Князь Владимир Яковлевич сдался скорее сестры и в момент нашего рассказа был уже объявлен женихом княжны Варвары Ивановны Прозоровской, увлекшей его детски-наивным выражением своего милостивого личика. Красавец князь произвел на молодую девушку впечатление, а его богатство вскружило ей голову. Сама княжна сравнительно с миллионером женихом была бесприданница. Они уже были обручены, и свадьба была назначена в январе.

— Это и есть мой портрет!.. — вскрикнула княжна Варвара Ивановна, поднимая с полу замеченный ею голубой предмет. — Он бросил его на пол...

Краска негодования залила ее лицо. В руке она действительно держала свой портрет, вделанный в футляр голубого бархата с золотыми застежками и украшениями в виде инициалов ее имени и короны.

— Тише... тише... что ты кричишь!.. Ты разбудишь его...

— И пусть... Пусть он встанет и объяснит мне, как он смел бросать на пол мой портрет?.. — топнула ногой княжна Прозоровская.

Княжна Баратова не отвечала. Она широко раскрытыми глазами смотрела на лежавшего брата и только после довольно продолжительного молчания сказала:

— Постой... Как он, однако, крепко и странно спит... Уж спит ли он?..

— Что ты хочешь этим сказать? — вздрогнула княжна Варвара Ивановна.

Княжна Александра Яковлевна между тем подошла к дивану и положила свою руку на голову брата. Она тотчас же отняла эту руку,

ощутив под ней могильный холод.

— Он умер!.. — успела она вскрикнуть и как подкошенная упала около дивана.

— Умер!.. — вне себя вскрикнула княжна Прозоровская и тоже как сноп упала на ковер, выронив из рук портрет.

В кабинете все стихло. В нем, казалось, лежало вместо одного три трупа.

Первая пришла в себя Александра Яковлевна. Она приподнялась, встала и обвела глазами кабинет, лежавшего на диване брата и на полу его бесчувственную невесту. Нечто вроде злорадной усмешки промелькнуло на ее губах. Несколько минут она стояла посреди кабинета, как бы соображая. Затем она вдруг вскрикнула почти диким голосом и снова упала на пол.

Этот крик был услышан слугами, которые и явились в кабинет его сиятельства. Их удивленным глазам представилась странная картина: лежавшего на диване князя и валявшихся на полу двух барышень. Позванные горничные унесли бесчувственных княжон в апартаменты княжны Александры, где молодых девушек стали приводить в чувство.

Княжна Александра Яковлевна пришла в себя первая.

— Брат умер... умер?.. — был первый ее вопрос.

— Скончались... — почтительно отвечала Дуняша, специально ходившая за княжной, и быстрым, испытующим взглядом окинула свою госпожу.

Княжна потупилась и не сказала более ни слова.

Обморок с княжной Варварой Ивановной был более продолжителен. Только после невероятных усилий, прыскания холодной воды, натирания висков спиртом она очнулась и открыла глаза.

— Неужели он умер?.. — прошептала она. Ей не отвечали ничего.

В комнату в то время вошла бывшая гувернантка княжны, ставшая ей компаньонкой, Эрнестина Ивановна Лагранж.

Это была обрусевшая француженка, вернее, швейцарка, чистенькая старушка, с молодыми, блестящими глазами и быстрыми манерами. Она уже знала о происшедшем несчастии в доме Барановых.

Увидев ее, княжна, уже сидевшая в кресле, вскочила, бросилась к ней на шею и зарыдала.

— *Quel malheur! Quel malheur!..*[1] — шептала она.

— *Pleurez, ma petite, pleurez... C'est le mieux, que vous puissiez faire dans ces circonstances*[2], — сказала француженка.

Она бережно усадила рыдавшую княжну снова в кресло и дала ей выплакаться. Слезы облегчили молодую девушку, и через несколько времени Эрнестина Ивановна могла с помощью двух горничных одеть ее, вывести из подъезда, посадить в карету и увезти домой. Овдовевшая так неожиданно невеста всю дорогу тихо плакала.

— А я еще рассердилась на него, что он бросил на пол мой портрет... А он выронил его из рук перед смертью... — рассказывала она Эрнестине Ивановне все, что произошло в кабинете покойного князя.

Старушка сочувственно качала головой.

— Но зачем же было входить в кабинет, когда мужчина спит?.. — не удержалась она, чтобы не сделать замечания.

Княжна удивленно вскинула на нее глаза.

— Но ведь он был мертвый... — прошептала она, как бы извиняясь.

Старушка не нашлась сразу, что ответить, но затем сказала:

— *C'est egal...* Все равно... — даже перевела она на русский язык, который, кстати сказать, она знала хорошо, хотя и говорила с сильным акцентом.

И княжна, и компаньонка, поняли, вероятно, что вследствие пережитого ими обеими волнения они могут договориться до полного абсурда. Княжна продолжала тихо плакать.

II

Поверенный

Еще до отъезда из дома княжны Варвары Ивановны Прозоровской роскошные залы, гостиные и кабинет покойного наполнились множеством народа, любопытными слугами как из княжеского дома, там и домов почти всего околотка.

Оправившаяся от обморока княжна Александра Яковлевна распорядилась послать за докторами. Их прибыло трое. Явилась и полиция, тотчас освободившая апартаменты его сиятельства от непрошенных и несоответствующих им посетителей.

Доктора констатировали смерть и ввиду того, что труп начал уже коченеть, не прибегли даже к мерам оживления. Домашний доктор князя Владимира Яковлевича на вопрос местного частного пристава о причинах такой внезапной смерти промычал в ответ что-то чрезвычайно неопределенное, а на просьбу княжны, сестры покойного, выдать свиде-

тельство о смерти, несмотря на то, что ощутил в своей руке пачку крупных ассигнаций, только замахал руками, разжав из них даже ту, в которую он взял деньги. Ассигнации упали на пол. Доктор ушел.

Частный пристав с галантностью военного человека поднял ассигнации, быть может желая возвратить их хозяйке. Но княжна в то время быстро пошла к выходу. Полицейский чиновник несколько времени подержал ассигнации в руках, следя глазами за удаляющейся Александрой Яковлевной, затем вдруг, как бы спохватившись, быстро сунул их в карман.

Сцена эта происходила в зале, уже освобожденной от народа, когда остальные доктора, получив в свою очередь за визит, уехали, а Карл Богданович Отт — так звали домашнего доктора князя — задержался в беседе с княжной.

В кабинете раздели покойного и готовились обмывать его, а в гостиной письмоводитель пристава писал протокол осмотра трупа внезапно скончавшегося князя Владимира Яковлевича Баратова. По какой-то чисто по-

лицейской чуткости частный пристав вошел в залу именно в тот момент, когда Карл Богданович, замахав руками, выронил деньги.

Слух о внезапной смерти Баратова облетел всю Москву с быстротою срочной эстафеты. Известие это варьировалось на разные лады и приобрело в конце концов фантастическую окраску: толковали о преступлении, отраве, мести, ревности, словом, в устах московских кумушек сложился целый роман.

Ввиду этих настойчивых слухов, а главное — отказа домашнего врача князя выдать свидетельство о смерти, на чем главным образом были и основаны толки о неестественной смерти жениха княжны Прозоровской, тело Владимира Яковлевича было вскрыто, как бы для бальзамирования, которое было на самом деле произведено. По вскрытии оказалось, что смерть последовала от паралича сердца. Этот результат успокоил встревоженное начальство, боявшееся, чтобы московские слухи не достигли до Петербурга, но не накинул платок на роток московских сплетниц, исторически известных всему цивилизованному и даже, вероятно, нецивилизованному

миру. Легенда о смерти князя Баратова продолжала гулять по Москве, став, впрочем, достоянием ее окраин. Московский большой свет позабыл о ней под наплывом новых новостей, новых сплетен.

Похороны молодого князя Владимира Яковлевича Баратова, получившие, вследствие его смерти чуть ли не накануне свадьбы, романтический оттенок, были чрезвычайно многолюдны. Весь петербургский бомонд был налицо и частью пешком, а частью в самых разнообразных экипажах проводил гроб покойного из его дома в церковь Донского монастыря, на кладбище которого, в фамильном склепе князей Баратовых, нашел вечное упокоение последний из их рода по мужской линии.

Горе сестры и невесты покойного было неопишимо. Их несколько раз выносили из церкви в обмороке. Последний обморок с молодыми девушками произошел в момент опущения гроба в могилу. Великолепный помпезный обед в доме безвременного угасшего князя завершил печальную церемонию.

По истечении девятого дня со дня смерти

князя Владимира Яковлевича к его сестре стали делать так называемые «визиты соболезнования». Княжна Александра Яковлевна принимала выражения сочувствия с видом холодной грусти, без тени смущения, с величайшей «корректностью», выражаясь любимым словом московских великосветских гостиных того времени.

Единственно, что было подмечено зоркими соглядатаями, — это появление в доме княжны Баратовой, в качестве своего человека, графа Станислава Владиславовича Довудского, принятого в лучшем тогдашнем московском обществе и то появлявшегося в великосветских гостиных Белокаменной, то исчезающего из них на неопределенное время.

Откуда он появлялся и куда исчезал — никому не было известно, да никто об этом и не допытывался. Присутствие в гостиной княжны графа в качестве услужливого кавалера ничуть, кстати сказать, не показалось странным, несмотря на репутацию завязтого ловеласа, которой пользовался граф Довудский, сорокалетний красавец, неизвестно на какие средства, но всегда широко живший в столи-

це.

Польская колония в Москве была в то время довольно значительна. Представителей ее мы не будем называть, так как и в самой Польше, и всюду, где появляются ее сыны и дочери, роль представительниц выпадает на долю последних. Среди московских, принятых в великосветском кругу, полек выдавались две.

Одна из них была вдовствующая княгиня Елена Станиславовна Велепольская, урожденная графиня Потоцкая, полная, почти толстая, высокого роста женщина, лет шестидесяти, с резкими, правильными чертами когда-то чрезвычайно красивого лица, величественной осанкой и надменным лицом. Она была тщеславна до глупости. Две знатные фамилии, к которым она принадлежала, были в родстве с Чарторыйскими и Радзивиллами, которые, как известно, породнились с домами Прусским и Виртембергским; она была в отдаленном свойстве с Понятовским, который сидел на польском троне. Все это вскружило голову ее покойному мужу. Он возмечтал, что он сам король, и промотал все свое

состояние на милостях к своим подданным. Этой манией величия заразилась и его супруга.

Когда и каким образом она появилась в Москве, в точности неизвестно, но жила в обширном и ветхом доме на Сивцевом Вражке, куда из последнего проданного польского поместья успела спасти портреты своих родственников, императоров и королей и сидела, окруженная ими; дворню свою называла двором, имела несколько модных фрейлин, панов-служанцев, а из мелкой дробной шляхты ей нетрудно было набрать маршалков и шталмейстеров.

Оригинальность другой старухи польки была иного рода. Графиня Казимира Сигизмундовна Олизар знатностью происхождения могла поспорить с княгиней Велепольской. В молодости, как говорят, она была одной из красивейших женщин Польши, славившейся и тогда своими красавицами. В описываемое нами время ей казалось более семидесяти лет. Ее наружность трудно поддается описанию. Это был увенчанный розами высохший труп, в котором, однако, заметны были еще

признаки жизни. Сухощавая, сторбленная, вся дрожащая старушка, одетая как шестнадцатилетняя девочка, предмет участия, сострадания и смеха. Румяна и белила с нее сыпались. Она была мрачна и угрюма, и ее глубоко ушедшие в орбиты черные глаза горели каким-то зловещим, адским огнем. Любовь оспаривала ее у смерти, но торжество последней казалось близким. Любопытно было видеть эту сухую, как щепку, графиню подле толстой княгини Велепольской. Обе с удовольствием говорили о любви, но для второй она была только веселым воспоминанием, а для первой — вседневным делом, насущной потребностью. И не удивительно: у одной было тощее тело, у другой тощий карман. Три или четыре поляка, записные обожатели графини Олизар без стыда и ревности, всюду ее сопровождали. Московские франты того времени, далеко не гнушавшиеся должностью «альфонсов», в данном случае уступали в храбрости полякам; ни один из них не дерзнул вступить в свиту графини.

Во главе поклонников последней стоял граф Станислав Владиславович Довудский.

Он был любимцем пылкой развалины, не жалевшей для него громадного состояния ее покойного мужа. Таков был источник доходов богатого и тароватого графа.

Болезнь графини Олизар, приковавшая ее к постели, заставила сообразительного графа переменить диверсию и записаться страстным поклонником княжны Александры Яковлевны Баратовой. Он давно наметил эту жертву, указанную ему его сообщниками, но зоркий глаз старой ревнивицы держал его в почтительном отдалении от княжны.

Побаивался он и покойного князя Владимира Яковлевича, а главное — не хотел менять верный доход от своего чувства к графине на гадательную ренту от ухаживания за княжной. Смерть князя и болезнь графини придали ему бодрости.

Он знал, что не забыт старухой в ее завещании, и ежедневно час или два проводил около больной, но при всем этом он соображал, что ей надо найти преемницу. Такой преемницей, и самой подходящей, по мнению графа, была княжна Баратова. Он втерся в ее доверие под видом помощи в устройстве

дел ее покойного брата.

Подозрительная княжна приняла сначала услуги этого полужнакомого ей человека, которого она встречала в московских гостиных и изредка у себя, очень холодно и даже сделала ему серьезный отпор. Это, впрочем, не смутило нахального поляка.

— Напрасно, княжна, вы так швыряетесь друзьями! — хладнокровно заметил он, когда она на его предложение помочь ей в устройстве дел отвечала, что не нуждается ни в чьих услугах.

— Друзьями?! — презрительно оглядела его с головы до ног Александра Яковлевна.

— Да, княжна, друзьями или теми, кто хочет ими сделаться, — не сморгнув глазом, как бы не замечая презрительного взгляда и тона княжны, продолжал граф Довудский.

— Но надо спросить также и меня, я думаю, хочу ли я иметь другом того или другого? — высокомерно заметила княжна.

— В вашем положении не следует быть разборчивой.

Княжна побледнела. Кампания против нее хитрого поляка была выиграна.

— Впрочем, — продолжал граф Владислав Станиславович, — к чему с моей стороны такое самоунижение. Я совсем не представляю из себя человека, дружбой с которым могла бы пренебрегать даже княжна Баратова, если бы даже брат ее не умер так внезапно, оставив ее сиротою, оплакивающею его безвременную кончину. По рождению, по крови еще неизвестно, кто знатнее, князя Баратовы или графы Довудские.

Княжна окинула было его снова гневным взглядом, но это было лишь на мгновение: она опустила глаза под неотводно смотрящими на нее черными, как уголь, глазами графа.

— Так-то, княжна... Давайте вашу руку, и, поверьте, вы найдете во мне самого преданного друга, который заставит замолчать злые языки ваших врагов, — их у вас слишком довольно, чтобы наживать новых, — и даже некоторых друзей вроде пана Кржижановского.

При упоминании графом последнего имени княжна вдруг вспыхнула, но эта мгновенная краска сменилась моментально мертвенною бледностью. Граф Довудский продолжал

стоять с протянутой рукой, пристально глядя на свою собеседницу. Последняя машинально подала ему руку. Станислав Владиславович с чувством поцеловал ее. Княжна вздрогнула, но не отняла руки.

— На жизнь и на смерть! — с пафосом произнес граф. Александра Яковлевна не отвечала ничего. Так заключен был этот странный союз.

На другой же день после этого разговора граф Довудский получил полную доверенность на ведение дел княжны Баратовой и ревностно принялся за исполнение своих обязанностей. Он без усталости рыскал по присутственным местам первопрестольной столицы, вел тайнственные переговоры со стряпчими и маклерами и еженедельно давал обстоятельный отчет своей доверительнице.

Княжна слушала рассеянно отчеты ее поверенного против ее воли. Она, видимо, примирилась с ним, как с неизбежным злом. За последнее время она вдруг сделалась религиозной, почти ханжой, и ежедневно ездила на поклонение московским святым и на могилу брата. Под влиянием этого настроения, быть

может, она считала графа Довудского грозным посланцем разгневанного неба.

Граф Станислав Владиславович благоговейно относился к религиозности своей доверительницы и ничем не нарушал ее стремлений к небесному. Это ему было тем выгоднее, что к числу «земного» относились и капиталы, и доходы княжны Баратовой, над которыми он в очень скором времени уже стал повластным распорядителем.

Женитьба и даже серьезное ухаживание за княжной не входили, как видно, в расчеты графа Довудского. Болевшая, но еще сильно боровшаяся со смертью графиня Казимира Сигизмундовна Олизар служила ли к тому препятствием или же Станислав Владиславович находил, что и без обладания княжной, законно или незаконно, он достаточно крепко держит ее в руках ему одному известными средствами.

Кто проникнет в черные думы поляка?

III

В доме князя Прозоровского

В доме генерал-аншефа князя Ивана Андреевича Прозоровского весть о неожиданной внезапной кончине князя Владимира Яковлевича Баратова произвела впечатление громавого удара. Привезенную княжну прямо из кареты отвели в ее комнату, а сопровождавшая ее Эрнестина Ивановна Лагранж тотчас же приказала доложить о себе старому князю.

Последний находился в кабинете и играл в шашки с учителем живших в доме князя двух племянников, Сигизмундом Нарцисовичем Кржижановским, проживавшим уже в течение нескольких лет в доме князя и успевшим не только привязать к себе своих учеников, но и получить неотразимое влияние на князя Ивана Андреевича.

Дом князя Прозоровского находился на Никитской, близ церкви Вознесения. Он был, как большинство московских домов того времени, одноэтажный, деревянный. Главный

корпус стоял в глубине двора, в середине которого, как раз перед домом, разбит был круглый садик с жидкой растительностью, в описываемое нами время занесенный снегом.

По обеим сторонам главного дома, составляя как бы полукруг, выступали фасадом на улицу два флигеля, по три окна каждый, в одном из которых помещалась людская и кухня, а другой был отдан «под учителя», как выражалась княжеская дворня, который жил в нем со своими учениками. Флигеля были соединены с главным домом теплыми галереями.

Неуклюжий, далеко выдающийся вперед деревянный подъезд вел в обширные сени и просторную переднюю, где всегда дежурило несколько заспанных лакеев в ливрейных, затасканных фраках с заплатами на локтях и потрепанными фалдами. Нельзя сказать, чтобы слуги княжеского дома отличались чистотой и опрятностью, а потому в прихожей царил какой-то промозглый запах.

В самом доме было множество комнат; зала, две гостиных, угольная составляли так называемую парадную часть дома. Убранство

их было несколько странно, хотя не отличалось от домов других московских бар средней руки, по состоянию к которым принадлежал и князь Прозоровский. Рядом с вычурной мебелью попадались стулья домашнего, грубого изделия из простого дерева, окрашенные желтой краской; рядом с картинами зарубежных мастеров висела мазня доморощенного крепостного живописца.

Эрнестина Ивановна, опередив шедшего с докладом о ней лакея, быстро вошла в кабинет.

Быстро отворенная Эрнестиной Ивановной дверь кабинета заставила вздрогнуть князя, внимательно следившего, какой решительный ход сделает его противник, а последнего заставила поднять его красивую голову от шахматной доски.

— Что случилось? — голосом, в котором слышался испуг, спросил князь Иван Андреевич.

В Москве считали князя «странным», «чужаком», иные шли даже далее и находили его поврежденным в уме. Он действительно был страшно нервен и впечатлителен.

Как причину княжеских странностей и чудачеств в Москве рассказывали целый роман из его жизни. Говорили, что в молодости, вскоре после свадьбы, во время одной из поездок князя с молодой княгиней в Москву из его Саратовского имения, на дороге на них напали разбойники. Последние были дворовые люди, во главе с соседним помещиком вдовцом-красавцем, по уши влюбленным в княгиню. Преступная их цель была украсть молодую женщину.

Цель была достигнута. Княгиня Зоя Борисовна, находившаяся в интересном положении, была привезена в дом укравшего ее помещика, находившийся в пяти верстах от имения князя Ивана Андреевича, куда и вернулся несчастный, лишившийся своего сокровища, муж. Князь боготворил свою жену.

В страшном отчаянии он дожидался утра, чтобы поехать заявить местному губернатору о случившемся, но на рассвете похититель сам привез обратно похищенную им княгиню и упал в ноги оскорбленному мужу. Оказалось, что молодая женщина сумела повести себя со своим непрошеным обожателем с та-

ким достоинством и с такой холодностью, отнявшими у него всякую надежду на взаимность, добиться которой он решился таким отчаянным средством, начитавшись во французских романах о романтических приключениях, где женщины отдавали свое сердце придорожным героям.

Русская княгиня оказалась непохожею на героинь этих романов. Она привела его в такое смущение, что он, покорно следуя ее приказаниям, проводил ее к мужу. Это похищение и сила воли, с которою она поборола свое волнение, однако, не прошли ей даром.

Первенец князя родился мертвым. Добавляли, что, узнав об этом, похититель, на самом деле искренне любивший молодую женщину, бросил свое именье, отправился на богомолье и поступил в монахи в один из отдаленных монастырей.

Недолго князю Ивану Андреевичу пришлось быть счастливым с героиней-княгиней. Рождение дочери, княжны Варвары, стоило жизни матери. Князь Иван Андреевич был совершенно убит обрушившимся на него ударом. Около года он ни с кем ничего не го-

ворил и казался совершенно сумасшедшим.

С годами это прошло, но странности в характере князя остались. Всю свою любовь он перенес на свою дочь, Варвару Ивановну, царившую в доме неограниченную повелительницей и считавшую в числе своих верных рабов и старика отца. В детстве это был прямо ребенок-деспот. С годами деспотизм несколько сгладился, но следы его остались в характере молодой девушки.

— Что случилось?.. — повторил князь, видя, что старуха француженка от волнения не может произнести ни слова.

— Какое несчастье, какое несчастье! — наконец вымолвила Эрнестина Ивановна на своем родном языке.

Князь Иван Андреевич вскочил и даже весь затрясся.

— Дочь...

— Княжна у себя, она очень, очень расстроена, такой неожиданный удар.

— Но что же случилось, скажете ли вы наконец?.. — вмешался в разговор Кржижановский.

Князь Иван Андреевич, жаждавший также

узнать поскорее случившееся несчастье, поблагодарил его взглядом.

— Князь Баратов... — начала Эрнестина Ивановна и остановилась.

— Заболел?.. — спросил князь.

— Умер... — глухо произнесла француженка.

— Умер!.. — в один голос воскликнули князь и Кржижановский.

Князь как-то даже скорее упал, нежели сел снова на диван, почти бессмысленным взором обводя присутствующих.

— Успокойтесь, князь, — заговорил Сигизмунд Нарцисович, — ведь если человек умер, то ему уже не поможешь... Хорошо, что это случилось до свадьбы... Приятно ли было вам видеть вашу дочь вдовою в первый же год замужества? Бог с ним и с богатством... Княжне Варваре Ивановне не нужно богатства... Она сама — богатство... ей нужно счастье, а счастья не мог дать ей этот больной человек.

Для вящей убедительности в своей речи он даже дотронулся рукою до плеча князя. Он знал князя Ивана Андреевича — похвала дочери было лучшим успокоительным для него

лекарством.

— Вы правы, Сигизмунд Нарцисович, правы, как всегда... Но что с Варей... Я пойду к ней... — заторопился князь и даже уже привстал с дивана.

— Оставьте, князь, дайте ей успокоиться, девушки обыкновенно лучше справляются со своими чувствами наедине... Княжна, конечно, потрясена неожиданностью удара... Она привыкла, быть может, к мысли видеть в покойном своего будущего мужа, но чувство едва ли играло первую роль... Княжна ребенок и еще не знает любви... Этот брак был актом послушания советам окружающих... За княжну не бойтесь... На ее здоровье это серьезно не повлияет... Спросите m-lle Лагранж... Не правда ли?

— Я думаю, что вы правы... Княжна только испугана...

— Он всегда прав... — заметил князь.

— Но как это случилось? Расскажите... Садитесь...

Эрнестина Ивановна присела на другой конец дивана и начала свой доклад.

Она не утаила того, что отвезла княжну

к Баратовой и, узнав, что княжна Александра дома, а следовательно, княжна Варвара не рискует остаться с женихом наедине, отправилась по своим делам. Когда же она вернулась, то все было окончено.

Затем m-лле Лагранж передала, что слышала от обоих княжон, бывших в кабинете, когда уже князь лежал мертвый, а портрет княжны Варвары, который он хотел нести в гостиную, валялся на ковре.

Не скрыла Эрнестина Ивановна даже выговора, который она сделала княжне в карете. Это последнее обстоятельство вызвало на толстых, чувственных губах Сигизмунда Нарцисовича чуть заметную улыбку.

Князь же не обратил на него внимания, весь поглощенный главными подробностями рассказа старухи француженки.

— С чего же это он так вдруг... И не был боллен?

— Княжна говорит, что он выглядел совершенно здоровым, весело болтал с нею о последнем бале и, вызвавшись показать ее портрет, который он отдавал отделявать в рамку, ушел из гостиной, чтобы больше не

возвращаться...

— Боже, боже, как это все странно! — прошептал князь Иван Андреевич.

— А по-моему, ничего нет странного. Известно, какую жизнь вел в юности князь Баратов... Если жечь свечку с обоих концов, то она сгорит скоро... Князь несколько раз жаловался мне на общее недомогание и припадки грудных спазм. Последние, вероятно, и были причиной его смерти, парализовав сердце.

Я несколько занимался медицинской наукой и с первого взгляда определил, что он недолговечен, но не хотел высказывать своего мрачного пророчества и омрачать им светлую перспективу, которую вы, ваше превосходительство, видели в замужестве вашей дочери с князем Баратовым.

Князь Иван Андреевич молчал и сидел с низко опущенной головой. Эрнестина Ивановна тихо вышла из кабинета.

IV

Донской монастырь

Донской монастырь, находящийся у Калужской заставы, при первом к нему приближении, когда сквозь ветви деревьев видишь только белеющие башни и блестящие главы куполов, поражает своею красотой. Столетние деревья осеняют ограду и храм и составляют в окрестности небольшую рощу. Сколько исторических воспоминаний пробуждает в сердце истинно русского человека эта святая обитель.

Нельзя забыть, в память чего воздвигся здесь алтарь бескровной жертвы. Истинно русские люди искони отличались любовью к отечеству и искренней верой в Всемогущего Творца, в Того, чья десница благословила горы Киевские и освятила Днепр — купель наших предков; чья десница благословила начинания Владимира Святого, подкрепила Ярослава, покровительствовала Александру Невскому; поразила рукой Дмитрия полчища Батыевы и покорила под власть России мно-

гочисленные народы и на этих самых местах прославила оружие храбрых защитников этого отечества.

Забудут ли в таком случае русские люди битву Задонскую? Забудут ли, что наше отечество два века страдало под игом иноплеменных, что государи наши преклоняли колени перед ханами орд монгольских и получали венец царства, как дар их милостей? Забудут ли, что эта битва, знаменитейшая в летописях мира, есть основание нашей свободы?

Живо представляются воображению те минуты, как Дмитрий Иоаннович Донской, объезжая ряды своего воинства, говорил им:

— Братья! Час суда Божия наступает! Еще одна ночь, и мы узрим врага нашего: посвятите последние часы сии на бдение и молитву! Грозный день наступает и разрешит судьбу нашу. Мужайтесь! Тот час, в который вы должны показать всю твердость нашу, приближается, луч солнца озарит битву кровавую. Итак, братья, ополчитесь крепостью и призовите в помощь Господа, сильного в бранях, поборника в правде, и Он поразит ужасом сердца врагов наших! Кто верова Господе-

ви и постыдиться? Кто призва имя Его и призрен бе?

Так говорил Дмитрий, так чувствовали воины и заставили гордого Мамай воскликнуть: «Велик Бог христианский!»

Так чувствовали и те воины, которые бились на этом поле против Кази-Гирея, хана крымского.

Великому князю Дмитрию Иоанновичу донское войско перед битвою поднесло образ Пресвятыя Богородицы Донские; он просил Ее заступления, веровал и одержал победу.

В 1591 году хан крымский Кази-Гирей с мечом и пламенем вступил в пределы нашего отечества и быстро шел к Москве. 13 июля он переправился через реку Оку, ночевал в Лопасне и на рассвете остановился против села Коломенского. Царь Федор Иоаннович поручил защиту столицы Борису Годунову.

На том месте, где стоит теперь Донской монастырь, стояли в оборонительном порядке русские войска. Памятуя заступление Богородицы в битве Куликовской, с верою в душе, обнесли, по приказанию военачальника, с синклитом духовенства, икону Пресвятыя Бо-

городицы вокруг стана и поставили ее в полотняную церковь святого Сергия под хоругвь царскую.

Едва первый луч солнца блеснул в вершинах дубровных, как враги стремительно бросились к столице; сошлись войска, и солнце осветило страшную битву, где кровь иноплеменных мешалась с кровью христианской и трупы валялись кучами. Ожесточенный враг наступал сильно, но Десница Вышнего покрыла щитом своим и столицу, и войска, ополчила руки воинов на врага строптивного и укрепила мышцы их: враг не коснулся места освященного и, подобно Мамаю, со стыдом и злобою бессильною, отступил от столицы.

Всевышний спас свой город. Известны последствия этой битвы. Кази-Гирея потерял все войско и весь израненный едва успел уехать на простой телеге.

Полотяный храм святого Сергия с иконой Богоматери остался на месте неприкосновенным, и царь Федор в ознаменование своей благодарности основал на этом месте монастырь и назвал его, во имя Богоматери, Дон-

ским.

Такова светлая историческая страница об основании этого монастыря, которую мы не решились обойти молчанием.

Первоначально царь Федор Иоаннович построил маленькую церковь и небольшие кельи. Эта церковь во имя святого Сергия существует и поныне на том месте, где стояла полотняная церковь во время битвы. Монастырь увеличивался постройками церквей и зданий и к описываемому нами времени, благодаря вкладам царей и частных лиц, был одним из самых богатых.

Обширное кладбище монастыря вмещает в себе множество великолепных памятников, под которыми покоятся именитые московские люди; многие из усопших, нашедших место вечного успокоения на кладбище Донского монастыря, принадлежали к царской фамилии и, особенно к фамилии царей грузинских.

Здесь же, в храме Пресвятой Богородицы Донские, незадолго до начала нашего рассказа был похоронен преосвященный Амвросий — невинный страдалец, павший от руки

мятежников в 1771 году.

На этом-то кладбище, в особом склепе за вычурно-железной оградой, вмещавшей в себе несколько гранитных памятников, нашел, как мы уже знаем, себе вечное успокоение и внезапно скончавшийся князь Владимир Яковлевич Баратов.

В описываемый нами день в монастыре с самого раннего утра господствовало необычайное оживление, хотя день не был праздничный, в который можно было бы ожидать наплыва богомольцев. Дорогу, ведущую от монастырских ворот к главному храму, несколько послушников посыпали песком. Расчищали старательно дорожку, ведущую от храма к месту князей Баратовых, и также посыпали густым слоем песку. В храме тоже чистили и убирали, переменяли свечи и оправляли лампы.

Был сороковой день смерти князя Владимира Яковлевича Баратова. Еще за несколько дней была заказана заупокойная литургия, после которой должна была быть отслужена на могиле панихида. Этим и объясняется господствовавшее оживление в Донском мона-

стыре.

К одиннадцати часам утра начался съезд экипажей. Первой приехала княжна Александра Яковлевна Баратова в сопровождении графа Довудского. Они прошли в церковь.

Почти вслед за ними подъехала карета, из которой вышли Эрнестина Ивановна, княжна Варвара Прозоровская и белокурая молодая девушка с тонкими чертами бледно-воскового лица, бескровными губами и большими голубыми глазами, выражавшими какую-то болезненную грусть.

Это была Капочка, подруга детства княжны, дочь бедной дворянки, умершей, когда девочке было шесть лет, — отца она лишилась ранее, — нашедшая приют в доме князя Ивана Андреевича как своего родственника, хотя и очень дальнего.

Капитолина Андреевна Строганова — как значилась она в метрическом свидетельстве — жила в доме князя на положении полубарыни, полугорничной. Спала она в девичьей, хотя и в отделенном ширмами уголку, дни же проводила в комнате княжны, но в гостиную выходила только к очень близким

знакомым. Платья носила она с княжеского плеча.

Приехавшие также вошли в церковь, которая вскоре начала наполняться все прибывавшими и прибывавшими посетителями. Приехал и князь Иван Андреевич Прозоровский с Сигизмундом Нарцисовичем Кржижановским.

Началась служба. Обе княжны, сестра и невеста, молились почти все время на коленях. После них усерднее всех молилась Капитолина Андреевна. Слезы нет-нет да и блистали в ее прекрасных печальных глазах.

Монастырская служба отличается продолжительностью и той печальной торжественностью, которая невольно заставляет перенестись к мысли о тщетности всего земного, преходящего, к смерти, к загробной жизни, к вечности, к тем небесным селениям, где нет ни печали, ни воздыхания. Она невольно всех располагает к молитве.

Наконец служба кончилась. Духовенство и певчие вышли из храма и направились к месту склепа князей Баратовых. Все присутствовавшие последовали туда же. Началась пани-

хида.

День был морозный и ясный. Зимнее холодное солнце освещало покрытое белоснежным ковром жилище мертвых — кладбище; по нем желтой лентой вилась посыпанная песком дорожка, а на остальном его белом фоне рельефно выступали надгробные плиты и памятники.

Возгласы духовенства и пение клира далеко разносились кругом по морозному воздуху. В первых рядах, у самой свежей могилы, стали княжны Александра и Варвара, а рядом с последней Капочка. Панихида уже подходила к концу, как вдруг Капитолина Андреевна пошатнулась и упала на руки подоспевших мужчин, в числе которых был и граф Довудский, стоявший сзади княжны Баратовой. Мужчины довели бесчувственную девушку до паперти церкви святого Сергия, находившейся в нескольких шагах от могильного места князей Баратовых, и положили на лавку в притвор и уступили место дамам, расшнуровавшим несчастную.

Она пришла на некоторое время в себя.

— Княжна Варвара... — чуть слышно про-

шептала она.

Княжна Варвара входила уже в притвор, так как панихида окончилась.

— Она просит вас... — встретили княжну ухаживавшие за Капочкой.

Варвара Ивановна подошла к лежавшей подруге.

— Что тебе, что с тобой?.. — тревожно спросила она.

— Наклонитесь...

Княжна приблизила свое ухо к губам лежавшей Капочки. Последняя что-то спешно начала шептать. По мере того, как княжна слушала, смертельная бледность покрыла ее щеки.

Вдруг она вскрикнула и совершенно неожиданно для окружающих, не успевших поддержать ее, как сноп повалилась на каменный пол. С лавки раздался тоже слабый вскрик. На последний никто не обратил внимания. Все бросились к лежавшей распростертой на полу княжне Варваре Ивановне.

Слух о втором обмороке, уже с княжной Прозоровской, облетел находившихся на кладбище. По приказанию настоятеля бесчув-

ственная княжна была принесена в его покои, где она через несколько времени пришла в себя. Когда вернулись к забытой в притворе Капочке, на лавке нашли бездыханный труп молодой девушки.

Весть эту не передали бы, конечно, княжне Варваре Ивановне, если бы она, уже совершенно оправившаяся от обморока, не спросила сама:

— Капочка умерла?

Ей ответили утвердительно.

— Так и должно быть. Они так будут вместе! — произнесла княжна ни для кого не понятные, загадочные слова и, почти твердо шагая, направилась к карете, поддерживаемая Эрнестиной Ивановной, моргавшей полными слез глазами.

Князь Иван Андреевич, совершенно потрясенный происшедшим, уехал домой, поручив Кржижановскому все хлопоты, возникшие по поводу смерти Капитолины Андреевны.

Прибывшая в монастырь полиция составила акт, а ближайший врач, который оказался стоворчивее домашнего врача князя Баратова и констатировал смерть от разрыва серд-

ца, беспрепятственно выдал свидетельство. Частный пристав также имел основание признать его действия правильными.

Несколько приглашенных женщин обмыли покойницу, одели в привезенное из дому княжны белье и платье, положили в наскоро купленный гроб и поставили в одну из часовен монастыря.

Через три дня состоялись похороны.

Княжна Варвара Ивановна настояла, чтобы Капочку похоронили на месте, самом ближайшем к фамильному склепу князей Баратовых. Хотя такое место оказалось очень дорогим, но князь Иван Андреевич принужден был исполнить каприз своей баловницы дочери. Ничем иным, как капризом, не мог он объяснить эту странную настойчивость княжны Варвары Ивановны. Не мог понять он и внезапную смерть Капочки.

— С чего это она... так вдруг? — задавал он недоумевающие вопросы Сигизмунду Нарцисовичу.

— Как с чего? Смерть пришла... ну и умерла... Она и так все время на ладан дышала... В чем только душа держалась... диво было! —

ответил последний.

Княжна Варвара Ивановна ходила задумчивая, печальная — туча тучей, как говорила княжеская дворня.

V

В Польше

В то время, когда в Москве происходили описываемые нами события, действующими лицами которых были и сыны когда-то славной Польши, последняя политически доживала остаток своих дней.

Конституция польского королевства, получившая полное развитие в последний период его существования, зародилась давно. В удельное время началось усиливаться значение дворянства, при Казимире Великом получило определенную форму и затем продолжало расти.

С того времени внутренняя история Польши состоит из непрерывной цепи захватов дворянства из сферы королевской власти. Оставляя в удел народу тяжкое иго, шляхта добивалась для самой себя вольности, какая

может существовать лишь в отвлеченном понятии, и результатом таких усилий явилось *liberum veto*, дающее право одному члену представительного учреждения парализовать решение всех остальных, знаменитое историческое «не позволяю» — фраза, могущая служить лучшей красноречивой эпитафией над политической могилою Польши. Всякая законодательная власть была как бы уничтожена, в государственном сейме внесено зерно ничем не устранимого раздора, и в течение ста лет 47 сеймов разошлись без всякого толка.

Наступила эпоха падения, нравы испортились, распространилось религиозное неверие и легкомыслие; пронырства, подкупы, женские милости сделались рычагами государственных дел. До полного хаоса недоставало одного — иноземного влияния.

За этим дело не стало.

Соседние государи держали на жалованье своих приверженцев, имели свои партии, травили их одну на другую. Хроническая смута укоренилась, Польша быстро двигалась по наклонной плоскости в пропасть. Польское

дворянство добивалось и добилось такого объема прав, который перешагнул пределы свободы и сделался своеволием. Этот близорукый, преступный эгоизм подточил и внутреннюю силу государств, и внешнее его значение, низведя и то и другое до полного ничтожества. А соседи тем временем формировались, росли и крепили в смысле государственных организмов. Польша могла уцелеть лишь на каком-нибудь отделенном от всего мира острове, без соседей, без посторонних влияний и происков, но в семье государств ей грозила неизбежная гибель.

Некоторые из поляков схватились, наконец, за ум, но уже было поздно. В политике несвоевременность — грех неисправимый. Падение Польши стало неминуемым; она дошла до него не по собственной вине, которой соседи только воспользовались.

При другой обстановке дело произошло бы, может быть, несколько иначе, но результат был тот же, так как исчезновение государства с лица земли не может быть последствием одних внешних причин. Напротив, задержка катастрофы, препятствие к ней, за-

ключались не в Польше, а именно в ее соседях, ревниво следивших друг за другом. Польша была добычей — трудность заключалась лишь в дележе.

В описываемую нами эпоху разложение Польши было полное: король с одним призраком власти; могущественные магнаты, ставившие свою волю выше и короля, и закона; фанатическое духовенство с огромным влиянием и с самым узким взглядом на государство и на религию в государстве. Народа не существовало, он был исключительно рабочей силой, не имел никаких прав, находился под вечным гнетом; сословие горожан, ничтожное и презренное, равнялось нулю.

Внутренняя рознь дошла до своего апогея; король против магнатов, магнаты против короля и шляхты, шляхта против короля и магнатов; духовенство дробилось отчасти по этим партиям и упорно стояло против всего не католического. Партийные интересы перекрещивались в разных направлениях, везде царил мелочной дух, себялюбие отождествлялось с патриотизмом.

Только великий государь мог бы лавиро-

вать с успехом между такими подводными камнями, но его в Польше не было. Станислав Понятовский, достигший польского престола при поддержке русского правительства, при некоторых своих достоинствах отличался отсутствием характера — не имел качества, которое именно и было ему необходимо в трудную эпоху царствования. Он постоянно колебался, никогда не решал раз навсегда и мало-помалу потерял доверие всех. Он не в силах был предотвратить взрыва, так как не он управлял событиями, а события управляли им.

В описываемое же время двигателем событий являлся религиозный фанатизм — слепая антигосударственная сила, справиться с которой было бы невмочь и человеку покрепче Станислава Понятовского. Была пора, когда католичеству грозила в Польше серьезная опасность, и церковная реформация приобрела себе между поляками огромное число влиятельных приверженцев. Диссиденты (разномыслящие в вере) добивались почти полной равноправности с католиками, но потом течением событий и собственными своими

ошибками из равноправных до степени терпимых. Дело не остановилось и на этом, пошли обиды, притеснения и угнетения.

При Станиславе Понятовском диссиденты потребовали удовлетворения своих жалоб и были поддержаны Россией и Пруссией. В Варшаве собрался сейм. Люди благоразумные и умеренные не прочь были уступить, но фанатики не соглашались, раздражались огненными речами и тормозили ход прений. Русский посланник князь Репнин приказал ночью арестовать четырех из них, самых ярых и влиятельных, и отправил в Россию. Противники диссидентов примолкли или разбежались, и закон, восстанавливающий прежние права некатоликов, прошел.

Поступок князя Репнина был крайне резок, но соответствовал, впрочем, с его поведением вообще. Высокомерие его с поляками и всякого рода насилия, которые он позволял себе в Польше, представляются в настоящее время изумительными и маловероятными. Они выражали полное пренебрежение и даже презрение к нации, при дворе которой Репнин был аккредитован. Они были немис-

лимы нигде, кроме Польши, и служат фактическим доказательством ее нравственного упадка и материального бессилия.

Неудовольствие и негодование быстро распространялись и произвели взрыв.

Некто Пулавский, служивший поверенным в делах у разных вельмож и тем снискавший себе состояние и связи, проектировал план общей конфедерации. Втайне приобретая приверженцев и средства, он отправился в местечко Бар, близ турецкой границы, и тут впервые конфедераты, в числе восьми человек, подписали акт конфедерации 29 февраля 1768 года.

Конфедерация эта получила название Барской. Весть о ней разнеслась быстро; число конфедератов возросло до 8000; маршалами конфедерации избраны Пулавский и граф Красинский; издан универсал для созвания дворянства и всеобщего вооружения против русских и диссидентов. Движение распространялось.

Образовались конфедерации и в других местах; во главе их становились лица знатнейших польских фамилий.

По получении из Петербурга приказаний находящиеся в Польше русские войска атаковали конфедератов всюду; взяли много важных пунктов и прогнали неприятеля в леса. Но у конфедератов было много тайных единомышленников в среде мирного населения, они обнаруживали большую живучесть и росли, как гидра.

России понадобилось усилить свои войска. Главное начальствование над ними было поручено генерал-поручику фон Веймарну. Он был человек умный и ловкий, особенно по дипломатической части, и в военном деле не без некоторой опытности, но немного педант и мелочно самолюбив.

Главная его заслуга заключалась в том, что он в военных действиях ввел единство, которого до тех пор не было. При нем русские войска до прибытия подкреплений, хотя были очень разбросаны и слабы, но могли друг друга поддерживать; подвижные колонны ходили по всем направлениям, отдельные посты поддерживали сообщения во все стороны. Когда оказывалось нужным, сосредотачивались довольно значительные силы.

Конфедераты превосходили русских числом, но им недоставало именно этого единства, не говоря уже про дисциплину, так что в результате русские оказывались более сильными.

В Варшаве ходили тревожные слухи; говорили, что маршал Котлубовский находится вблизи с 8000 конфедератов; что он готовится к нападению на Варшаву и приближается к ней сухим путем и водою по Висле. Тайных конфедератов в Варшаве было много; можно было ожидать беспорядков, а в случае нападения Котлубовского и чего-нибудь хуже.

Прибытие подкреплений из России было очень кстати.

Вскоре пришло известие, что двое Пулавских, сыновья маршала Барской конфедерации, ходили с большими силами по Литве, волновали шляхту и набирали приверженцев. Часть прибывших русских войск пошла, вследствие этого, для соединения с войсками, бывшими в Литве.

В течение целых двух лет действия войск ограничивались мелкими стычками с конфедератами и удерживанием их в почтитель-

ном отдалении. Для крупных дел, для решительных ударов русские войска были все-таки слишком малочисленны, а усилить их не было возможности, потому что все, чем могло располагать правительство, было выставлено против Турции.

Герцог Шуазель, управляющий во Франции министерствами военных и иностранных дел, очень ревниво смотревший на развивавшееся могущество России, старался поставить ее в затруднительное положение и с этою целью вошел в переговоры со Швецией и Турцией. В Стокгольме он потерпел неудачу, но в Константинополе успел.

Возбуждаемая советами бежавших конфедератов и подстрекаемая Францией, Порта потребовала у петербургского двора немедленного очищения Польши, а потом, не дождавшись ответа и схватившись за случайное сожжение пограничного своего местечка Бонты русскими войсками, преследовавшими конфедератов, объявила России войну.

Поляки возликовали, и вместо того, чтобы действовать с удвоенной энергией, они возложили все свои надежды на Турцию, больше

прежнего стали держаться выжидательного положения и вели войну вяло. Наступило нечто в роде затишья, очень выгодного для русских по малочисленности их сил.

Среди этого затишья застал обе воюющие стороны 1771 год. Не ограничившись поднятием Турции против России, Шуазель еще в 1769 году послал в Польшу заслуженного офицера де Толеса с большою суммою денег для оказания конфедератам пособий и руководства их военными операциями. Но несогласие и раздоры польских дворян скоро убедили Толеса в бесплодности его миссии, и он возвратился во Францию, привезя назад деньги.

Вместо Толеса Шуазель послал полковника Дюмурье. На верховном совете конфедератов в Эперьеше, в Венгрии, Дюмурье, в видах установления единства начальствования, предложил в предводители принца Карла Саксонского, который обещал выставить 3000 саксонских войск. На это согласились все, кроме Пулавского. Затем он выписал от Шуазеля офицеров всех родов оружия. Составлен был подробный план будущих военных дей-

ствий. Особенное внимание было приложено к созданию и образованию пехоты путем привлечения австрийских и прусских дезертиров, а также польских крестьян. Ружья были заказаны в Венгрии и Силезии, и большой их транспорт, до 22 000, ожидался из Баварии[3].

С помощью этих и других мер Дюмурье собрал до 60 000 конфедератов и открыл кампанию 1771 года. Вначале счастье улыбнулось французам и полякам.

VI На Висле

Стояла тихая майская ночь 1771 года. На небе, усеянном звездами, сверкал серебристый диск луны. Своим мягким беловатым светом освещал он темный лес и проникал своими лучами фантастического зеленоватого света под свод черных сосен.

Огни были погашены, и русский лагерь отдыхал. Кое-где раздавалось ржанье коня, который, фыркая, скакал по прошлогодним листьям и мху, покрывающим землю. Из глубины леса слышались порой окрики часовых:

— Кто идет?

Затем все снова стихало.

Вот медленно проходит унтер-офицер для смены караула. Солдаты, одетые в шинели, уходят без шума, исчезают, как привидения. На смену их являются другие, чтобы в свою очередь нести сторожевую службу.

На прогалине леса у костра сидели человек десять солдат в разных позах, иные дремали, иные слушали монотонный, как шум воды, рассказ старого товарища, бывалого уже в боях и видавшего виды. Другие, тихо разговаривая, курили свои трубки.

— Еремеев, подбавь-ка хворосту... — слышится приказание унтер-офицера, лениво набивавшего свою трубку.

Молодой солдатик вскочил и мигом исполнил приказание ближайшего начальства. Костер с треском разгорается. Вылетает целый сноп искр, и большая пламя освещает окружающую дикую местность, сложенные в козлы ружья, стволы сосен, и красный отблеск огня теряется в темноте густого леса. Старый солдат все продолжает свой рассказ.

— На немца ходили мы при матушке Ели-

завете, этот, братцы мои, хитер, с ним уху востро держать было надо, выскочат, как бесенята какие, прости Господи, там, где их и не ждешь совсем...

— А поляк? — слышался чей-то вопрос.

— Поляк... — сильно затянувшись, так, что трубка захрипела, и сплюнув в сторону, продолжал рассказчик. — Поляк, — мы тоже его доподлинно знаем, — глуп... Он форсит, на это его взять, только из форсу-то его выходит один для него конфуз, баба его подзадорит, он на словах для нее на рожон лезть готов, шапку заломит, пошел ходить, а как до дела чуть, сейчас и «до лясу».

— Одначе, они тут, надясь, бойко орудовали, и нашим не поздоровилось... — вставил замечание один из слушателей.

— Так тут с ними француз орудует... А одному ему — куда. Плясать он — лих, болтать он — лют, пить — мастер, а воевать — на то его нет... Да притом, пока он здесь озорничал, на его батюшки-командира не было... Я ведь, братцы, суздалец...

— Что же, что суздалец, такой же солдат, как и другие... Суздальский-то полк нешто

выше других. Хвастать ты горазд и все вы, суздальцы... Я-де суздалец... В отряд вас напи-хали, а что толку... — раздражительно заме-тил другой, тоже старый солдат.

— Эх, старина, старина, до седых ты волос дожил, а ума тебе, кажется, у поляков зани-мать надо, а у них насчет этого товару не раз-гуляешься... Суздальцы, что такое суздаль-цы... Слыхал ты небось о генерале Суворове?..

— Слыхал...

— То-то слыхал, да не дослышал... Суздаль-ский-то полк с ним почитай два года в Ладоге стоял, а он, отец-командир, бывало, говари-вал: «Солдат и в мирное время на войне». Так-то...

Затеявший спор молчал.

— Едва взойдет солнце, он, бывало, роди-мый наш, уж на ногах и сбор бить велит. «На вахтпарад, братцы, на вахтпарад, — кричит он нам, — смотрите, уж птички Божьи подня-лись, а нам грешно не встретить солнышко в чистом поле!» Потом разделит полк и полко-вую артиллерию на две части и давай сра-жаться! Сперва застрельщики, потом атака на пушки, на кавалерию и, наконец, в штыки.

Напоследях он, батюшка, сам не свой... Бросится, бывало, вперед с обнаженной шпагой и кричит что есть мочи: «Штык в полчеловека, ура! Бей! Коли! Вперед, бегом!.. Наблюдай интервалы!.. Ура, ура!.. Спасибо, братцы! Спасибо, чудо-богатыри!.. Пуля — дура, штык — молодец!.. Победа — слава! Всем по чарке водки!.. Ступай домой!..» Вот он какой командир!..

— С таким смучаешься, — заметил один из молодых солдат.

— Эх ты, дурья голова, а ты в солдаты пошел на боку лежать?.. Так на то бабы Богом приспособлены... А мы не только не скучали таким ученьем, а рады-радешеньки ему были... Втянул он, значит, нас в славную солдатскую науку.

Наступило на несколько минут молчание. Слышно было только, как трещал хворост в костре и сопели солдатские трубки.

— А мы раз, братцы, монастырь штурмой взяли... — снова заговорил балагур-солдат.

— Свой?

— Вестимо свой, для прилику. Захотелось ему, батюшке, показать молодым солдатам

штурму. Однажды во время маневров он построил полки и нагрянул на близлежащий монастырь и мигом взял его приступом... Монахи спервоначалу страсть как перепугались... Матушка-императрица Екатерина вызвала командира.

— Досталось?..

— Нет, похвалила даже.

— Дела!..

— Это что, я с ним, батюшкой, на немца ходил... Так там он истинно чудеса делал.

— Ну!..

— Я тогда в гусарах служил и под его команду попал... «Ребята, — говаривал он нам, — для русского солдата нет середины между победой и смертью. Как сказано „вперед“, так я не знаю, что такое ретирада, усталость, голод и холод... Успех на войне в глазомере, быстроте и натиске». И действительно, была с ним сотня казаков да нас тоже с сотню гусар... В одну ночь проскакали мы сорок две версты и прискакали к городу Ландсбергу. Высланные вперед для рекогносцировки казаки, вернувшись, объявили, что в городе прусские гусары... «Помилуй бог, как это хо-

рошо, — отвечал Суворов, — ведь мы их и ищем...» — «Не прикажете ли узнать, сколько их?» — заметил сотник. «Зачем! Мы пришли их бить, а не считать! Стройся!» — скомандовал он нам и затем крикнул «марш-марш». Город был взят, пруссаки сдались, хотя были впятеро сильнее.

— Д-да... молодец.

— Уж такой молодец, что другого нет. В городе Голнау его ранили картечью в ногу... Он, батюшка, примочил рану водкой из фляжки и снова вскочил на лошадь... Его начальство было в госпиталь прогонять, а он сказал: «На коне лучше, чем в госпитале...»

Рассказы словоохотливого солдата казались неистощимы.

Вдруг со стороны реки раздался выстрел, затем другой, третий. Солдаты вскочили, в один миг схватили ружья и бросились из леса по направлению к берегу, где выстрелы уже сделались частыми. Это поляки вздумали неожиданно напасть на русский лагерь.

В лагере, действительно, произошло некоторое смятенье. Солдаты спали, но при первом выстреле весь лагерь проснулся. Броси-

лись к ружьям. Лагерь сразу ожил. Восклищания смешались с бряцанием оружия и ржанием лошадей, чующих порох. Слышались брань и проклятия.

— Ах, негодяи!.. Подобрались-таки... Кто мог их ожидать!.. Понабрались духу.

— К оружию, к оружию, вперед, вперед!

Отряд в стройном порядке встретил неприятеля и без особого труда обратил его в бегство. Русские остались хозяевами положения и леса.

Снова раздаются тихие шаги под деревьями, шорох ветвей, тяжелые вздохи, бегущие тени и журчанье реки, которое отчасти заглушало эти звуки. Из середины толпы, освещенной луной, слышались жалобные стоны.

— Помилуй бог, что там такое? — раздался резкий голос, заставивший расступиться толпу.

— Генерал... — пронеслось среди солдат и офицеров.

Это был действительно Александр Васильевич Суворов. Небольшого, даже, вернее, маленького роста, несколько сгорбленный, он имел далеко не представительный вид, на го-

лове его были редкие, уже начинавшие се-
дять волосы, на лице, несмотря на то что ему
было только сорок лет, были морщины. Впро-
чем, выражение этого, ничем не замечатель-
ного лица оживлялось умным, проницатель-
ным взглядом.

Расступившаяся толпа открыла печальное
зрелище. Трое смертельно раненных лежали
на земле. Двое солдат лежали неподвижны,
а третий, совсем юный офицер, полулежал,
поддерживаемый тем самым балагуром сол-
датиком, который за какой-нибудь час перед
тем рассказывал товарищам о Суворове.

— Помилуй бог, вы ранены, Лопухин... —
подошел к юноше Александр Васильевич.

— Я... немного... она... дело... медальон, —
прошептал раненый.

— Что... как... как...

— Я вам говорил... генерал...

— Знаю, знаю... Но не в том дело, помилуй
бог...

Суворов опустился на колени и поспешно
растегнул мундир Николая Петровича Лопу-
хина — так звали молодого офицера.

— Помилуй бог, дружище, помилуй бог!..

Но это пройдет, все пройдет.

Раненый откинулся назад.

— О, как я страдаю... Поскорее бы конец... — шептал он.

— Что вы говорите... Помилуй бог!.. Сейчас уже и умирать...

— Да, да, я умираю... Не забудьте... мой отец... Саша... вы знаете... Саша... я ее люблю... я ее... обожаю...

Раненый захрипел. Голова его упала на грудь, между тем как правая рука сжимала висящий на груди золотой медальон.

— Умер, умер! — с отчаянием в голосе воскликнул Суворов. Он приложил руку к сердцу раненого. — Нет, нет... оно бьется... Это обморок, положите его на землю...

Солдат, поддерживавший Лопухина, бережно опустил его на траву. Александр Васильевич расстегнул рубашку на его груди. Она вся была залита кровью. Он вынул свой носовой платок, осторожно вытер кровь и обнаружил рану в правом боку. Пуля остановилась между двух ребер. Из растревоженной раны появилось сильное кровотечение. При каждом движении, даже дыхании несчастного,

кровь текла ручьем. Суворов сильно прижал рану двумя пальцами.

— Берите-ка его, братцы, двое за руки, а двое за ноги! — скомандовал он окружавшим солдатам. — Поднимайте, но осторожнее, помилуй бог, осторожнее...

Солдаты бережно исполнили приказание любимого начальника. Ровным шагом шли они, унося бесчувственного Лопухина. Суворов шел с ними рядом, по-прежнему двумя пальцами правой руки закрывая рану молодого офицера. Он не отводил глаз с бледного лица несчастного раненого. Кровавая пена покрывала губы последнего.

Сзади их еще раздавались последние выстрелы — это уже стреляли по обратившимся в бегство полякам чересчур рьяные их преследователи.

Солдаты, несшие раненого, и Суворов достигли перевязочного пункта. Искусный старый фельдшер Иван Афанасьевич быстро и умело принялся за дело. Он положил раненого на кожаный матрац и исследовал рану зондом, покачал сомнительно седой головой.

— Что, старина, плохо? — с тревогой в го-

лосе спросил его Александр Васильевич.

— Плоховато, Александр Васильевич, плоховато, ваше превосходительство, да ничего, Бог даст, выживет, молод, натура лучше врача.

— Помилуй бог, как хорошо ты молвил, старина... Натура лучше врача, помилуй бог, как хорошо.

Иван Афанасьевич приступил тотчас к извлечению пули. Операция под его искусными руками удалась отлично. Перевязка уже была окончена, когда страдалец пришел в себя и удивленно оглядывался кругом.

— Что, братец, дурной сон приснился? — обратился к нему Александр Васильевич, подавая окровавленную пулю. — Ничего, все хорошо, что хорошо кончится... Помилуй бог, хорошо...

Раненый не мог говорить и только перевел полный благодарности взгляд с генерала на фельдшера.

— Через две недели опять на ногах, опять молодцом! Чудо-богатырь!.. — сказал Суворов и удалился к своему уже собравшемуся после отражения неприятеля отряду.

Выстрелы уже давно прекратились. Затих как бы и ветер, бушевавший в эту ночь, и только Висла по-прежнему с ровным шумом катила свои валы. Наступило раннее утро.

— Спасибо, чудо-богатырь, славно намылили голову бунтовщикам, другой раз не сунутся будить русских людей, спросонок русский человек бьет еще сильнее... Спасибо, чудо-богатыри!

— Рады стараться, ваше превосходительство! — гулко разнесся по всему лесу ответ тысячи голосов на приветствие любимого начальника.

В отряде уже знали, как отнесся генерал к раненому молодому офицеру, любимому солдатами за мягкость характера, за тихую грусть, которая была написана на юном лице и в которой чуткий русский человек угадывал душевную горе и отзывался на него душою. Такая сердечность начальника еще более прибавляла в глазах солдат блеска и к без того светлому ореолу Суворова.

Оставим его на дороге к Кракову, где и произошло несколько стычек с думавшими напасть на него врасплох поляками, и попыта-

емся передать картину раннего детства и юности этого выдающегося екатерининского орла, имя которого было синонимом победы и который силою одного военного гения стал истинным народным героем.

Слабо перо, но сильно желание.

VII

Детство Суворова

При московском великом князе Семене Ивановиче Гордом выехали из Швеции в Московскую землю «мужи честны» Павлин с сыном Андреем и тут поселились.

Потомство их росло, местилось и расселялось. Один из этих потомков назывался Юда Сувор. От него пошел род Суворовых.

Прадеда Александра Васильевича Суворова звали Григорием Ивановичем, он был сыном Ивана Парфентьевича и дедом Ивана Григорьевича.

Иван Григорьевич Суворов служил при Петре Великом в Преображенском полку генеральным писарем, был дважды женат и умер в 1715 году. От первой жены он имел сы-

на Ивана, от второй (Марьи Ивановны) — Василия и Александра.

Все три сына Ивана Григорьевича были женаты и оставили по себе потомство; Василий Иванович имел сына Александра и дочерей Анну и Марию.

Василий Иванович Суворов родился в 1705 году. Крестным отцом его был Петр Великий. Это обстоятельство легко объясняется местом служения Ивана Григорьевича в Преображенском полку и в Преображенском приказе.

В 1722 году Василий Иванович Суворов поступил денщиком к государю, при Екатерине выпущен в Преображенский полк сержантом, два года спустя пожалован в прапорщики, а в 1730 году произведен в подпоручики. В конце тридцатых годов был он Берг-коллегии прокурором в чине полковника и в сороковых годах получил генеральский чин.

Василий Иванович Суворов был вообще хороший, с образованием, ретивый, исполнительный служака, недурной администратор, особенно по части хозяйственной, но из ряда современников не выступал и никакими военными качествами не отличался. С сыном

он имел очень мало общего; главной точкою соприкосновения их характера была бережливость, даже скупость, но и то совершенно различного свойства.

В Василии Ивановиче не было ничего похожего на ту поражающую энергию и необыкновенное развитие воли, которые оказались потом отличительными чертами его сына. Не перешли ли эти и другие особенности к А. В. Суворову от матери, в каком смысле влияла она на развитие их в своем сыне, сознательно или бессознательно, отрицательным образом или положительным?

Ответа на подобные вопросы, замечает биограф А. В. Суворова А. Петрушевский, нет, а между тем знакомство с характером матери, ее темпераментом, воспитательными приемами, быть может, разъяснило бы многое в смелой и загадочной натуре ее сына.

О матери Александра Васильевича Суворова известно только то, что ее звали Авдотьей Федосьевной и что вышла она замуж за Василия Ивановича в конце 20-х годов. Отец ее Федосий Мануков был дьяк и по указу Петра Великого описывал Ингерманландию по урочи-

щам. В 1718 году, во время празднования свадьбы князя-папы, он участвовал в потешной процессии, одетый по-польски, со скрипкою в руках; в 1737 году был петербургским воеводою и в конце года судился за злоупотребления по службе.

Год рождения Александра Васильевича Суворова точно неизвестен. Большая часть его историографов называют 1729 год, который обозначен и на его гробнице, но это едва ли верно.

В одной из официальных бумаг он сам говорит, что вступил на службу в 1742 году, имея от роду 15 лет; по другим его показаниям, рождение его можно отнести и к 1729, и к 1730 году.

Но в одной его собственноручной записке на итальянском языке сказано: *Io son nato 1730 il 13 Novembre*. В письме его вдовы к племяннику Хвостову и на надгробном памятнике значится, что муж ее родился в 1730 году. Этот же год получается и из формуляра, составленного в 1763 году, когда Александр Васильевич был полковым командиром. Эти и довольно многочисленные другие данные

приводят к заключению, что 1730 год следует считать годом его рождения скорее, чем всякий другой.

Где именно он родился, тоже неизвестно. По словам одних его историографов утверждают, что в Москве, другие называют его родиной Финляндию. Но и то и другое одинаково бездоказательно.

Принадлежа к дворянскому роду, хотя не знатному, но старому и почтенному, Суворов появился на свет при материальной обстановке не блестящей, но безбедной. Предки его за добрую службу в разных походах получали от правительства поместья; дед владел несколькими имениями и, судя по некоторым данным, не был расточителен. Отец и того больше.

Мать его тоже нельзя назвать бесприданницей, как это видимо по отдельной записи 1740 года на движимое и недвижимое имения в Москве и Орловском уезде между ею, поручицей Авдотьей Суворовой, и ее сестрой полковницей Прасковьей Скарятиной. При всем том состояние Василия Ивановича Суворова, впоследствии довольно значительное, было в

детские годы сына невелико.

Из разных документов, как-то: вотчинных отчетов, записей, послужных списков отца и сына, можно заключить, что Василий Иванович владел в то время приблизительно тремя сотнями душ и был человеком обеспеченным, но небогатым.

В 1741 году, когда по малолетству императора Иоанна Антоновича Россией управляла его родительница принцесса Анна Леопольдовна, в глуши Новгородской губернии, в своем имении, мы застаем отставного бригадира Василия Ивановича Суворова живущим на покое со своей женой Авдотьей Федосьевной и сыном Александром.

Сам Василий Иванович был военным человеком только по званию и мундиру, не имел к настоящей военной службе никакого призвания, а потому и сына своего предназначал к гражданской деятельности. Хотя военная карьера была в то время наиболее почтенная, но решение отца оправдывалось тем, что сын казался созданным вовсе не для нее: был мал ростом, тощ, хил, дурно сложен и некрасив. К тому же для кандидатства на военное попри-

це было уже много упущено времени.

С Петра Великого каждый дворянин обязан был вступать в военную службу, начиная ее с нижних чинов. Даже знать не могла отрываться от этого общего закона. Нашли, однако, средство исполнять постановление по букве, обходя по духу.

Дворяне, особенно знатные и богатые, записывали своих сыновей в гвардию при самом их рождении или в годах младенческих, иногда капралами и сержантами, а у кого не было случая или связей — просто недорослями и оставляли их у себя на воспитании до возраста. Подобные унтер-офицеры младенцы производились нередко в офицеры, а затем повышались в чинах, в весьма юном возрасте переходили с повышением в армейские полки и таким образом, особенно при сильных покровителях, достигали высших степеней в военной или гражданской службе, если первую меняли на вторую.

В семидесятых годах восемнадцатого столетия в одном Преображенском полку считалось более тысячи подобных сержантов, а недорослям не было почти и счета[4].

Василий Иванович сам служил или числился во время рождения сына, да и после, в Преображенском полку. Ему не стоило бы никакого труда записать новорожденного сына капралом и сержантом для счета служебного старшинства.

Почему он этого не сделал, Бог знает; только едва ли вследствие незнания несправедливости и незаконности подобных кривых путей: обычай очень уже укоренился, и добровольно от него отказаться было бы слишком невыгодною щепетильностью.

Как бы то ни было, но сын его Александр не был записан в военную службу, а между тем в нем мало-помалу обнаружилась сильнейшая склонность к военной специальности, и занятия его приняли соответствующее направление.

Будучи еще семи лет от роду, он уже называл себя солдатом, а о гражданской службе не хотел и слышать. Часто, к немалому беспокойству отца и матери, боявшихся за жизнь своего единственного сына, Александр выбежал из дому на дождь и, промокнув хорошенько, возвращался домой.

Когда же озабоченные родители замечали ему, что он не бережет себя, Александр отвечал:

— Солдат должен привыкать ко всему!

Василий Иванович и Авдотья Федосьевна полагали и надеялись, что когда их сын подрастет, то страсть его к военной службе исчезнет, но с годами склонность эта проявлялась все явственнее.

Мальчик постоянно приучал свое слабое тело к воинским трудам и обогащал ум познаниями, необходимыми для военного человека. В помещичьем доме Суворовых был мезонин, заключавший в себе четыре комнаты; две занимал Александр со своим старым дядькой Степаном, а другие две — учитель. Убранство комнаты мальчика Суворова вполне соответствовало его самоподготовке к солдатской жизни.

В углу стояла кровать из простого некрашеного дерева с жестким тюфяком, кожаной подушкой и вязаным шерстяным одеялом. Над ней висел образок, украшенный высохшей вербой и фарфоровым яичком. У широкого окна, так называемого итальянского, стоял

большой стол, на котором в беспорядке валялись книги, бумаги, ландкарты и планы сражений. Шкаф с книгами, глобусы, географические карты, прибитые к стене, и несколько простых деревянных стульев дополняли убранство комнаты юного спартамца.

Здесь проводил Александр Суворов большую часть своего времени один и с учителем. Последний был из духовного звания, человек умный и любознательный, учившийся вместе со своим феноменом-учеником, едва успевающая догонять его в познаниях. Мальчика нельзя было иногда по целым дням силою оторвать от книги или от листа бумаги, на котором он собственно чертил планы сражений.

Отца его, Василия Ивановича, все это, вместо того чтобы радовать, сильно огорчало. Мы уже знаем, что он и его жена были против военной карьеры их сына.

Взгляды матери понятны. Военная служба сопряжена с опасностями войны, и подставлять лоб единственного сына под пулю врага удел женщин-героинь, считавшихся единицами, имена которых на вечные времена записаны на скрижалях всемирной истории.

Чтобы объяснить упорство в этом вопросе со стороны Василия Ивановича, надо вспомнить, что сам он, как мы уже говорили, не был военным человеком по призванию, а с другой — бережливость, скупость и скопидомство были характерными его свойствами.

Военная служба того времени, особенно в гвардии, требовала значительных расходов и вознаграждалась, и то не всегда, только впоследствии. Пущенные же по гражданской части молодые люди, почти мальчишки, тотчас же получали некоторое, хотя незначительное, содержание, пользовались доходами и переставали быть на полном отцовском иждивении. Такая перспектива для себя самого и подраставшего сына более улыбалась Василию Ивановичу. Потому-то он и не записал своего сына при самом рождении в военную службу.

И вдруг его мечты должны были разбиваться об упрямство мальчишка, всецело погружившегося с самого раннего детского возраста в военные науки, только и мечтавшего о солдатском мундире и не хотевшего слышать о карьере приказного.

— Ну и пусть его будет солдатом! — иногда в отчаянии выражал свое мнение в частых беседах с женой о сыне отец.

Содержание сына в солдатах, он знал, не могло обойтись дорого.

— И что ты, батюшка, — запальчиво восклицала Авдотья Федосьевна, — генеральский чин получил, а ума не нажил... солдатом... такой хилый, нежный... Голову на плаху положу, а не отпущу.

В тоне ее голоса слышались решительные ноты.

— Тогда драть надо, выбить из него эту дурь. Не миндальничать с ним... Саша да Саша, такой-сякой, немазанный.

— Уж и драть... Тоже выдумал, а еще отец... Единственного сына да драть... Пусть себе забавляется, мальчик еще... Вырастет, дурь-то эта сама собой пройдет...

— Ой, жена, не пройдет, не таков малый, чую, что не пройдет...

— Каркай еще, каркай... — сердилась Авдотья Федосьевна и уходила из кабинета мужа, где обыкновенно происходили подобные разговоры.

VIII

Дикарь

Мы упомянули, что семейство Суворовых жило в довольстве. Помещичье довольство того времени измерялось, в огромном большинстве случаев, далеко не на современный денежный аршин.

Денег тогда было мало, да и нужды в них не было. Иной считавшийся богатым помещик получал со всех своих вотчин рублей пятьсот-шестьсот, и то все медными деньгами, которые, как знает читатель, не были тогда так легковесны, как современные. Если нужно было брать с собой денег, возили в мешках, на особой фуре.

Но как же было жить без денег? — спросит, быть может, меня читатель или же, что верней всего, легкомысленная читательница. В уме последней пронесутся в это время соблазнительные картины выставок гостиного двора.

В описываемое мною блаженное время денег совсем не было нужно в помещичьем бы-

ту. Винокуренный завод свой; всякая вотчина доставляла запасы: из одной вотчины везли пшено, крупу, из другой — свинину, из третьей — всякую живность, амбары и кладовые битком, бывало, набиты всяким харчем.

Одевались тоже во все свое, зимой в домашнее сукно, а летом в домашний канифас. Так шла тогдашняя жизнь.

Были, впрочем, исключения, и к таким исключениям принадлежал и Василий Иванович Суворов.

У него водились деньжонки, но их он не тратил, да и не имел нужды тратить на домашний обиход, а ссужал в трудные минуты соседей помещиков из тех, которые любили жуировать по столицам и заграничным землям, под верные закладные и часто приобретал потом заложенные имения.

Василий Иванович был скопидом-собиратель. Небольшое сравнительно хозяйство в своем новгородском именье он вел самолично, хотя, конечно, в именье был и староста. От барского глаза не укрывалось ничего.

В сущности, Василий Иванович был добрый барин, но не терпел и строго взыскивал

за обман. Бывало, сойдет с крыльца и станет у притолоки, возле деревянного солдата. На барском дворе у крыльца стоял деревянный раскрашенный солдат с громадными усищами и выпученными глазами. Станет Василий Иванович возле солдата и смотрит, что делается во дворе. Глядит, идет какой дворовой, выпросил у ключника гуся или индейку.

Увидит Василий Иванович и спросит:

— Что там несешь?

Если скажет сейчас, что вот, мол, батюшка, выпросил живность, ну и ступай, ничего. А если, примером, кто, бывало, начнет прятаться или прятать птицу — беда: крепко разгневается Василий Иванович.

К господскому столу каждый день особо варился окорок ветчины для подачек. Как только господа сядут за стол, так в залу и набегут все дворовые ребятишки, в рубашонках, подчас в грязи и станут около стены, всякий с чашечкой. После горячего Василий Иванович обыкновенно обращался к дворецкому:

— Дай им, братец, подачи!

Дворецкий нарежет ломтики хлеба, положит на них по ломтику ветчины, да и наде-

лит всех. Таковы были патриархальные нравы доброго прошлого.

Дом стариков Суворовых, несмотря на их средний достаток, был открытый, и гости из соседних помещиков, тогда в значительном числе живших по деревням, собирались часто. Это обстоятельство составляло самую мучительную сторону жизни для маленького Александра Суворова. «Дикарь», как называл его дядька Степан, не мог выносить общества посторонних вообще, а большого общества незнакомых людей в особенности.

Эта ненормальность ребенка кидалась в глаза не только своим, но и гостям. Василий Иванович делал сыну замечания, выговоры, но совершенно безуспешно. Мальчик все больше и больше замыкался в своем внутреннем мире, питался мечтаниями и грезами своего раннего воображения. Внутренняя работа продолжалась, препятствия только вырабатывали в ребенке волю, и без того замечательно упругую, и дело двигалось своим путем.

У Василия Ивановича было слишком много занятий денежного характера, по его мне-

нию, более важных. Он махнул на сына рукой, а посторонние, вслед за дядькой, окрестили его «дикарем». Его оставили, таким образом, в покое, к его большому удовольствию, но покой этот изредка все-таки нарушался.

Однажды летом 1742 года у Суворова собрались гости, и среди них были незнакомые со странными привычками маленького Суворова; Василий Иванович по выраженному им желанию послал за сыном, приказывая ему явиться в гостиную. Старый дядька Степан отправился за своим воспитанником.

Он застал своего питомца, по обыкновению, лежащим на полу, среди комнаты, углубленного в рассматривание географической карты.

Мальчик то внимательно читал книгу, то сосредоточенно отмечал что-то на карте. Книгой было, обыкновенно, описание какой-нибудь войны, и мальчик по карте следил за движением тех или других войск.

— Лександр Васильевич, Лександр Васильевич! — окликнул его старый слуга.

Углубленный в свои занятия, мальчик не заметил вошедшего и не слышал его оклика.

— Александр Васильевич! — уже почти крикнул дядька и дотронулся рукой до плеча мальчика.

— Чего тебе? — нетерпеливо спросил молодой Суворов, нехотя отрываясь от занятия.

— Пожалуйста одеваться...

— Зачем?

— Папенька приказал вам выйти в гостиную...

— О, Господи!.. Кто там еще?..

— Гостей много... — угрюмо отвечал Степан, предвидя, что возложенная на него старым барином миссия привести в гостиную молодого барчонка еще далека до ее осуществления.

На самом деле, Александр Васильевич как ни в чем не бывало снова обратился к прерванным занятиям и тщательно проводил на карте какую-то линию, справляясь по открытой перед ним книге.

— Александр Васильевич, извольте одеваться... — продолжал Степан, хмуря и без того сдвинутые брови. — Ишь, чулки в чернилах опять замарали... На вас не напасешься...

Мальчик, видимо, не слышал этой воркот-

ни.

— Ну, ребенок, — продолжал разглагольствовать старик, — другие дети радуются, когда гости приезжают, все лишние сласти перепадут, а этому не надо... зарылся в книги и знать никого не хочет... О сне и об еде забыть готов... Что в этих книгах толку. Не доведут вас, Александр Васильевич, до добра эти книги... На что было бы лучше, кабы вы, как другие дети, играли бы, резвились, а то сидит у себя в комнате бука букой... Недаром все соседи вас дикарем прозвали...

Мальчик продолжал читать и отмечать прочитанное по карте. Все, что говорил Степан, ему было известно наизусть.

— Александр Васильевич, да извольте же вставать и одеваться! — строго крикнул уже старик.

Мальчик поднял голову.

— Одеваться? Зачем одеваться, ведь я одет?

— Известно, что не голые, только эта одежда будничная, домашняя, а папенька приказал вам одеться понаряднее... Слышали, чай, сказал я вам, что там гости...

— Гости... Да ведь гости приехали к папеньке и маменьке, а не ко мне...

— Любопытствуют, значит, видеть барчука... Вам бы это должно быть лестно...

— Нет, это только скучно.

— Скучно али весело, только извольте вставать да одеваться; вот я вам принес и кафтанчик французского покроя с серебряными пуговицами. Пожалуйста!

— Боже мой, как это досадно!.. И на самом интересном месте, — нехотя поднялся мальчик.

Старик Степан, воспользовавшись тем, что барчук его встал, быстро снял с него широкий домашний камзолик и надел принесенный кафтан.

— Ишь волосы как растрепались, косичка на сторону совсем съехала... Бантик-то надо снова перевязывать, — ворчал слуга, поправляя прическу своего молодого барина.

Мальчик молчал, видимо решившись покориться неизбежной участи.

— А все это от этих самых книг ваших... — продолжал Степан. — Совсем вы от них растерялись, и даже в уме у вас видимо поврежде-

ние...

Александр Васильевич захохотал:

— Ты думаешь, Степан?

— Чего тут думать, и думать нечего, когда явственно... Не доведут вас книги до добра... А еще в военную службу норовите... На что военному книги? Военному артикул надобен... Собрали бы дворовых мальчишек, да с ними бы занимались.

— Ан вот ты и не понимаешь...

— И понимать не хочу.

— Из книг-то узнаю многое такое, что поважнее артикула...

— Солдату артикул нужен... — стоял на своем дядька.

— Верно, старина, но не век же свой я буду солдатом.

— Тогда и выучитесь, чему надобно.

— Тогда, Степан, уже поздно будет... Время уйдет...

— Папенька ваш и без книг в генералы вышел, — торжествующе оглядел своего барчука Степан, полагая в своем уме, что против этого аргумента ему нечего будет возразить.

— Генерал генералу рознь... Да что с тобой

толковать, ты этого не поймешь.

— Где уж мне понимать... Вы, вишь, умнее стариков, — обиделся Степан. — Ну, да ладно... Пожалуйста вниз, да будьте посмелее, по-разговорчивее... Утешьте папеньку...

— Хорошо, хорошо, только ты здесь не убирай ни карты, ни книги, пусть лежат, как лежали.

— Не дотронусь до них, до проклятых. Кабы моя воля, а их превосходительство бы приказали, в огонь бы я их побросал все.

Александр Васильевич стал спускаться в сопровождении Степана по лестнице. Достигнув последней ступени, он остановился. Из гостиной, находившейся тотчас за довольно большой залой, слышался говор множества голосов.

— Идите же, идите... — понукал его сзади Степан.

— Иду, иду... — с какой-то мукой в голосе отвечал мальчик.

Они действительно сделали несколько шагов, вошли в залу и уже стали приближаться к полуотворенной двери гостиной. Шум голосов сделался еще явственнее. Мальчик снова

остановился.

— Боже, сколько народу! — вдруг воскликнул он и, быстро вырвавшись от загородившего ему путь Степана, стремглав бросился на двор, а потом в сад и в поле.

Дядька неся за ним, насколько позволяли ему старые ноги. Спасаясь от преследования своего аргуса, молодой Суворов с ловкостью белки карабкался на деревья и прятался в их густых ветвях. Заметив, что дядька удалялся в сторону, мальчик спускался на землю и убегал в другую часть сада.

В этой погоне прошло много времени. Из сада мальчик выбежал в поле, быстро распутал ноги у одной из пасшихся на траве лошадей, вскочил на нее и умчался во всю прыть без седла и уздечки, держась за гриву лошади, прямо на глазах совсем было догнавшего его Степана. Последний охал и кричал, но эти крики разносил ветер, и оставалось неизвестно, слышал ли их дикарь-барчук. Степану пришлось идти к старому барину и шепотом докладывать ему на ухо о случившемся.

Василий Иванович пожал только плечами. Он уже привык к выходкам своего

«неудачного детища», как называл он своего сына Александра.

IX

Питомец Петра Великого

Среди собравшихся гостей был и товарищ по службе и друг Василия Ивановича Суворова артиллерийский генерал Авраам Петрович Ганнибал, негр, когда-то купленный императором Петром.

Из бедного дикаря великая душа великого государя сотворила полезного государственного деятеля. Петр дал Ганнибалу отечество, семью, богатство и, что важнее всего, образование, как средство верной службою доказать привязанность к своему благодетелю и любовь к новому отечеству.

— Что случилось? — спросил Авраам Петрович, видя, что Василий Иванович нахмурился после доклада Степана.

Гости вели общий разговор, и оба старика сидели в стороне.

— Ах, дорогой друг, беспокоит меня очень мой Саша, мы с женой ночей недосыпаем, все

думая, что с ним делать.

— Что же он? — спросил генерал.

Он знал и любил мальчика, и с ним одним Саша не дичился, от него одного не убежал при встрече.

— Обязанность моя, как отца, великая обязанность приготовить для отечества в сыне верного и полезного слугу, как завещал нам великий Петр.

— Это хорошо, я не вижу, однако, о чем беспокоиться... Насколько я его знаю, Саша ни зол, ни ленив и, кажется, не имеет дурных наклонностей...

— Этого, конечно, нет, нечего и Бога гневить, но я должен переделать его натуру, а этого мне не удастся... Вот что сильно беспокоит меня...

— Но зачем же переделывать, если мальчик хорош и так? — недоумевал Ганнибал.

— Ах, ты не все знаешь о нем... Он, нечего и говорить, мальчик добрый, послушный и не только не ленив, а даже чересчур прилежен...

— В этом я не вижу еще беды.

— Но он слабого сложения, — продолжал

Василий Иванович, — и я ежеминутно опасуюсь за его здоровье и даже за самую жизнь... Он совсем не бережет себя и, несмотря ни на какую погоду, бегает по полям и лесам, купается даже в заморозки.

— Ого, из него, в таком случае, выйдет прекрасный солдат! — воскликнул генерал.

— Вот этого-то я и не хочу...

— Что так?

— Говорю я тебе, что его слабое сложение служит непреодолимым препятствием для военной карьеры, о которой он только и бредит.

— Бредит, говоришь... Это хорошо...

— Для тебя, может быть, и хорошо, — сердито сказал Василий Иванович, — но ты забываешь, что Саша у меня один сын... Поговори еще и с Авдотьей Федосьевной, столкнись с ней...

— Коли это призванье мальчика, так препятствовать нельзя, это ты сам хорошо понимаешь, поймет и она, как мать, любящая своего сына.

— Толкуй, толкуй... Призванье... Задам я ему это призванье...

— Погоди, вот он вернется, я пройду к нему, поговорю с ним и скажу тебе, что я думаю.

На этом разговор был покончен, и хозяин дома и его друг вмешались в общий разговор.

Часа два спустя молодой Суворов вернулся, о чем было доложено Василию Ивановичу, а последний сообщил это известие генералу Ганнибалу. Тот, верный своему обещанию, поднялся наверх и застал мальчика снова лежащим на полу и углубленным в книгу и карты. Он не слышал, как вошел неожиданный гость.

— Здравствуй, Саша! — сказал генерал после некоторого молчания.

Мальчик, узнав знакомый голос, поспешно вскочил на ноги и смущенный стоял перед Авраамом Петровичем.

— Разве так здороваются со старыми приятелями! — шутливо сказал генерал.

Саша подошел к гостю и поцеловал, по тогдашнему обычаю, у него руку.

— Вот так, голубчик. Ну, что ты, как поживаешь, как твое здоровье?

— Слава богу...

— Как же твой папенька говорит, что ты слабого здоровья, — продолжал он, оглядывая мальчика с головы до ног, — худенек, правда, да не в толщине здоровье...

У мальчика заблестели глаза, за минуту смущенное лицо его озарилось улыбкой.

— Не правда ли, я тоже говорю, а папенька с маменькой только и твердят, что я слабого сложения... Затем-то папенька и хочет отдать меня в штатскую службу.

— Это не беда... И в гражданской службе можно быть полезным отечеству.

— Быть может, но эта служба не по мне...

Облако печали снова опустилось на его лицо.

— А ты небось хочешь быть солдатом?..

— Хочу, очень хочу...

— Ишь как глазенки разгорелись, — взял генерал Ганнибал за подбородок мальчика. — Посмотрим, посмотрим... А теперь покажи-ка, чем ты занимаешься. Что это у тебя за книги да бумаги?

Мальчик стал показывать и объяснять. Старик был изумлен.

— Да неужели, брат, ты все это читал?

— Все и даже по несколько раз.

— Полно, так ли?

— Спросите...

Авраам Петрович взял наудачу одну книгу. Книга оказалась «Жизнь великих людей» Плутарха. Старик стал экзаменовать мальчика. Последний отвечал не запинаясь на все вопросы генерала.

— Молодец, брат, молодец, — сказал последний, — в твои лета дворянчики у нас еще за букварями сидят и то не осияют, а ты любого старого служаку за пояс заткнешь. Молодец, говорю, молодец... И не скучно тебе корпеть за книгами?

— Напротив, я готов сидеть над ними, не отрываясь, целые дни.

— А это кто же тебе чертил карты?.. Атаку крепости, сражение при Рокруа, Полтавскую битву...

— Это чертил я сам.

— Ну?

— Ей-богу...

— Верю, верю... — Генерал Ганнибал обнял ребенка и поцеловал его в лоб. — Если бы, — сказал он, — и наш великий Петр Алексеевич,

упокой его душу в селениях праведных, — старик истово перекрестился, — увидел твои работы, то, по своему обычаю, такой же, как и я теперь, поцеловал бы тебя в лоб... Учись, учись, из тебя прок будет...

— Но папенька запрещает мне всем этим заниматься, маменька тоже... Они не хотят, чтобы я был военным, — сквозь слезы проговорил Саша.

— Ничего, с папенькою да с маменькою мы как-нибудь поладим... Положись на меня...

Мальчик весь засиял. Стремительно бросился он на шею к генералу Ганнибалу, стал целовать его руки.

— Как вы добры! Я всю жизнь буду вам благодарен, если вы уговорите папеньку с маменькой и они пустят меня в солдаты!

В это время в комнату вошел Степан с вычищенным и заглаженным после прогулки барчука платьем и чистым бельем. Мальчик бросился на шею старика.

— Что случилось? — изумленно спросил старик, все еще сердитый на своего питомца за недавнюю провинность.

— Радость, Степан, радость... Но не теперь, после узнаешь... А теперь давай одеваться, я сделаю для тебя удовольствие и принаряжусь хорошенько...

Авраам Петрович с любовью посмотрел еще раз на бойкого мальчика и вышел, промолвив на прощанье:

— До свиданья, Саша, я жду тебя внизу...

— Хорошо, хорошо...

— Так теперь пойдете в гостиную? — спросил обрадованный Степан.

— Пойду, пойду...

— И не убежите?..

— Нет, теперь не убегу.

Мальчик так спешил одеваться, что старый дядька не успевал прислуживать.

— Тише, тише, ишь заторопился, видно, генерал-то вам задал добрую гонку...

— А вот и ошибся, он похвалил меня.

— Похвалил! Ну, кажись бы не за что... Новый кафтан разорвали, хорошо еще, что пошву... Все перепачкали.

— Не за то он похвалил меня, а за мое ученье... за книги...

— За книги... — протянул дядька. — Будь

по-вашему, а по-моему, так лучше уж платье пачкайте, а книги бросьте... Здоровей.

— Ты ничего не понимаешь.

— И понимать не хочу... Но вот вы и готовы...

— Так я иду...

— Смотрите же, проходите прямо в гостиную и хорошенько всем шаркайте ножкой.

— Хорошо, хорошо...

Подозрительный Степан, однако, не удовольствовался этим обещанием своего барчука, а по пятам проводил его до дверей гостиной, готовясь схватить его в охапку при малейшем поползновении к бегству. Молодой Суворов поборол, однако, свою робость и довольно храбро предстал перед гостями, раскланялся и даже отвечал умно и толково на заданные ему некоторыми из них вопросы.

После обеда большинство гостей отправилось отдыхать в отведенные им комнаты, иные ушли гулять, а Авраам Петрович удалился с хозяином в кабинет Василия Ивановича. Там уселись они в покойные кресла.

— Говорил я, дружище, с твоим сыном, видел, чем он и как занимается...

— Что же, успел разубедить его, сказать ему, что для него военная служба могила?

— Да я и не думал разубеждать его, не думал говорить ему, прости, старый друг, таких нелепостей...

Василий Иванович с удивлением вскинул на него глаза.

— То есть как нелепостей!

— Да так... Ребенок здоров, силен, вынослив... Дай бог, чтобы все дети пользовались таким цветущим здоровьем, как твой сын... Притом он умница... Меня, старого, в тупик поставил... Никогда не видал я такого необыкновенного ребенка... Тебя можно поздравить, Василий Иванович, у тебя редкий сын...

— Полно, дружище...

— Я тебе говорю не любезность, а правду... Правду буду говорить и дальше... Как отец, ты имеешь право распоряжаться судьбой твоего сына, но, как умный человек, ты же должен подчиняться его наклонностям... Как верный сын отечества и верный слуга царевый, ты обязан способствовать развитию необыкновенных способностей мальчика, хотя бы оно было противно твоим планам и желаниям...

Твой сын будет великим полководцем.

— Далеко загадал, дружище.

— Я говорю это с полным убеждением... Я тебе говорю серьезно... Ты знаешь меня довольно... Я не буду шутить там, где идет дело о сыне моего старого друга. У тебя, повторяю, необыкновенный сын... На двенадцатом году он знает более, нежели многие из наших генералов... На нем почивает благословение твоего крестного отца — бессмертного Петра, которого Господь Бог сотворил нарочно для пересоздания России... В твоём сыне Александре так же открылся гений, как и в младенце Петре...

Слова эти сильно подействовали на Василия Ивановича, так же, как и Ганнибал, благоговевшего перед памятью своего царственного крестного отца. Он, видимо, был тронут, но молчал.

— Заклинаю тебя тенью великого Петра, — продолжал между тем Авраам Петрович, — подчинись судьбе и дозвожь твоему сыну идти путем, видимо предназначенным ему Богом. Быть может, Всевышний назначил его, чтобы исполнить хоть часть замыслов наше-

го усопшего благодетеля — упрочить силу и благоденствие России новыми победами, новыми завоеваниями... Умоляю тебя, согласишься...[5]

Старик умолк. Василий Иванович встал с кресла и стал большими шагами ходить по кабинету. По его лицу была видна происшедшая внутри его борьба. Все сказанное его другом, с одной стороны, льстило его родительскому самолюбию, а с другой — совсем противоречило его планам. Он хотел бы видеть сына на доходном месте подьячего, чтобы быть уверенным, что собираемые им имения не пойдут прахом.

Генерал Ганнибал стал следить глазами за своим другом, понимая, но не догадываясь о подробностях этой борьбы, но чувствуя, что она окончится чем-нибудь решительным.

Вдруг Василий Иванович остановился и захолопал в ладоши. На этот обычный для того времени зов явился слуга.

— Позови сюда барыню.

Слуга скрылся, произнеся лаконично: «Слушаю-с».

Х

Суворов-солдат

Через несколько минут в кабинет тихо вошла хозяйка дома, Авдотья Федосьевна.

Это была худая, высокого роста женщина — сын ростом был, видимо, не в нее, а в Василия Ивановича, который был на голову ниже своей жены. Худоба ее происходила не столько от сложения, сколько от болезни. Бледное, морщинистое лицо почти восковой прозрачности и постоянный лихорадочный румянец на щеках или, скорее, на выдававшихся вперед скулах говорили о неизлечимости недуга, медленно, но упорно подтачивающего жизнь этой женщины. Одета она была в темное шерстяное платье и, несмотря на теплый вечер, куталась в ковровую шаль.

— Ты звал меня, Василий Иванович?

— Звал, Дуня, звал...

— Что тебе?

— Дело есть, присядь...

— Дело? — тревожно спросила Авдотья Федосьевна и как-то бессильно опустила в од-

но из кресел, уставив на мужа вопроситель-но-недоумевающий взгляд.

— Дело, Дуня, дело... Насчет Саши... Вот его превосходительство, сама, чай, знаешь, какие мы с ним закадыки, уверяет, что я обязан пустить мальчишку в военную службу... Не смею-де перечить его хотенью...

Авдотья Федосьевна перевела свой взгляд с мужа на генерала Ганнибала. В этом взгляде уже светился испуг.

— Верить не хочу, Авраам Петрович, чтобы вы по дружбе вашей к Василию Ивановичу желали гибели его сыну... Не перечить его хотенью! Да мало ли что дитя иное хочет... Иной вот на крышу норовит влезть, так, по-вашему, и пускать... Пошутили вы со старым другом, а он, видно, всерьез принял...

— Ваш муж, сударыня, не так выразился, — отвечал генерал Ганнибал, — не говорил я не перечить хотению ребенка, ни в жизнь такой нелепости не скажу...

— Я это знала; видишь, ты сам напутал, Василий Иванович, — по женской привычке прервала, обращаясь к мужу, речь генерала Авдотья Федосеевна.

— Ты сначала его дослушай, — заметил тот.

— А говорил я действительно вашему супругу, что грех большой на душе его будет, если он воспрепятствует сыну своему следовать его внутреннему призванию, быть военным. Что лишит он этим верного слуги своего отечества, что, по-моему, ваш Саша предназначен для высокого удела великого полководца, который в будущем покроет неувядаемыми лаврами как себя и свою фамилию, так и Россию. Я говорил с ним и вынес убеждение, что он не только не хочет, но по натуре своей не может ничем быть иным, как солдатом.

— Вот видишь, матушка! — вставил Василий Иванович, видя, что его друг замолчал.

— Солдатом... Саша — солдатом... Такой хилый да болезненный, да он недели не вынесет в солдатской службе! — всплеснула руками Авдотья Федосьевна.

— Поверьте, сударыня, что ваш сын для мальчика его лет отличается более чем крепким здоровьем, что, приучая себя сам к сырости и холоду, дождю и снегу, он, как кажется, ни разу не был болен серьезно.

— Бог милостив, ваше превосходительство, даже не хварывал, слава Создателю...

— Вот видите!

— Но все же он былиночка.

— Сухие да тонкие самые выносливые люди.

— Кабы вашими устами да мед пить.

— И будете, да не мед, а такую сладость вкусите, коли послушаетесь, что помянете добрым словом меня, старика. Ваш муж тоже был против, но, как кажется, убедился моими речами... На совет он вас позвал... Значит, от вас теперь зависит счастье вашего сына, его слава вместе со славой отечества... Будьте матерью, любящей свое отечество... В древности были матери, которые, провожая сына на войну и подавая ему щит, говорили: «С ним или на нем», то есть возвращайся победителем или мертвым... От вас требуют не этого, вас просят лишь не мешать счастью сына, предоставить ему идти дорогой, которую ему, младенцу, указал сам Бог...

— Ох, боязно, ваше превосходительство, не вынесет...

— Канцелярской духоты действительно не

вынесет и захиреет хуже, — заметил генерал Ганнибал. — И если вести его по гражданской службе, то надо сейчас везти его в Петербург или Москву, чтобы в несколько лет подготовить, он сам-то ведь занимается только военными науками, в солдаты еще года два-три подождать можно... Пусть себе учится да живет при вас и отце...

— Это, дружище, ты говоришь правду, я сам подумывал к осени отвезти его в Питер, там у меня есть грамотей на примете, приказная строка такая, что лучше и не надо.

— К осени... Уж и везти... — упавшим голосом произнесла Авдотья Федосьевна.

Василий Иванович и Авраам Петрович значительно переглянулись друг с другом. Авдотья Федосьевна несколько минут сидела в глубокой задумчивости.

— Что же, Василий Иванович, — начала она после некоторого молчания, — если это, может, и впрямь, как говорит его превосходительство, произволение Божие, пусть идет в военную службу...

— Добро, матушка, добро, я-то уж решил так, за тобой было дело... Меня старый прия-

тель до слез пронял...

— Так пусть будет так, — сказала Авдотья Федосьевна.

— Аминь!.. — произнес генерал Ганнибал.

Василий Иванович встал, раза два прошелся по кабинету и захлопал в ладоши.

— Позовите сюда Сашу.

Через несколько минут мальчик, весь бледный и трепещущий, появился на пороге кабинета. Его чуткое детское сердце угадывало, что здесь сейчас решится его судьба. Он обвел своими умными глазами отца и мать и остановил взгляд на Аврааме Петровиче. В этом взгляде смешивались и страх, и надежда.

Василий Иванович придал своему взгляду строгое выражение и сказал:

— Иди сюда.

Ребенок приблизился.

— Ты у меня один сын, — заговорил снова Василий Иванович, — на тебе я основал все свои надежды и к поддержке моего рода и честного имени...

Голос старика дрогнул.

— И не ошибетесь, папенька! — просто от-

вечал ребенок.

Василий Иванович переглянулся с Ганнибалом. Последний улыбнулся и одобрительно кивнул головой.

— Я не раз говорил тебе обо всех трудностях и опасностях военной службы... Повторяю тебе еще раз, что ты едва ли вынесешь ее при твоём сложении и здоровье... Но ты не слушаешь отца и упорствуешь...

— Папенька... — начал было Саша, но Василий Иванович прервал его:

— Твоя речь впереди. Послушай сначала, что я скажу тебе. При моем состоянии и при помощи моих друзей и приятелей я мог бы доставить тебе видное место в статской службе, где бы ты мог скоро отличиться...

— Я нигде не стану служить, кроме военной... — сквозь слезы отвечал ребенок.

В тоне его голоса слышались одни решительные ноты.

— Ты не понимаешь дела. Несмотря на твои молодые годы, ты очень много потеряешь в военной службе. Если бы я назначал тебя к этой службе, то записал бы в полк при самом рождении, это я мог бы сделать легко, то-

гда шестнадцать лет, явившись на службу, ты был бы уже офицером гвардии и мог бы выйти в армию капитаном или секунд-майором... Теперь же тебе, знай это, придется начинать с солдата.

— Да иначе я бы и не согласился начинать службу! — отвечал Саша.

— Не говори глупостей... Солдатская служба — тяжелая служба.

— Что делать! Но я должен начать с солдата, так как хочу быть фельдмаршалом...

Этот ответ так поразил Василия Ивановича, что он отступил на шаг. Авдотья Федосьева усиленно заморгала глазами, на которых появились слезы. Были ли это слезы радости или печали — неизвестно.

— Молодец! — воскликнул генерал Ганнибал. — Молодец, Саша. Покойный благодетель наш Петр Великий говаривал всегда: «Плох тот солдат, который не хочет быть генералом».

— Да понимаешь ты, мальчик, что ты говоришь? — спросил пришедший в себя Василий Иванович.

— Очень хорошо понимаю, папенька...

Первый в свете государь Петр Великий начал службу с простого солдата... Не хотите меня видеть фельдмаршалом, зароете в могилу простым писцом.

Это было произнесено таким пророческим тоном, что даже Василий Иванович несколько раз учащенно моргнул глазами, сбрасывая с них навязчивые слезы. Авдотья Федосьевна заплакала.

— Благослови, Василий Иванович, — сказал дрожащим от волнения голосом Авраам Петрович.

— Господи, научи меня, как поступить мне? Что сделать мне, что сделать? — возвел очи к небу Василий Иванович.

— Благослови, папенька, и вы, маменька! — тоном, полным мольбы, произнес Александр.

Василий Иванович взглянул на жену и после некоторой паузы произнес:

— Благословляю, благослови и ты, Дуня.

Ребенок бросился к ногам отца, а затем перешел на грудь рыдающей матери. Будущность сына была решена.

Вскоре после этого разговора в кабинете

Александр Суворов был записан в Семеновский гвардейский полк рядовым. Но в течение еще трех лет он находился в родительском доме.

Авдотья Федосьевна, однако, недолго радовалась на своего сына. Через год с небольшим после этого она умерла, подарив мужу дочь.

Это было первое тяжелое горе мальчика, чувствовавшего себя после благословения, данного ему родителями на любимый род деятельности, совершенно счастливым.

Куда девалась даже его прежняя застенчивость?

Он охотно стал выходить к гостям, и дядьке Степану не приходилось стеречь его и ловить на дворе и в поле. Чтение и занятия он продолжал с прежним рвением, изучая Плутарха, Корнелия Непота, деяния Александра Македонского, Цезаря, Ганнибала и других знаменитых полководцев древности.

Кроме того, он познакомился с походами Карла XII, Монтекукули, Конде, Тюрения, принца Евгения, маршала Саксонского и других. Из военных наук военная история, конечно, больше всего нравилась маленькому Су-

ворову, и она одна могла завлечь его в дальнейшие занятия и дать сильный толчок его военному призванию. Из почти современных ему героев ему особенно нравился Карл XII — этот образец неустрашимости, смелости и быстроты. Такие люди сильно действуют на воображение, следовательно, приходится по детскому вкусу больше всяких иных.

Но к чести не по летам зрелого умом Александра Суворова, он вскоре понял, что голова его любимого героя несколько экзальтирована и не совсем в порядке, что твердость его скорее может быть названа упрямством и что вся общность его военных качеств соответствует больше идеалу солдата, нежели полководца.

Этим объясняется изучение Суворовым наряду с походами Карла XII и методических записок Монтекукули, строящего все на благоразумии и расчете.

Историю и географию он изучал по Гюбнеру и Ролленю, а начала философии по Вольфу и Лейбницу. Артиллерию и фортификацию преподавал ему сам Василий Иванович, который был знаком с инженерною наукою

больше, чем с другими, даже перевел на русский язык Вобана.

Боготворя отца, давшего ему наконец согласие, от которого должны были осуществиться все его заветные мечты, сын прилежно изучал переведенную отцом книгу. Он знал всего Вобана почти наизусть.

Кроме военного, молодой Суворов с самых ранних лет получил и религиозное образование. Он отличался набожностью и благочестием, любил сидеть над Библией и изучил в совершенстве весь церковный круг.

Как у всякого самоучки, образование молодого Суворова не отличалось ни строгою системой, ни методом. Если Василий Иванович, сам малообразованный, не мог руководить образованием сына, то он не отказывал ему в книгах, предоставив и свою библиотеку, и приобретая книги покупкою.

Пророчество слов его друга генерала Ганнибала звучало в его ушах и побуждало его скупость. Если его сыну назначена была такая высокая доля, то нельзя было жалеть средств для ее возможного осуществления. Так рассуждал Василий Иванович и скрепя

сердце выдавал деньги на книги и карты.

Утешался Василий Иванович еще и тем, что сын бережно обращался со своими сокровищами — книгами и при каждой присылке их из Петербурга или Москвы несколько дней ходил весь сияющий.

Подрастая, молодой Суворов все более и более жаждал начать действительную военную службу, выражая это желание отцу, но не хотел огорчать его настойчивостью.

Наконец это вождеденное время настало.

В Петербурге года за два перед тем совершилось событие, радостное для всех приверженцев Петра Великого, — на российский престол вступила его дочь Елизавета Петровна. Василий Иванович, в числе других «птенцов гнезда Петрова», не захотел оставаться дома в бездействии и опять вступил на действительную службу, принятый в нее в чине генерал-майора.

Сын его Александр поступил рядовым в тот полк, в который был записан. Мечта мальчика исполнилась, и он был настоящим солдатом. Ему было от роду пятнадцать лет.

Петербург елизаветинского времени

Петербург в царствование императрицы Елизаветы представлял одни противоположности.

Из великолепного квартала вы вдруг переходили в дикий и сырой лес; рядом с огромными палатами и роскошными садами стояли развалины, деревянные избушки и пустыри.

Границей города в то время считалась река Фонтанка, левый берег которой представлял предместья, от взморья до Измайловского полка — «Лифляндское», от последнего до Невской перспективы — «Московское» и от Московского до Невы — «Александро-Невское». Васильевский остров по 13 линию входил в состав города, а остальная часть, вместе с Петербургскою стороною, по речку Карповку, составляла тоже предместье. Весь берег Фонтанки был занят садами и загородными дачами вельмож.

Первый деревянный мост через Фонтанку

был Аничков, сделанный в 1715 году; название он получил от примыкавшей к нему Аничковской слободы, построенной полковником М. О. Аничковым позднее, в 1726 году. Аничков мост был подъемный, и здесь был караульный дом для осмотра паспортов у лиц, въезжавших в столицу. В то время, к которому относится наш рассказ, Аничков мост перестраивался и утверждался на сваях.

Первый исторический мост в Петербурге был Петровский, на речке Ждановке — он соединял Петербургский остров с крепостью, и затем, уже в 1739 году, стало вдруг в Петербурге сорок мостов. Все эти мосты были тогда безымянные.

Где стоит теперь дворец великого князя Сергия Александровича (бывший дом князей Белосельских), в елизаветинское время находился дом князя Шаховского; рядом с ним было Троицкое подворье, затем дом гоф-интенданта Кормедона, купленный Бироном, и при императрице Елизавете конфискованный и отданный духовнику императрицы Дубянскому. Далее по Невской перспективе, по Морской и Миллионной, стояли дворцы и дома

вельмож.

Жизнь в Петербурге была в то время, а особенно во время царствования императрицы Анны Иоанновны и кратковременного правления Анны Леопольдовны, далеко не безопасна. Разбои и грабежи были сильно распространены в самой столице. В лежащих кругом Фонтанки лесах укрывались разбойники, нападавая на прохожих и проезжих.

Полиция обязала владельцев дач по Фонтанке вырубить леса: «дабы вора́м пристанища не было»; то же самое распоряжение о вырубке лесов последовало и по Нарвской дороге, по тридцать сажень в каждую сторону, «дабы впредь невозможно было разбойникам внезапно чинить нападения».

Были грабежи и по Невской перспективе, так что приказано было восстановить пикеты из солдат для прекращения сих «зол». Имеется также известие, что на Выборгской стороне, близ церкви Самсония, в Казачьей слободке, состоящей из 22 дворов, разные непорядочные люди имели свой притон. Правительство сделало распоряжение перенести эту слободку на другое место.

Бывали случаи грабительства в центре Петербурга, которые названы «гробокопательством». Так, в одной кирхе оставлено было тело какого-то знатного иностранного человека. Воры пробрались в кирху, вынули тело из гроба и ограбили. Воров отыскивали и казнили смертью.

Для прекращения разбоев правительство принимало сильные меры, но они не достигали цели. Разбойников преследовали строго, сажали живых на кол, вешали и подвергали другим страшным казням, а разбои не унимались.

При Анне Иоанновне начальником тайной канцелярии был Андрей Иванович Ушаков. Клеврет Бирона беспощадно проливал человеческую кровь, с бессердечностью палача, присутствуя лично при жесточайших истязаниях. Наказывал он не только престарелых и несовершеннолетних, но и больных, даже сумасшедших.

В царствование Анны Иоанновны одних знатных и богатых людей было лишено чести, достоинств, имений и жизни и сосланных в ссылку более 20 000 человек. Петербург

кишел доносчиками, которые нагоняли такой страх на жителей, что многие затворялись у себя в домах и боялись показаться на улицу, а особенно посещать сборища.

Понятно, что с воцарением Елизаветы Петровны все вздохнули свободнее, надеясь, что эта «дщерь Петра» водворит порядок и спокойствие, которые сделают жизнь петербургских обывателей хотя мало-мальски сносною.

Надежды оправдались. Елизавета твердою рукою взялась за кормило власти, но в течение ее царствования Петербург все еще представлял описанную нами картину.

В этот-то полуграндиозный и полупустынный, полуевропейский и полудикий Петербург прибыли отец и сын Суворовы.

Стояло начало декабря 1745 года. Василий Иванович хотя и состоял уже в действительной службе, зачисленный в нее вскоре после воцарения императрицы Елизаветы Петровны, но, по обычаю того времени, только числился в ней, проживая в деревне. Он и теперь прибыл лишь для того, чтобы самому сдать сына и при случае удостоиться чести лицезреть монархиню, дочь его благодетеля и

крестного отца.

Имея в Петербурге много знакомых и приятелей, он, однако, не хотел стеснять их наездом, а остановился в домике священника ямской Предтеченской церкви Иллариона Андреева, брата священника одного из приходов Новгородской губернии, к которому принадлежала суворовская вотчина. Дом этот находился недалеко от казарм Семеновского полка, в котором должен был служить Александр Суворов.

Василий Иванович решил оставить сына на жительство у попа, зная, что постоялец для дома священника будет далеко не лишним, так как доходы духовенства того времени были очень ничтожны. Служители алтаря буквально перебивались с хлеба на квас. Всякий лишний грош, а не только пятак представлял уже большую поддержку для убогого домашнего хозяйства столичного священника. Отец Илларион бедствовал едва ли не более других, так как принадлежал к пастырям церкви, не дававшим поблажки своим духовным детям, а потому последние не очень-то несли ему «дары», составлявшие главное под-

спорье в священническом хозяйстве. Незадолго же до прибытия Василия Ивановича с сыном в Петербург над домом отца Иллариона стряслась еще большая беда. Он уже несколько времени находился в непосильных трудах в Александровском монастыре, куда был отправлен на два года. Встретившая приезжих попадья Марья Петровна, чуть не умиравшая с голода с четырьмя детьми, мал мала меньше, со слезами на глазах рассказала им все случившееся с ее мужем.

Не отличаясь грамотностью, петербургское духовенство поражало грубостью нравов. В среде его то и дело слышалась брань, частые ссоры между собою и даже с прихожанами в церквах. Картины просвещения и нравственности были самые темные. Не отличался незлобивым нравом и отец Илларион.

— С год тому назад, — так рассказывала Марья Петровна, — повздорил отец Илларион с капитаном Мамонтовым, Иваном звать; стал его муж упрекать в беспутстве, тот не вынес, да его и обругай... Отец Илларион того пуще ругнул его благородие, дело было в

церкви, за заутреней... Кончилась служба, капитан-то у церкви моего-то ожидал... Опять сцепились, до самого дома переругивались, а у ворот капитан-то отца Иллариона и толкни... Мой-то, горяч нравом, ой горяч, и рассви-репей... Такую потасовку капитану задал, что тот едва ноги от ворот уволок.

— Ну, что же дальше? — спросил Василий Иванович, с аппетитом потягивая с дороги теплый сбитень.

— Суд да дело пошло... В духовном правлении моему-то плетей изрядную толику всыпали, да в Александровский монастырь под начало послали.

— Это, матушка, дело не хвалю.

— Какой уж хвалить, ваше превосходительство... С малыми ребятишками я одна осталась... Спасибо прихода не лишилась, из соседней церкви отец Николай, на покое при сыне живет, службу справляет, да и то беда, подаяниями добрых людей перебиваюсь.

— Ну, вот я тебе постояльца привез, сына, солдат он; да в казарме ему спать не сподручно, горенку-то чистую найдешь?

— Найду, ваше превосходительство, как не

найти... В доме-то четыре горенки, любую пусть выбирает их благородие.

— Выберем, выберем, время терпит... По твоему горькому сиротству плата тебе будет два рубля в месяц с услугой, муку, крупу, живность из деревни присылать буду... Коли хочешь — по рукам, коли нет — от ворот поворот.

— Как не хотеть, благодетель, ваше превосходительство! — Марья Петровна повалилась в ноги Василию Ивановичу.

— Вставай, вставай, кажи горницы... — встал из-за стола Василий Иванович и в сопровождении Марьи Петровны и сына, уже допившего свой сбитень, начал обозревать маленький одноэтажный домик отца Иллариона.

Он состоял из четырех комнат и прихожей, кухня отделялась широкими сенями. В эти сени вела одна дверь из прихожей, а другая из угольной комнаты, занимаемой спальней. Последняя была наглухо заколочена. Выбор Василия Ивановича остановился на этой задней комнате, он приказал открыть дверь в сени и заколотить ведущую в другие горни-

цы.

— Вот и будет особняк, ни ты им мешать не будешь, ни они тебе, — обратился он к сыну.

Тот отвечал покорным наклонением головы.

Все его мысли были о том близком уже теперь дне, когда он наконец станет настоящим солдатом.

— Так вы все и сделайте... Сегодня да завтра, за два дня исподволь... Нынешнюю ночь уж мы переночуем в большой горнице, — сказал Василий Иванович Марье Петровне.

— Слушаю, ваше превосходительство, все будет сделано в точности.

Четверо ребятишек, два мальчика и две девочки, всюду по пятам следовали за матерью, держась за ее юбку. Довольный покорностью хозяйки-матери, Василий Иванович раздал им по грошу.

— Нате вам, пострелята, на сласти...

— Поцелуйте ручку у дедушки, — сказала Марья Петровна. Дети отвечали дружным ревом.

— Не надо, не надо... — замахал рукой ста-

рик Суворов и снова возвратился, в сопровождении Марьи Петровны и сына, в большую горницу.

— Еще горяч... — тронул он рукой дорожный чайник со сбитнем и налил себе стакан. — С кибиткой-то управились? — бросил он Марье Петровне.

— Работнице я велела помочь... Управится...

— Работницу держишь? — подозрительно спросил он.

— Такая же, как и я, бездомная сирота, из-за хлеба, — потупилась попадья.

XII

На новоселье

С уборкой комнаты поспешили. Уже на другой день Александр Суворов с присущей ему аккуратностью расставлял на приделанные к одной из стенок комнаты полки своих единственных друзей — книги.

Отец уехал посещать петербургских сослуживцев и знакомых.

Комната молодого солдата вышла очень уютной. Стены были начисто вытерты — они были бревенчатые, без обоев, пол чисто вымыт. Простой деревянный стол, три табурета и деревянная постель с тюфяком из соломы, кожаной подушкой и вязаным одеялом, привезенным с собою из деревни, составляли все ее убранство.

Пока в Петербурге гостил Василий Иванович, постель предназначалась для него, сын же должен был спать на полу, на сделанном сеннике, под дорожным тулупчиком. Сенник был сбит так, что к изголовью несколько возвышался.

Василий Иванович вернулся в радужном настроении духа.

— Уж ты и на новоселье? — удивился он, входя в отворенную дверь комнаты сына.

— Точно так, батюшка, устраиваюсь, — отвечал тот.

Старик разоблачился от верхнего платья и присел к столу.

— А я тебе радость привез, Саша, — сказал он после некоторого молчания.

Александр Васильевич в то время вынимал из сундука несколько книг, чтобы поставить их на полку.

— Какую? — спросил он, обернувшись и держа книги в руках.

— Можно освободиться тебе от строевой службы...

Мальчик даже выронил книги, которые и полетели на пол.

— Что вы, батюшка!

— Не наверное, а обещали... Случай такой вышел, приятель один, бывший сослуживец, властный теперь человек... Поведал я ему свое горе, что опоздал записать тебя в службу и что вот теперь тебе придется испытать на-

стоящую солдатскую лямку...

— Настоящую, настоящую, то-то и хорошо... — прервал отца Александр Васильевич.

— Помолчи, твоя речь впереди будет, — остановил его Василий Иванович.

Мальчик замолчал и стоял уже весь бледный, и на глазах его дрожали слезы.

— Этому горю помочь можно — это приятель-то мой мне говорит. Он как по письменной части... Это про тебя-то... Дока, у меня он во всем дока — похвастался я... Тогда его можно будет пустить по письменной части... в канцелярию полка, до офицерского чина. Слышь, парень?

Мальчик не отвечал и стоял, как бы приросший к месту.

— И долго, говорю я ему, ваше высокопревосходительство, придется в нижних чинах быть? Нет, говорит, долго не задержим... Услужим для приятеля... Вот как! Слышишь, парень?

Александр Васильевич молчал, но слезы ручьями текли по его бледным щекам.

— Да ты никак ревешь? — вдруг воскликнул Василий Иванович, только что заметив-

ший впечатление, произведенное на сына его речью. — С радости, что ли?

— Батюшка... Я хочу быть солдатом... Ведь вы же знаете... — повалился сын в ноги сидевшему на табурете отцу.

Василий Иванович встал и поднял его.

— Встань, встань, какой же ты солдат, коли ревешь, как баба.

— Я хочу быть солдатом, — продолжая всхлипывать, говорил мальчик.

— Ну и будешь солдатом... Мундир, амуниция, все такое. Только легче... Писать-то ты мастак...

— Какой я, батюшка, мастак, — сквозь слезы ответил Александр Васильевич, — коли я пишу точно курица бродит... Разве так писаря пишут...

— Обвыкнешь... Все же это легче, чем в строю... В строю ой тяжела солдатская служба... Слышь, парень, так тяжела, что месяца не выживешь.

— Выживу, Бог милостив, только простите, батюшка, я в строй, а в писаря я не хочу.

— Что-о-о?! — вытаращил на него глаза Василий Иванович.

Слезы вдруг высохли на глазах мальчика, и в них загорелся огонь бесповоротной решимости.

— Я желаю служить, батюшка, как служат все солдаты... мне не надо чинов, добытых по-приятельски...

— Молчать! — крикнул Василий Иванович. — Щенок, своего счастья не понимаешь! Туда же, я хочу... Я из тебя, наконец, дурь выбью...

Отец подскочил к сыну совсем близко. Сын не шелохнулся.

— Вот они где... Вот и сам будущий фельд-маршал! — раздался в дверях голос.

В комнату входил генерал Авраам Петрович Ганнибал. Мальчик бросился на шею старику.

— Здравствуй, брат, — встретил приятеля не пришедший еще в себя от волнения Василий Иванович. — Вот вырастил дурака-то... А все мать... Царство ей небесное! Не тем будь помянута...

— В чем дело? — спросил Авраам Петрович, усаживаясь на табуретку.

— Да как же, счастья своего не понимает...

упрям как черт, прости Господи...

— В чем счастье-то? Приехал ведь в полк... — не понимал старик.

— То-то же, что в полк... Строевым, значит, надо служить...

— Всеконечно.

— А теперь вот представляется случай пустить его по письменной части в канцелярию того же полка... И легче, и чины быстрее пойдут...

Василий Иванович наклонился к генералу Ганнибалу и что-то стал ему говорить шепотом с серьезно-озабоченным видом. Генерал выслушал.

— А Саша отказывается?

— Вообрази, да...

— И дельно паренек делает.

— И ты туда же?

— Я всегда, брат, туда, где правда... Еще наш незабвенный благодетель Петр Великий говаривал: «По кривой дороге вперед не видать». Саше же твоему вперед хочется... Служба службой, а дружество дружеством, этих двух вещей смешивать не следует...

— Да ведь он, Кощей эдакий, в строю двух

недель не выживет!..

— Авось выживет... Коли он Кощей, значит, бессмертный, — пошутил Ганнибал. — Так ли, Саша?

— Я вынесу, все вынесу... — простонал мальчик.

— И не стыдно тебе, Василий Иванович, скажу я тебе уж напрямик, по-приятельски, мальчика мучить. Решил уж раз предоставить ему свободу в выборе службы, дал слово и шабаш. Знаешь, чай, пословицу: «Не давши слова крепись, а давши, держись».

— Да ведь я, любя его, жалеючи... — уже более мягким тоном сказал старик Суворов.

— Жалость жалости рознь, а иную хоть брось. Ты поразмысли-ка, к чему он науку военную изучал, карты читал, ишь какую уйму книг прочитал? Для того ли, чтобы в писарях несколько лет пробыл, в офицеры не по заслугам выскочить... и в отставку...

— Зачем в отставку?

— Да какой же он офицер будет из писарей... К солдатам он и приступить не сумеет... В фронтовой службе аза в глаза знать не будет... Значит, и остается ему только в деревню

ехать, бабьи холсты считать...

Авраам Петрович остановился. Василий Иванович молчал, Саша все еще продолжал стоять в прежней позе, порой лишь вскидывая благодарный взгляд на генерала Ганнибала.

— Так-то, дружище, оставь его, пусть идет своею дорогой.

— А ну его, — махнул рукой Василий Иванович, — слова не скажу, пусть потянет солдатскую лямку, только, чур, не жаловаться, приезжать вызволять, шалишь, не поеду... Слышь...

— Слышу, папенька, и не надо... Не пожалуюсь... Только бы поскорей в строй, — радостно подбежал Саша и поцеловал руку отца.

— Завтра.

— Завтра, завтра! — захлопал мальчик в ладоши и бросился на шею генералу Ганнибалу.

— Ишь ласкается к баловнику-то, — проворчал Василий Иванович.

В тоне его голоса слышались нервные ноты.

— Поцелуй отца, — шепнул мальчику генерал.

Саша быстро исполнил этот совет и от души поцеловал Василия Ивановича.

— Тяни, тяни лямку, коли охота, — уже ласково, шутливым тоном заговорил он, — не хотел отцовских забот и не надо...

Друзья заговорили между собой. Василий Иванович передавал Аврааму Петровичу впечатление, произведенное на него Петербургом, в котором он не был уже много лет, рассказывал о сделанных визитах, случайных встречах.

— Буду представленным ее величеству, — сообщил он в заключение.

— А-а-а! — протянул Авраам Петрович. — Я рад за тебя.

— А уж я как рад... Трепет какой-то священный в душе чувствую при одной мысли, что снова увижу великолепную дочь Петрову на престоле, в лучах царственной славы.

— Да, брат, дождалась Россия после многолетних невзгод красного солнышка... В лучах славы великого отца воссела на дедовский

престол его мудрая дочь... Служи, Саша, служи нашей великой монархине, служи России! — с энтузиазмом воскликнул генерал, обращаясь к мальчику, снова вернувшемуся к уборке своих книг.

— Клянусь посвятить всю свою жизнь славе всемилостивейшей монархине и России! — с серьезной вдумчивостью сказал Александр Суворов.

— Аминь! — произнес генерал.

В это самое время в отворенной двери показалась Марья Петровна.

— Накрывать обедать в большой горнице прикажете или здесь, ваше превосходительство?

— Накрывайте здесь, будем обедать на новоселье у сына, — сказал Василий Иванович. — Ты закусишь с нами? Провизия деревенская, — обратился он к Аврааму Петровичу.

— Да уж бывшее дело, я пообедал...

— Не побрезгуй... Может, попадья-то и хорошо стготовила.

— Хорошо, съем чего-нибудь кусочек.

— Так на три прибора, хозяйюшка...

— Слушаю-с, ваше превосходительство, — отвечала Марья Петровна и тихо удалилась.

Через несколько минут она вернулась вместе с работницей. У обеих в руках была посуда, ножи, вилки и ложки. Марья Петровна накрыла стол чистой скатертью светло-серого цвета с красными каймами.

Саша тем временем окончил уборку книг. Опустевший сундук, или так называемую укладку, которые делались ниже сундука, мальчик закрыл, а затем, отодвинув лежавший на полу сенник, придвинул в угол и сенник положил на нее.

— Ишь солдат, что быстро сообразил и постель себе смастерил... Молодец! — заметил Авраам Петрович и потрепал подошедшего к нему Сашу по щеке.

Марья Петровна с работницей стали вносить одна за другой незатейливые, но вкусные яства того времени. Горшок щей, подернутых янтарным жиром, гусь с яблоками и оладьи с вареньем составляли меню этого обеда на солдатском новоселье.

Василий Иванович вынул из дорожной шкатулки затейливой заморской работы гра-

ненный графинчик богемского хрустала и две серебряных чарки.

— Анисовой... — наполнил он одну из них и поднес генералу.

— Петровой... — протянул тот руку, но Василий Иванович быстро опрокинул ее себе в рот и, наполнив другую, поднес Аврааму Петровичу.

— У поляков научился, — засмеялся генерал.

— Угадал. Пан Язвицкий, сосед, с гостями всегда так проделывает.

— Это у них в обычае, чтобы показать, что напиток не отравлен.

— Вот как, а я не знал, думал, так балуется. Старики выпили по второй и отдали честь как деревенской провизии, так и кулинарному искусству матушки-попадья.

— Уф! — отдувался после доброго десятка оладий Василий Иванович. — Об одном я покоен — Саша голоден не будет. Мастерница, мать-попадья, жаль муженька-то ее законопатили.

— А что? — полюбопытствовал генерал Ганнибал.

Василий Иванович рассказал.

— Печально, печально!

— У тебя нет ли среди духовенства влиятельных знакомств?

— Есть, как не быть.

— Похлопотать бы за него, может сократят срок и опять в приход определят.

— Похлопотать можно, отчего не похлопотать, — сказал Авраам Петрович.

Вскоре Василий Иванович стал заметно дремать и Авраам Петрович распрощался и ушел. Василий Иванович залег на боковую. Саша уселся с книгой у окна.

ХІІІ

Первые впечатления

Василий Иванович Суворов пробыл в Петербурге после описанного нами дня около двух недель. Он удостоился лицезреть обожаемую монархиню и был обласкан ее величеством, как все оставшиеся в живых «птенцы гнезда Петрова».

За последние дни Василий Иванович редко виделся со своим сыном, уже надевшим солдатский мундир и совершенно отдавшимся военной службе, предмету его давних мечтаний. Старик Суворов проводил время среди своих старых сослуживцев и знакомых. Им нередко сетовал он на упрямство сына, губящего добровольно себя и свое здоровье под гнетом солдатской лямки.

— Умней нас стали молокососы, не хотят послушать советов стариков, ни услугу принять от них... До всего-де сами дойдем... — говаривал Василий Иванович.

Слушатели одобрительно кивали головой.

— Вот у меня сынишка единственный... В

чем только душа держится, худ, слаб... В солдаты хочу и баста... Вот теперь и солдат... Фельдмаршалом буду...

— Хе, хе, хе, хе... ишь куда метит! — иные добродушно, иные язвительно смеялись в ответ.

— А ты бы драл, дурь-то эту и мечтания вышиб... — советовали некоторые.

— Драл... Я бы и драл, кабы не мать покойница, царство ей небесное... Тиха была, тиха, а тронь сына — тигрица... А теперь поздно...

— Самому надоест... вновь-то оно любопытно, а потом вспомянет твои слова... слезное письмо пришлет, — слышались замечания.

— Вспомянет, может, и вспомянет, только не выскажется и письма не пришлет... Кремень парень...

— А может, и впрямь фельдмаршалом будет?

— Хе, хе, хе, хе!

Отведя подобного рода разговорами душу, Василий Иванович возвращался домой, где заставал сына или за книгою, или спящего, так как солдатская служба того времени тре-

бовала пробуждения до зари.

Наконец Василий Иванович уехал.

— Ты пиши, — сказал он, благословляя и целуя сына.

Глаза старика, хотя и сердитого на своего ребенка, наполнились слезами.

— Слушаюсь, папенька.

— То-то, слушаюсь. Если не вмоготу будет... тяжело... напиши.

— Чего не вмоготу, папенька, служба легкая...

— То-то, «легкая». А ты все-таки пиши...

— Буду, папенька.

Сын действительно исполнил волю отца и писал ему. Вот образчик таких писем:

«Любезный батюшка! Я здоров, служу и учусь!

Александр Суворов».

На более пространную переписку у него не было действительно времени, и это с его стороны не было чудачеством.

Служба и продолжаемые им усиленные занятия науками отнимали все его время, едва оставляя несколько часов на необходимое от-

дохновение. Молодой солдат Александр Суворов служил с необычайным усердием, вникая в дело, и стараясь как можно скорее изучить его. Начальство ставило его в пример другим молодым дворянам, которые, служа в большинстве по принуждению, всячески старались уклоняться от исполнения своих обязанностей и зачастую нанимали за себя других солдат или унтер-офицеров. Василий Иванович знал эту возможность облегчить себе «солдатскую ляжку», а потому, несмотря на свою скупость, высылал сыну сравнительно много денег, в надежде, что тот прибегнет к этому способу облегчения военной службы.

Но Александр Суворов иначе употреблял присылаемые ему отцом деньги.

Не участвовал он ни в кутежах, обычных тогда между солдатами-дворянами, не трапился на лакомства, так как был более чем умерен в пище: простые солдатские щи и каша были его любимейшими блюдами. Но он, например, прибавил к договоренной отцом с Марией Петровной месячной плате за квартиру целый рубль, видя ее бедственное положение. Та была на седьмом небе.

Продолжал Александр Суворов жить на вольной квартире не потому, чтобы ему было неприятно жить в казармах. Далеко нет, общество солдат было для него приятнее всякого другого.

Не оставляя своего «вздорного», как говорил Василий Иванович, намерения достигнуть до фельдмаршальского или же, по крайней мере, генеральского чина, он сближался с солдатами, изучая их характер и нужды.

Жил же он на вольной квартире для того, чтобы успешней заниматься науками. Он посещал классы Сухопутного шляхетского кадетского корпуса в часы преподавания военных наук и нанял себе учителя. Для занятий нужны были книги, а книги были дороги. Вот на что большей частью шли присылаемые Василием Ивановичем деньги. Кроме того, кошелек его был всегда открыт для нужд бедных солдат, за что последние обожали своего молодого товарища.

— Чем только, батюшка, Александр Васильевич, мы можем отблагодарить вас? — часто спрашивали они молодого Суворова. — По службе за вас что справить не дозволяете... И

не придумаем.

И действительно, всей душой отдававший-ся службе Александр Васильевич был исправный солдат. Он сам напрашивался на самые трудные обязанности и охотно ходил в караул за других. Чем хуже погода, чем сильнее стужа, тем охотнее стоял он на часах. Не позволял он ни за что солдатам, желавшим угодить ему, чистить свое оружие или амуницию. Ружье он называл своею женою.

— Если вы действительно хотите отблагодарить меня, — отвечал Суворов солдатам, — так ради моей забавы и науки поучитесь фронту и военным эволюциям под моей командой.

Солдаты соглашались с величайшей охотой, и надо было видеть, как распоряжался тогда Александр Васильевич. По серьезности и важности, с которыми командовал, он походил на настоящего полкового командира.

Так начал с первых же шагов свою службу Суворов. В глазах начальства он заслуженно стал пользоваться репутацией «исправного солдата». Дворянчики-солдаты, с которыми он не хотел водить дружбы, называли его

«выскачкой», искавшим только случая отличиться. В обществе, так как многие из знакомых и приятелей отца тщетно приглашали его к себе в дома, он прослыл «чужаком». Никто, однако, не угадал в нем гениального человека, с редкой твердостью и постоянством шедшего к своей цели и взбиравшегося на лестницу почестей не с беспечностью, а с терпением, изучая каждую ступень, от самой низшей до высшей.

— В фельдмаршалы метит... Хе, хе, хе! Чужак!.. — обыкновенно кончали разговор о нем.

Александр Васильевич, впрочем, прослужив даже несколько лет в военной службе, все остался прежним «дикарем» в обществе. Сослуживцы и приятели отца возвращались к тому же в то время в придворных сферах, которых боялся молодой Суворов, и несмотря на то, что Василий Иванович указывал в письмах к сыну возможность «найти случай», при дворе поддерживая эти знакомства, последний не ловил этого «случая».

Он видел собственными глазами всю тщетность знатности и богатства, непроч-

ность положения, приобретенного связями.

Александр Васильевич присутствовал, чуть ли не в первые дни своей службы в Петербурге, при ссылке графа Левенвольдта. Счастливец этот состоял камергером высочайшего двора при Екатерине I, был первым вельможей своего времени, отличался щегольской одеждою, великолепными празднествами и вел большую картежную игру.

В государственные дела он не вмешивался, но при правительнице Анне Леопольдовне против воли принял участие в важнейших делах. Когда императрица Елизавета вступила на престол, в тот же день Левенвольдт был заключен в крепость и предан суду. Суд этот продолжался несколько лет. Его приговорили к смертной казни, а императрица смягчила наказание, заменив казнь ссылкой в Сибирь, с лишением чинов, орденов и дворянства.

Так рассказывали Александру Васильевичу, а стоя на часах в коридоре Петропавловской крепости, он видел, как один из заключенных, робкий, униженный, с всклокоченными волосами, с седой бородой, бледным лицом, впалыми щеками, в оборванной гряз-

ной одежде, упал в ноги назначенному для сопровождения его в ссылку князю Шаховскому, обнимая его колени и умоляя о пощаде.

Этот заключенный был граф Левенвольдт. Воображению молодого Суворова снова представилось все слышанное им: долговременная служба графа Левенвольдта при дворе, отменная к нему милость монаршая, великолепные палаты, где он, украшенный орденами, блистал одеждой и удивлял всех пышностью.

В Петербурге в то время говорили, что граф возвысился посредством женщин, едва верил в бытие Бога и был неразборчив в средствах к достижению цели. Все это производило впечатление на ум молодого Суворова. Вскоре ему пришлось присутствовать при еще более печальном зрелище.

Одновременно с делом Левенвольдта шло дело о заговоре бывшего австрийского посла при русском дворе маркиза Ботта д'Адорна и Лопухиных против императрицы Елизаветы Петровны в пользу младенца Иоанна. Концом процесса было присуждение Лопухиных: Степана, Наталью и Ивана бить кнутом, выре-

зять языки, сослать в Сибирь и все имущество конфисковать.

Наталья Федоровна Лопухина, дочь генерала Балк-Полева была красавица в полном смысле этого слова. Своей красотой она затмевала всех петербургских женщин, с кем говорила она, на кого посмотрела, тот считал себя уже счастливейшим из смертных. И такая женщина была отдана в руки грубого палача.

Твердой поступью вошла она на роковой помост. Простая одежда придавала еще больший блеск ее прелестям. Один из палачей сорвал с нее небольшую епанчу, покрывавшую грудь. Стыд и отчаяние овладели молодой женщиной. Смертельная бледность покрыла ее прелестное лицо. Слезы хлынули градом из прекрасных глаз. Ее обнажили до пояса, ввиду любопытного, но молчаливого народа.

Казнь происходила на Васильевском острове, у здания Двенадцати коллегий, где теперь университет. Один из палачей нагнулся, между тем другой схватил ее руками, приподнял на спину своего товарища, наклонив ее голову, чтобы не задеть кнутом. Свист кнута

и дикие крики наказуемой разносились среди тишины, наполненной войском и народом, но казавшейся совершенно пустой площади. Никто, казалось, жестом не хотел нарушать отправления этого жестокого правосудия. После кнута Наталье Федоровне вырезали язык.

Палач, вырвав часть языка, двумя пальцами приподнял окровавленный кусок его над народом, громко крикнув:

— Купите, дешево продам!

Гробовое молчание толпы было достойным ответом на плоскую шутку.

Таковы были первые петербургские впечатления молодого Суворова. Понятно, что он еще более ушел в самого себя, в свои книги и в службу.

Эти впечатления не прошли бесследно для Александра Васильевича и в другом отношении. Он переживал время возмужания, время окончательного физического развития, он делался мужчиной, а это именно та пора, когда образ существа другого пола волнует кровь, мутит воображение. Образ истерзанной кнутом и ножом палача красавицы так запечат-

лелся в уме молодого Суворова, что красивые формы женского тела если и рисовались в его воображении, то всегда сопровождались воспоминаниями об этой холодящей мозг картине.

В эти годы зрелости женщины наиболее пагубно влияют на мужчин и часто в их жизни играют роковую роль. Подчас хотя и образованный, но не окрепший в кормиле житейского опыта ум поддается всегда если не ядовитому, то расслабляющему действию женской ласки и незаметно сворачивает с прямой дороги, получая вовсе не желательное для мужчин направление. Недаром в русском языке существует позорный для мужчин глагол «обабиться».

«Обабиться» могут только или незрелые юноши, или нетвердые умом мужчины. Женщины любят улавливать таких в свои хитрые сети, но не для того, чтоб сохранить их, а для того лишь, чтобы выжать из них сок и бросить, как лимон, или же помыкать ими, как тряпкой. Они, эти подчинившиеся женщинам мужчины, не получают даже наслаждения — достойным достойное. Женщины при-

вязываются лишь к тем, кто выше их. Наслаждаться женщиной можно только подчиняя ее.

Случай спас молодого Суворова от подчинения женщине в молодые годы, хотя на богатого и староватого солдата поглядывали некоторые из петербургских прелестниц, во главе с племянницей Марьи Петровны черноглазой Глашей.

XIV

Прелестница

Прошло четыре года.

В служебную жизнь Александра Васильевича Суворова они не внесли никаких перемен. Он продолжал жить на вольной квартире у Марьи Петровны Андреевой, с год как овдовевшей.

Хлопоты генерала-аншефа Авраама Петровича Ганнибала о сокращении срока ссылки для отца Иллариона не увенчались успехом. Генерал добился только одного, что приход сохранился за ним, а его вдове выдали небольшое денежное пособие.

Приписывая это «с неба», как она выражалась, свалившееся ей счастье своему жильцу, Марья Петровна еще более усилила свою к нему услужливость и угодливость. Она всячески старалась усладить его, также по ее мнению, «горькое солдатское житье», припасти для него лакомый кусочек, а главное — доставить покой при его занятиях. Для этого, обыкновенно, дети прогонялись на кухню и за малейший шум строго наказывались. Царствовавшая вследствие этого в доме тишина была особенно по вкусу усердно и серьезно занимавшемуся Александром Васильевичу. На некоторое время, впрочем, тишина эта была нарушена, но Марья Петровна не была в этом случае виновата.

Срок послушания отца Иллариона окончился, и он возвратился в свой приход. Возвратился, увы, не на радость семьи.

Он похудел и поседел так, что его не узнали не только дети, но даже жена. Озлобленный, угрюмый, он начал вдруг пить, и домик, где жил Суворов, этот приют тишины и покоя, вдруг сделался адом. Отец Илларион оказался буйным во хмелю, как и все пьяницы с

горя. Вынесенное им позорное наказание, двухлетняя ссылка, все это изменило его прежний строгий, но справедливый характер и посеяло в его сердце семена страшной злобы на людей и судьбу.

Во хмелю эта злоба выбивалась наружу, и он срывал ее на беззащитных окружающих — детях и жене. Ругань отца Иллариона, плачь Марьи Петровны, крики и рев детей почти с утра до вечера оглашали дом.

Александр Васильевич хотел было бежать, но жалость к матушке-попадье, которая считала его за родного, а главное — за источник их сравнительного благосостояния остановила его. Он пересилил себя и привык к царившему в доме содому, выучившись читать зажав уши.

«Угомонится же он когда-нибудь!» — думал он.

Отец Илларион угомонился ранее года. С ним сделалась так называемая «пьяная горячка». В припадке ее он влез на трубу дома и, вероятно вообразя себя птицей или другим крылатым существом, подняв руки кверху, бросился вниз. Поднятый, весь разбитый, с вы-

вихнутою ногою, он был отправлен в больницу. Все это произошло в отсутствие Александра Васильевича.

Недоглядела за больным и Марья Петровна, занятая на кухне. Станный полет отца Иллариона с дымовой трубы видели лишь прохожие, толпой собравшиеся около дома. От них-то и узнала Марья Петровна о дикой выходке своего мужа.

В больнице отец Илларион пробыл около месяца и отдал Богу душу. В квартире с отправления хозяина в больницу наступила прежняя тишина. Смерть мужа, несмотря на причиненное им за последний год ей горе, брань и даже побои, непритворно огорчила Марью Петровну.

— На кого ты нас, родненький, покинул... Как останусь я одна с малыми ребятками... — причитала она над гробом отца Иллариона.

Его похоронили. Марья Петровна не переставала плакать и жаловаться всем, кто бы с ней ни заговорил, на свою сиротскую долю. Александр Васильевич, тронутый ее бедственным положением, прибавил ей к месячной квартирной плате еще один рубль.

— Благодетель, вечно за тебя Бога молить буду... — бросилась она целовать его руки.

Из духовной консистории ей выдали пособие на погребение мужа. Пособие, по обыкновению, получилось через полгода после похорон отца Иллариона, но все же было некоторым подспорьем в ее сиротской доле. Жизнь в домике покойного священника вошла в свою обычную тихую колею.

Вдруг в один прекрасный день Марья Петровна получила письмо от своей племянницы Глаши. Эта Глаша была девушка лет девятнадцати, круглая сирота, дочь покойной сестры Марьи Петровны. Года четыре тому назад Марья Петровна, к которой девочку привезли из деревни, пристроила ее в услужение к одной старой барыне, жившей в их приходе. Более года Глаша жила у барыни, затем вдруг сбежала, и Марья Петровна потеряла ее из виду.

«Сгинула девка... Недаром я ее видела на днях в переулке с Агафьей...» — решила Марья Петровна.

Агафья была старуха, пользовавшаяся в околотке дурною славой. Такие женщины,

как она, были известны в Петербурге еще со времен Петра Великого и назывались «потворенные бабы» или «что молодые жены с чужими мужи сваживаются». Эти соблазнительницы вели свое занятие с правильностью ремесла и очень искусно внедрялись в дома, прикидываясь торговками, богомолками... В то время разврат юридически помещался в одном разряде с воровством и разбойничеством. Но тогдашнее общество, как и теперь, не вменяло его в особенно тяжкое преступление.

Потужила Марья Петровна, потужила, да и забыла о своей племяннице.

«Может, впрямь и на этой дороге свою счастливую планиду найдет...» — успокоилась она за ее судьбу.

«Счастливой планиды», оказалось, Глаша не нашла.

Письмо было ею написано с прядильного двора в Калинкиной деревне, куда уличенных «прелестниц» отсылали в работы на сроки. Глаша писала к тетке, что срок, на который она была выслана, кончался, и просила взять ее к себе, обещая клятвенно исправить-

ся, помогать ей по хозяйству и пойти на место. Письмо писано было, видимо, каким-то грамотеем, четким мужицким почерком.

Александр Васильевич Суворов, по просьбе Марьи Петровны, прочел его. Та всплеснула руками:

— Ахти, Господи, куда ее, шлюху, унесло! Да сгинь она, проклятая, на что мне она, не умела жить по-честному, так и пропадай пропадом!..

— Зачем так говорить, Марья Петровна, — остановил ее Александр Васильевич. — Если девушка заблудилась и хочет исправиться, так ей помочь надо, а не отталкивать ее. Это грех, большой грех. Сами, чай, знаете, что Иисус Христос сказал, что он пришел пасти не праведных, а грешных. Помните, как он милостиво отнесся к блуднице. Иди в дом свой и не греши, — сказал он ей.

— Уж вы начетчик у нас, добрая душа, — заявила Марья Петровна. — Да куда же я с ней денусь? При моем сиротстве... Все ведь лишний рот.

— Господь Бог вас вознаградит за доброе дело... Она себе работу найдет... На место по-

ступит... Я... что могу... помогу... — смущенно произнес Суворов последнюю фразу.

— Благодетель!.. — могла только воскликнуть Марья Петровна.

— Так поезжайте за ней и привезите... Помните, Христос велел нам прощать.

— Что поделаешь, поеду, поеду...

Через несколько дней Марья Петровна собралась и поехала за племянницей. К вечеру они вернулись вместе.

— Только и поехала за тобой, за негодной, вот для них, нашего благодетеля, кланяйся и благодари, непутевая... — привела она на показ привезенную к Александру Васильевичу, спросив, по обыкновению, осторожно через дверь позволения войти.

— Очень вам благодарна... — потупив глаза, произнесла Глафира Ефимовна — так звали по отцу проштрафившуюся прелестницу.

Затем она лишь на мгновенье подняла глаза на Александра Васильевича и окинула его таким взглядом, что тому жутко стало.

Глаша была, что называется, король-девка, высокая, статная, красивая, с лицом несколько бледным и истомленным и с боль-

шими темно-синими глазами. Русая коса толстым жгутом падала на спину. В своем убогом наряде она казалась франтовато одетой, во всех движениях ее была прирожденная кошачья грация и нега.

— Что я... Я ничего... — смущенно проговорил Суворов. — Пусть живет себе... Пусть... с Богом.

Тетка и племянница вышли. Александр Васильевич обратился снова к своим книгам, но, увы, ему что-то не читалось. Ласкающий взгляд темно-синих глаз то и дело мелькал перед ним. Он вскочил, надел шинель и ушел в казармы.

Тетка с племянницей тем временем сели закусывать. Подкрепившись, последняя начала рассказывать Марье Петровне свои похождения после бегства от старой барыни, у которой жила в услужении. Марья Петровна, несмотря на строгость правил, была, как все женщины, любопытна и, кроме того, как все женщины, не греша сама, любила послушать чужие грехи. Она с жадностью глотала рассказ Глаши.

— Сбежав от старой барыни, я, по науще-

нию Агафьи, — рассказывала та, — пришла к ней. «Ты пришла очень кстати, — сказала старая карга, — только перед тобой вышел от меня богатый господин, который живет без жены и ищет молодую девушку, чтобы она для благ, пристойности служила у него под видом разливательницы чая. Нам надобно сделать так, чтобы ты завтра под вечер пошла к этому господину... У меня есть прекрасная кашемировая шинелька, точно на тебя шита... Я ее надену на тебя и дам шляпу, а кудри свои ты уж сама распустишь и прифрантишься как надо».

Глаша приостановилась.

— Ишь, подлая, умеет вести дело... Что же дальше?

— Дальше все сделалось как по писаному... Я понравилась господину, и мы условились, чтобы я в следующее утро пришла к нему с какой-нибудь будто матерью, под видом бедной девушки, которая бы и отдала меня к нему в услужение за самую ничтожную цену. Вы знаете, тетенька, плаксу Феклу?

— Это та, что у нас стоит за службой на паперти?

— Она самая.

— Ну, и что же?

— Я наняла ее за рубль в матери, и она жалкими рассказами о моей бедности проследила всех слуг. При первом изготовленном самоваре господин за искусство определил мне в месяц по пятьдесят рублей.

— Ишь денег уйму какую! — удивилась Марья Петровна.

— Две недели, — продолжала Глаша, — все шло хорошо, но в одну ночь жена моего господина возвратилась из деревни и захотела нечаянно обрадовать его, подкралась на цыпочках и вошла в спальню.

— Ахти... вот штука! — воскликнула попадья.

— Кончилось тем, что меня выгнали. Долго бы прошаталась я, если бы опять Агафья не пристроила меня к месту. Старый и страдающий бессонницей больной аптекарь искал смазливую и честного поведения девушку, которая большую часть ночи не спала и переменила бы свечи. За самую небольшую цену поступила я к нему исправлять трудную должность полуношницы. Вскоре аптекарь сделал-

ся мне противен, и мне казалось, что не только он сам, но и деньги его пахли лекарством. У аптекаря я познакомилась с молодым продавцом аптекарских товаров, у которого жена была и дурна, и стара. Мы условились, чтобы я отпросилась у аптекаря, будто я должна ехать в Москву, а пришла и нанялась к нему в няни. Я успешно обманула аптекаря и еще удачнее жену моего нового любовника. Я делала башмаки на тонких подошвах, вымыла волосы квасом, выучилась говорить поточнее прежнего и ежеминутно потуплять глаза в землю... Фекла-плакса опять была моею матерью и до слез разжалобила жену моего любовника. Молодой купец заметно сделался нежнее прежнего к детям и ежеминутно стал приходить к ним и даже ночью уходил от жены, чтобы посмотреть на них... Вскоре эти родительские осмотры подсмотрела сама жена, и я... лишилась и этого места...

— Ну, дела... — разводила руками Марья Петровна.

— Я опять бросилась к Агафье, но места подходящего долго не выходило, и я пошла искать приключений на улице, где меня и

сцапала полиция и отправила на прядильный двор.

Так закончила свой рассказ Глаша.

XV

Петергоф

Появление Глаши в доме Марьи Петровны совпало с концом апреля, а в начале мая полки, стоявшие в Петербурге, выступили в лагеря. Семеновский полк, где служил Александр Васильевич, расположился лагерем близ Петергофа, летней резиденции императрицы Елизаветы.

Великая дочь любила это создание великого отца.

Петергоф, или, как тогда называли, Петров двор, был основан Петром Великим в 1711 году, но еще в XII веке все побережье Финского залива, где теперь лежит Ораниенбаум, Петергоф и Стрельня, было заселено новгородцами Вотской пятины. Последняя, по распределению новгородских владений, входила в состав Дудергофского погоста.

Уже в 1237 году новгородцы вблизи этой

местности создали город Копорье (теперь село). По преданию, великий князь Александр Невский из Копорья выходил к шведам в Емь в сопровождении митрополита Кирилла.

Вся местность, где теперь лежит Петергоф, при владычестве новгородцев принадлежала известному посаднику Захарию Овинову. Позднее, с упадком Великого Новгорода, в 1478 году, весь этот край был завоеван московским царем и присоединен к Орешковскому уезду. В эти годы весь теперешний уезд Петергофский отошел во владение к московскому воеводе Афоне Бестужеву.

Как уверяет предание, Петергоф обязан своим основанием супруге Петра, Екатерине I. Император, озабоченный частым посещением кронштадтских укреплений, предназначенных оберегать новую столицу от вторжения неприятеля, принужден был часто посещать создаваемую им крепость. Государь постоянно ездил туда морем.

Так как такие поездки, особенно осенью, в бурную погоду, представляли немало опасности, то государыня и склонила царя недалеко от Кронштадта построить дворец или заез-

жий дом, от места, где бы переезд морем был недалек и удобен.

Послушавшись совета супруги, Петр в 1709 году устроил себе небольшую гавань для пристанища судов и невдалеке от нее, где теперь Купеческая гавань, построил две светлицы или заезжий дом. По преданию, по другую сторону светлиц была поставлена царем деревянная церковь Благовещения. Теперь на месте светлиц находятся казармы конно-гренадерского полка, и место, где находилась церковь, обозначено каменной тумбой с крестом на верхней плите.

По другим преданиям, где теперь расположен Петергоф, стояли две чухонские деревушки: Похиоки и Кусоя; Петр избрал между этими деревушками возвышенную местность и построил палатку или небольшой «попутный дворец». Царь его выстроил в голландском вкусе и назвал «Монплезиром»; близ него помещалась столовая, буфет, кавалерские комнаты, баня и ванная царя. В одном из примыкающих к нему флигелей он велел поставить походную церковь.

В 1711 году Петр приказал архитектору

Леблонду строить загородный дворец по плану существовавшего в Версале. Вся местность, очень возвышенная над морем, сходящая к нему уступами, представляла много удобств к устройству фонтанов, и Петр, по совету Миниха, провел сюда большой водопровод, который предназначался для Стрельни.

Так как дворец государь строил для себя, то и назвал его «Петергофом», от этого дворца получил название и нынешний город.

При Петре Великом Монплезир был небольшой хорошенький домик, внутри которого было развешено множество отборных голландских картин.

Главный корпус большого дворца состоял из двух этажей, в нижнем помещалась прислуга, а в верхнем — царская фамилия. Внизу большие прекрасные сени с изящными колоннами, а вверху великолепная зала. Остальные комнаты вообще были малы, но очень уютны, увешаны хорошими картинами и уставлены прекрасной мебелью.

Из картин выдавалась писанная Караваком в 1718 году. На ней изображен царь, сделанный очень похоже, со своими приближен-

ными. Среди последних можно узнать Меншикова и многих других.

Особенно замечателен был кабинет, где находилась библиотека царя, отделан французским скульптором Николаем Пино, выпитанным по рекомендации архитектора Леблонда и отличался своими превосходными резными украшениями[6].

Из числа многих картин во дворце помещена одна очень большая, изображающая сражение, в котором русские разбивают и обращают в бегство шведов.

За дворцом красиво распланированный сад, а за ним обширный зверинец.

С лицевой стороны дворца в нижний сад спускается тремя уступами великолепный каскад, который так же широк, как и весь дворец, выложен диким камнем и украшен свинцовыми и позолоченными рельефными фигурами на зеленом поле. Нижний сад, через который прямо против главного корпуса и каскада проходит широкий и весь выложенный камнем канал, поражал прелестными цветниками. Этим каналом можно было подходить на судах до самого каскада.

Нижний сад был центром многих красивых аллей, проведенных через окружающую его рощу. Две самые большие из них, с обеих сторон сада, ведут через рощу к двум увеселительным дворцам, находящимся у самой Невы, в одинаковом расстоянии от Петергофа.

Таков был, по свидетельству Берхольца, Петергоф при Петре Великом.

Берхольц очень мало говорит о главном украшении Петергофа — фонтанах. Это объясняется тем, что многие проектированные царем фонтаны, постройки и разные украшения в Петергофе были исполнены уже после его смерти, так, например, краса Петергофа — фонтан Самсон был поставлен в 1725 году императрицей Екатериной I в память победы Петра над шведами.

Существует предание, что полтавскую победу императрица хотела увековечить в форме символических фигур: Самсон представляет Россию, лев — государственный герб шведского королевства.

Первоначально группа этого фонтана была отлита из свинца и только в царствование

Павла I заменена бронзовой. Струя воды, выбрасываемая из львиной пасти, поднималась на высоту десяти сажен. Теперь фонтан бьет ниже — императрица Елизавета Петровна приказала его понизить: брызги, поднимаемые фонтаном при морском ветре, покрывали весь дворец, это государыне не нравилось. Елизавета также приказала к фонтанам приделать железные круги.

При Петре Великом в Петергофе существовал «забавный дворец». В большом гроте последнего висело несколько стеклянных колоколов, подобранных по тону, или, как говорилось тогда, «колокольня, которая ходит водою»; в колокола шли пробочные молоточки, которые приводились в движение посредством механизма, на который падала вода. Звуки, издаваемые колоколами, были очень приятны, аккорды неслись тихие, на разные мотивы. Эта колокольня называлась «ноты» и существовала еще во времена Анны Иоанновны.

Из петровских построек до сих пор уцелели во всей их неприкосновенности домик «Марли», или «Mon bijoux», как называли его

в то время. Домик этот построен по плану существующего в окрестностях Берлина. В Марли теперь хранятся вещи, принадлежавшие Петру, здесь его халат, подаренный персидским шахом, кровать с занавесками и одеялом, стол его работы с грифельной доской, бюро, небольшой ящик, где сохраняются собранные им часы, кружки с девятью вкладным стаканами, присланные царю китайским богдыханом.

Перед домиком большой четырехугольный пруд с язями, голавлями, сазанами и судаками, выписанными царем из Пруссии. Рыбы здесь приходят на корм по зову в колокольчик.

Близ Марли два развесистых громадных дуба, посаженные царем. Под тенью их он любовался плесканьем заморских рыб. Вправо от Марли существует каскад «Золотая гора». Фонтан этот устроен царицей Анной.

Сама же постройка Марли возобновлена императрицей Елизаветой Петровной. При ней же была сделана в Монплезир проходная каменная галерея, а в описываемое время окончена графом Растрелли постройка ка-

менной кухни, где императрица сама занималась приготовлением кушаний для своего стола, изобретая часто совершенно новые.

В правом деревянном флигеле при Петре была русская баня. Императрица Елизавета в 1743 году сделала здесь комнату с душами для обливания.

В саду Монплезира многие дубы и кедры посажены императором Петром Великим.

Вблизи Монплезира группируется много каскадов и фонтанов: так, при выходе из него виднеется «Шахматная гора». Она носит также название «Малого грота» и «Драконо-вой горы». Перед ней два «Римских фонтана». «Шахматная гора» устроена в 1739 году императрицей Анной Иоанновной и при ней носила название «Руинного каскада»; ею же и в том же году устроены и «Римские фонтаны». Последние построены из цветных мраморов, по рисунку существующих в Риме на площади святого Петра.

Невдалеке от этих величественных каскадов и фонтанов находятся через аллею фонтаны «Дубок», «Елка» и «Грибок». Вблизи «Дубка» стоит скамейка с потайными фонтанами,

называемая «Шутихой». Как только посетитель на нее садится, его моментально со всех сторон обдает мелкий дождь.

Из фонтанов, построенных при Петре I, замечателен «Пирамидный» — вода в нем бьет из 525 трубок, фонтан «Нептун» — в то время фигура была отлита из свинца сидящею в раковине и лишь при императоре Павле заменена бронзовой, стоящей на пьедестале; «Дубовый», или «Средний Клош», и два квадратных пруда с дельфинами. В главной аллее сада два — «Евин» и «Адамов» — оба из белого каррарского мрамора и оба выписаны царем из Италии.

Императрица Анна Иоанновна не переставала в свое царствование украшать и отстраивать Петергоф. При ней, как мы уже сказали, было устроено множество фонтанов. Кроме того, императрица возобновила многие здания, построенные при Петре Великом.

В числе последних она, по именному указу 28 июня 1737 года, повелела:

«Для шлифования и полирования при академии наук всяких найденных в здешнем государстве ясписовых и про-

чих камней, построить мельницу, на месте сгоревшей в Петергофе».

Постройка была произведена по плану известного архитектора Петра I — Блуметраста и по чертежам Брунера. На фабрике занимались гранением твердых камней и благородных драгоценных. Мастером был выписан из Базеля — Брюкнер. Есть данные предполагать, что в первое время в Петергофе гранили даже алмазы, что впоследствии уже не делали. В царствование Елизаветы Петровны на фабрике стали делать накладную флорентийскую мозаику.

Век пышных празднеств и торжеств наступил для Петергофа с воцарением этой монархини. Для великолепного и многочисленного двора Елизаветы скромные домики Старого Петергофа казались ничтожными.

В первые же годы ее царствования по бокам прежнего петровского жилища поднялись длинные флигеля и сверх второго этажа главного дворца возник третий этаж. Эта постройка производилась в описываемое нами время. Императрица Елизавета жила в Монплезире. По задуманному ею плану и по сове-

щанию с известным архитектором того времени графом Растрелли, постройка дома должна была заключаться в следующем. К большому дворцу пристраивались два боковых каменных флигеля, а сам дворец увеличивался на один этаж. Длина дворца, таким образом, должна быть сто тридцать четыре сажени, а ширина восемь. По обе стороны двора строились галереи, правая — к церковному строению, а левая — к отдельному дворцовому строению, которое предполагалось назвать «корпус под гербом». Это строение должно было быть трехэтажное и иметь крышу в виде четырехстороннего купола из белого железа с золотыми украшениями. На вершине купола предполагалось поставить трехсторонний императорский двуглавый орел. Весь этот план и был, как мы видим теперь, выполнен. Императрица Елизавета Петровна любила Петергоф и постоянно жила в нем. Она находила, что его влажный, наполненный водяными испарениями воздух полезен для здоровья. Простая и доступная вообще, императрица в Петергофе жила жизнью совершенно простой помещицы. Она отдыхала

в нем от придворного этикета, которого терпеть не могла.

Несмотря на упорное нежелание молодого Суворова приблизиться к придворным сферам, ему пришлось вскоре стать лицом к лицу не только с ними, но и лично с самой государыней. Это было неизбежно при несении караульной службы в Петергофе. Обстоятельство это, вопреки какому-то паническому страху молодого солдата, имело далеко не неблагоприятное влияние на дальнейшую служебную карьеру. Он сделался лично известен государыне, и его ревностная служба не могла быть умышленно, как это случалось и тогда, незамеченной его ближайшим начальством.

Но прежде нежели рассказать читателю об этом чрезвычайно важном моменте в жизни нашего героя, мы не можем не охарактеризовать подробно высокую личность царствовавшей тогда императрицы Елизаветы Петровны.

Она была, несомненно, тем идеалом «матушки-царицы», какой представляет себе русский народ. До своего вступления на престол

она жила среди этого народа, радовалась его радостями и печалилась его горестями. После мрачных лет владычества «немца», как прозвал народ время управления Анны Иоанновны, и краткого правления Анны Леопольдовны императрица Елизавета Петровна, как сказал генерал Ганнибал, в лучах славы великого Петра появилась на русском престоле, достигнув его по ступеням народной любви.

XVI

Императрица Елизавета

Императрица Елизавета Петровна была редкой красоты; портрет ее в галерее Гатчинского дворца, писанный с нее, когда она была еще цесаревной, свидетельствует, как привлекательна была она во время своей молодости. Она была сама грация и приводила всех знавших ее в восхищение. Веселый, беззаботный характер и сердечная доброта отражались на нежных чертах миловидного лица белокурой цесаревны.

Елизавета была сирота в полном смысле этого слова; ни отца, ни матери, ни доброго

руководителя не было у этой доброй девушки, готовой на всякие жертвования.

Будучи цесаревной, она долго жила в слободе Покровской, теперь вошедшей в состав города Москвы. Там она проводила время за-просто со слободскими девушками, в летние вечера водила с ними на лугу хороводы, метала из окна дворца пригоршнями деньги и любовалась, как их поднимали нарасхват, пела песни и даже сочиняла их.

Предание приписывает Елизавете следующую народную песню:

*В селе, селе Покровском
Серед улицы Большой
Расплясались, расскакались
Красны девки меж собой.*

Цесаревна сама была прекрасная, голосистая певица; запевалой у ней была известная в то время в слободе певица Марфа Чеглиха [7].

Затем цесаревна угощала певиц разными лакомствами и сладостями; пряниками-жмычками, цареградскими стручками, калеными орехами, маковой избойной и другими вкусными заедками.

Иногда цесаревна тут с ними на посиделках, когда они работали, занималась рукоделием, пряла шелк, ткала холст, зимой же об Святках собирались к ней ряженные слободские парни и девки, и тут разливался чисто русский простодушный разгул: начинались пляски, присядки, веселье и удалые песни, гаданья с подблюдным припевом. Под влиянием бархатного пивца, да сладкого медку, да праздничной бражки весело плясалось на этих праздниках; сама цесаревна до них была во всю жизнь большая охотница.

На Масленице собирала она у своего дворца слободских девушек и парней кататься в салазках, связанных ремнями, с горы, названной по дворцу цесаревнину — Царевниной, с которыми и каталась сама первая. Той же широкой Масленицей вдруг вихрем мчится по улицам ликующей слободы удалая тройка. Левая пристяжная кольцом, правая ел дух переводит, а коренная на всех рысях с пеной у рта. Это тешится любезная матушка-хозяйка слободы, цесаревна Елизавета, покривая удалому гвардейцу-вознице русскую охотничью присказку:

— Машу не кнутом, а голицей.

Любимою потехой цесаревны, по примеру древних московских царей и великих князей, была охота. Ей она посвящала большую часть своего времени в слободе, будучи в душе страстной охотницей до псовой охоты за зайцами. Статная красавица, она выезжала в мужском платье и на соколиную охоту.

Для этой забавы на окраине слободы находился охотный двор, где цесаревна тешилась искусством соколов в вышитых золотом, серебром и шелками бархатных клубучках, с бубенчиками на шейках, мигом слетавших с кляпышей, прикрепленных к пальцам ловчих, сокольничьих, подсокольничьих и кречетников, живших на том дворе, где и содержались притравленные сокола, нарядные сибирские кречеты и ученые сибирские ястребы, так что этот охотничий двор был скорее сокольничий.

Часто полевала около своего дворца цесаревна. Среди окружавшего ее мужского гулявого люда выделялись красавец Алексей Яковлевич Шубин, молодой прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка, и весельчак Ле-

сток, но не было никого из знатных людей. Такое сближение с простолюдинами обратило подозрительное внимание двора Анны Иоанновны.

Елизавету Петровну потребовали в Петербург, где она и поместилась в доме, называемом «Смольным», находившемся в конце Воскресенской улицы. Существует предание, что нередко, прячась за садовым тыном, в одежде простого немецкого ремесленника, сам Бирон следил за царевной.

По приезду в Петербург цесаревна тотчас приобрела большую популярность в среде гвардейских солдат, вступила с ними в такие сношения, в каких находилась прежде со слобожанами Покровской слободы: крестила у них детей, бывала на их свадьбах; солдат именинник приходил к ней, по старому обычаю, с именинным пирогом и получал от нее подарки и чарку анисовки, которую, как хозяйка, Елизавета и сама выпивала за здоровье именинника. Гвардейские солдаты полюбили добрую и доступную цесаревну и стали называть ее матушкой и говорили меж собой, что ей, дочери Петра Великого, не сиротой пла-

каться, а на престоле сидеть.

Эта мысль появилась в головах не одних благодарных солдат. При дворе принцессы вел направляющую к этой цели интригу ее домашний врач Лесток.

Граф Герман Лесток, по происхождению француз, приехал в Россию в 1713 году и определен домашним доктором Екатерины, а в 1718 году сослан Петром в Казань, как уверяет Штелин в своих анекдотах. Со вступлением на престол Екатерины I Лесток был возвращен из ссылки и определен врачом к цесаревне Елизавете. Он умел ей понравиться своим веселым характером и французской любезностью. Вскоре он ей представил план овладеть престолом.

В начале Елизавета не решалась отважиться на такой шаг, но позднее, спустя одиннадцать лет, во время младенчества императора Иоанна Антоновича, она согласилась на его план. По его совету царевна обратилась к содействию французского посланника маркиза де ла Шетарди, который и передал Лестоку до 130 000 дукатов для этого дела.

Все переговоры были ведены очень хитро:

если и нужно было переписываться, то заговорщики клали записочки в табакерки и таким образом вели корреспонденцию. Но как ни были ловки заговорщики, тайна их была открыта.

Елизавета имела горячий разговор с регентшей и, возвратясь домой, объятая страхом, умоляла Лестока бросить все затеи[8]. Тот отвечал, что все готово, что победа обеспечена и отступление теперь было бы позорной трусостью, недостойной дочери великого Петра.

Тогда Елизавета решилась и в ночь на 25 ноября 1741 года взошла на престол своего отца.

Вступление на престол Елизаветы ознаменовалось многими милостями. Государыня возвратила из ссылки многих сосланных в прошедшее царствование и наградила чинами, орденами и именьями близких себе людей. Многим полкам была дана денежная награда. Солдаты Преображенского полка получили 12 000 рублей. Семеновский и Измайловский полки по 9000 рублей. Конный — 6000 рублей. Ингерманский и Астраханский

по 3000 рублей.

Гренадерская рота Преображенского полка получила название «лейб-кампании», капитаном которой была сама императрица, капитан-поручик в этой роте равнялся полному генералу, поручик — генерал-лейтенантам, подпоручик — генерал-майорам, прапорщик — полковнику, сержант — подполковникам, капрал — капитанам, унтер-офицеры, капралы и рядовые были пожалованы в потомственные дворяне; в гербы их внесена надпись «за ревность и верность», все они получили деревни и некоторые с очень значительным числом душ.

Над слугами павшего правительства начались следствие и суд.

В Петербурге императрица Елизавета Петровна жила в своем дворце на Царицыном лугу, но больше в другом у Зеленого моста (теперь Полицейский). Она имела обыкновение спать в разных местах, так что заранее нельзя было знать, где она ляжет. Это приписывали тому, что она превращала ночь в день и день в ночь.

В 11 часов вечера она отправлялась только в театр, и кто из придворных не являлся за нею туда, с того брали 50 рублей штрафа.

По рассказам современников, государыня кушала немало, и каждое блюдо запивала глотком сладкого вина. Она в особенности любила токайское вино.

В среду и пятницу у государыни вечером стол был после полуночи, потому что она строго соблюдала постные дни, а покушать любила хорошо, и чтобы избавиться постного масла, от которого ее тошнило, она дожидалась первого часа непостного дня, когда ужин был сервирован уже скромный.

У государыни был превосходный фарфоровый сервиз, все блюда которого были с крышками, сделаны в форме кабаньей головы, кочана капусты, окорока и тому подобное.

В числе особенных странностей государыни была та, что она терпеть не могла яблок, и мало того, что сама их не ела никогда, но до того не любила яблочного запаха, что узнавала по чутью, кто ел недавно, и сердилась на тех, от кого пахло ими. От яблок ей делалось дурно, и приближенные остерегались даже

накануне того дня, когда им следовало являться ко двору, дотрагиваться до яблок.

Спать государыня ложилась в пять часов утра и часть дня посвящала сну. Засыпая, Елизавета любила слушать рассказы старух торговок, которых для нее нарочно брали с площадей. Под рассказы и сказки их кто-нибудь чесал Елизавете пятки, и она засыпала.

Когда императрица спала, то в это время по соседнему Полицейскому мосту запрещалось ездить экипажам, чтобы стук езды не будил императрицы; иногда не пускали и пешеходов.

Императрица была очень суеверна и боялась покойников: она не входила в тот дом, где лежал покойник.

Первую роль при дворе императрицы играли женщины: Мавра Егоровна Шувалова, Анна Карловна Воронцова, Наталья Михайловна Измайлова и еще какая-то Елизавета Ивановна, которую, по словам Порошина, граф А. С. Салтыков назвал: «le vinislrre des affaires etrangeres de ce temps la»[9].

От женщин не отставали и мужчины, которые и образовали партии, целью которых

было ниспровергнуть друг друга. Вражда их очень забавляла императрицу Елизавету Петровну, и часто нарочно сочиненными сплетнями и пущенными в ход самую императрицею она подвигала противников чуть ли не на рукопашное побоище.

К замечательным постройкам елизаветинского времени должно отнести дома: графов Строгановых на Невском, Воронцова на Садовой улице (теперь Пажеский корпус), Орлова и Разумовского (теперь воспитательный дом), Смольный монастырь и Аничковский дворец. Все эти постройки тогда производились знаменитым итальянским зодчим графом Растрелли, выписанным из заграницы еще императором Петром I.

Одним из красивейших домов елизаветинского времени был дом знаменитого «представителя музыки», первого русского мецената Ивана Ивановича Шувалова; стоял он на углу Невского и Большой Садовой. Дом был построен в два этажа, по плану архитектора Кокрякова.

При императрице Елизавете кто хотел ей угодить, тот выезжал возможно пышнее. В

царствование Анны Иоанновны в целом Петербурге не было ста карет, при Елизавете число их удесятилось.

При Елизавете должностные лица обязывались подпискою бывать на театральных представлениях. Когда на французской комедии являлось мало зрителей, посылали к отсутствующим грозный запрос, подкрепляемый угрозой штрафа в 50 рублей.

Маскарады при ней давались два раза в неделю; один из маскарадов был для придворных и знатных особ, для военных не ниже полковника; иногда же на эти маскарады позволялось приезжать всем дворянам и даже почетному купечеству. Число находившихся на этих маскарадах не превышало 200 человек. На маскарадах же для всех число доходило до 800 человек.

Такова была императрица Елизавета Петровна, в царствование которой начал свою служебную карьеру наш герой, Александр Васильевич Суворов. Начало этой карьеры озарила лучами своей милости императрица.

XVII

Царский подарок

Был жаркий июльский день 1749 года. Яркое солнце с безоблачного неба жадно охватывало землю своими жгучими лучами. В Петергофе невыносимая жара умерялась испарениями окружающей влаги.

Александр Васильевич Суворов стоял на часах в Монплезире. С того времени, как мы видели его в последний раз разбиравшим книги на петербургском новоселье, он вырос и возмужал. Ему шел двадцатый год. Хотя он был небольшого роста и невзрачной наружности, но военная выправка и мундир придавали ему молодцеватый вид, а проницательный взгляд умных, почти красивых глаз оживлял лицо, делая его привлекательным. Самое это лицо потеряло ребяческое выражение, из наивно-вдумчивого оно сделалось сосредоточенно-задумчивым. Видно было, что мальчик сделался мужчиной, что вечно юная старая библейская история о Еве, вручающей яблоко, повторилась и с Александром Васи-

льевичем. Свежий цвет лица говорил, что он не сильно поддавался этим искушениям, которые были на каждом шагу рассыпаны в Петербурге и его окрестностях для гвардейцев.

Александр Васильевич стоял с неподвижностью столпа. Его глаза были устремлены на открытое море. Чудный вид открывался из Монплезира, но молодой Суворов не был художником, картины природы не производили на него особенного впечатления — он относился к ним со спокойным безразличием делового человека.

Если его глаза и были устремлены на море, то только потому, что это море было перед ним. Мысли его были в Петербурге и, как это ни странно, вертелись около женщины.

Этой женщиной была загадочная Глаша. Уже более трех месяцев жила она у Марии Петровны, с месяц до вступления в лагерь жил с ней под одной кровлей Александр Васильевич. С памятного, вероятно, читателям взгляда, которым она окинула молодого Суворова и от которого его бросило в жар и холод и принудило убежать в казармы, их дальнейшие встречи в сенях, встречи со стороны Гла-

ши, видимо, умышленные, сопровождалась с ее стороны прозрачным заигрыванием с жильцом ее тетки.

Первое время Александр Васильевич сторонился от этих заигрываний, затем как-то свыкся с ними, и, наконец, они сделались для него необходимыми. Не встретившись с Глашей в течение дня, он ощущал какое-то странное беспокойство. Глаша ждала дальше.

Однажды она осторожно постучалась к нему в комнату.

— Можно пойти?

— Войдите.

— Я, Александр Васильевич, к вам, — отворила дверь и остановилась у порога Глаша.

— Ко мне? Что надобно?

— Книжечки, какой ни на есть почитать...
Смерть скучно...

— Книжечки... Какой же книжечки? У меня все военные.

— Военные, — повторила Глаша. — А в них про любовь есть?

— Нет, про любовь нет. Впрочем, есть где и про любовь.

Александр Васильевич достал с полки два

томика в кожаных переплетах, как-то случайно попавшие к нему из деревенской библиотеки. Это были две разрозненные части какого-то переводного романа, заглавные листы которого даже были оторваны.

— Это интересно?

— Не знаю, не читал...

— Это про любовь-то... не читали, — удивилась Глаша.

— Это меня не интересует.

— Любовь?

— Любовь — это баловство.

— Баловство, — протянула Глаша. — А я прочитаю.

— Читайте, читайте.

— Может, что не пойму, так вас спрошу.

— Коли смогу — объясню.

Глаша ушла и унесла книги. Приход ее — Александр Васильевич это помнил — опять смутил его покой. Долгих усилий стоило ему, чтобы снова приняться за прерванные занятия.

«Любовь, что такое любовь, — неслось у него в голове. — Баловство ли это?.. Вот то, что я чувствую к этой Глаше, падшей, опозо-

ренной, не любовь ли это?»

Молодой Суворов гнал от себя эту мысль, а она все настойчивее и настойчивее лезла в голову.

Чтение данных книг представляло для Глаши удобный случай нет-нет, да и завернуть к молодому жильцу. Эти посещения довершили начатое.

Близость к этой статной, красивой девушке все более и более стала волновать кровь молодого солдата. Она продолжала так ласково-вызывающе смотреть на него.

Раз Александр Васильевич не выдержал и обнял ее. Она вдруг побледнела, слезы брызнули из ее глаз... Освободившись от его объятий, она убежала. Молодой Суворов остался в полном недоумении. Растерянно глядел он на оставленные Глашей на столе книги.

Она не вернулась за ними ни в этот день, ни на другой, ни на третий. Он никогда даже не мог встретить ее — она, видимо, стала избегать его. От Марьи Петровны он узнал еще более странные вещи.

— Задурила что-то Глаша моя, да и на по-
ди, — начала она без всякого с его стороны во-

проса.

— А что с ней? — с тревогой спросил Александр Васильевич.

— Да что, шьет весь день-деньской не подымая головы, утром в церковь, а ночью реветь....

— С чего бы это?

— Ума не приложу... Спрашивала, молчит как рыба.

— Странно...

— Может, совесть проснулась... О прошлом убивается...

— Может быть, — задумчиво согласился Суворов.

— Да чего убиваться? Ведь не вернешь. Снявши голову, по волосам не плачут... — махнула рукой Марья Петровна и ушла на кухню.

Разговор происходил в сенях. Недоумение Суворова еще более усилилось. Это было в мае, вскоре он выступил в лагерь.

Из лагерей урываться в город было довольно трудно. Занятий по службе было больше, а для Суворова даже в юные годы голос сердца умолкал перед обязанностями службы. Все же

раза три он побывал на своей зимней квартире. Глаша все разы от него пряталась, а от Марьи Петровны на вопрос: «Что Глаша?» — он слышал лишь: «Дурит по-прежнему».

С этим он возвращался в лагерь.

Девушка, которая, видимо, интересовалась им, заигрывала с ним, почти навязывалась ему, вдруг так странно изменившая свое поведение, представлялась на самом деле загадочною, но что всего ужаснее — Суворов чувствовал это — становилась для него привлекательнее, необходимее.

Обо всем этом и думал Александр Васильевич, стоя на часах в Монплезире. Он решил в своем уме, что при первом отпуске в город увидится с Глашей и добьется у нее объяснения ее странного поведения. Увидится и добьется, во что бы то ни стало.

На этом решении его застал услышанный им шелест женского платья.

Несмотря на большое искушение оглянуться, обязанности службы превозмогли, и он не шелохнулся.

Из большой аллеи вышла императрица Елизавета Петровна. Сделав несколько шагов,

она подошла к морскому берегу. Александр Васильевич сделал ей установленную честь. Полюбовавшись на открывающийся морской вид, императрица медленно пошла обратно. Суворов вторично отдал ей честь. Молодцеватый вид и отличная военная выправка тщедушного солдатики обратили внимание государыни.

— Твое имя? — спросила она.

— Александр Суворов, ваше императорское величество, — отчетливо отвечал молодой солдат.

— Ты не сын ли генерала Василия Ивановича Суворова?

— Точно так-с, ваше императорское величество.

— Радуюсь за тебя, быть сыном такого отца — большая честь... Следуй его примеру и служи мне верно и честно...

— Рад стараться, ваше императорское величество!

— За старанье вот тебе от меня рубль серебром, — подала Суворову императрица монету.

— Виноват-с, всемилостивейшая государы-

ня, не могу принять...

— Отчего? — удивилась императрица Елизавета Петровна.

— Закон запрещает солдату, стоящему на часах, принимать деньги.

— А-а-а, — улыбнулась императрица. — Однако ты молодец и знаешь свою службу.

Она потрепала Александра Васильевича по щеке и дала поцеловать ему руку.

— Я положу рубль на землю, когда сменяешься — возьмешь, — сказала государыня. — Прощай.

Суворов снова отдал честь.

Императрица удалилась.

Вскоре наступила смена.

Александр Васильевич поднял подаренный ему государыней рубль, поцеловал и решил хранить, как святыню, как драгоценный знак милостивого внимания императрицы.

На другой день рядового Суворова потребовали к генерал-майору лейб-гвардии Семёновского полка майору Шубину.

Интересна судьба этого офицера.

В бытность императрицы Елизаветы цесаревной в числе преданных ей людей был, как,

вероятно, не забыл читатель, молодой прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка Алексей Яковлевич Шубин, чрезвычайно красивый собой, расторопный, решительный и энергичный. Он предался цесаревне со всем пылом молодости, и, как носились в то время слухи, Елизавета Петровна не прочь была сочетаться с Шубиным тайным браком. Пример такого брака царевны с подданным уже существовал: родная сестра императрицы Анны, цесаревна Прасковья, была замужем за И. И. Дмитриевым-Мамонтовым.

Но, не дождавшись брачного венца, Шубин был арестован по повелению императрицы Анны, долго томился в оковах, в так называемом каменном мешке, где нельзя было ни сесть, ни лечь, и, наконец, отправлен в Камчатку и обвенчан там, против воли, с камчадалкой.

Цесаревна Елизавета Петровна очень страдала по Шубину и выражала чувства свои в стихах, обращенных к нему. Вот одна строфа этих стихов:

*Я не в своей мочи огонь утушить,
Сердцем болью, да чем пособить?*

*Что всегда разлучно и без тебя
скучно.*

*Легче б ты не знать, нежели так
страдать Всегда по тебе.*

Вступив на престол, императрица вспомнила, конечно, о своем любимце, сосланном за нее в дальнюю Камчатку.

С великим трудом отыскали его там, в 1742 году, в одном камчадалском чуме, Посланный искал его всюду, но никак не мог найти.

Когда его сослали, то не объявили его имени, а самому ему запрещено было называть себя кому бы то ни было под страхом смертной казни.

В одной юрте посланный, отыскивая ссыльного, спрашивал несколько бывших тут ссыльных, не слышали ли они чего-нибудь про Шубина. Никто не дал положительного ответа. Разговорясь затем, посланный упомянул имя императрицы Елизаветы Петровны.

— Разве Елизавета царствует? — спросил тогда один из ссыльных.

— Да вот уже другой год, как Елизавета Петровна восприяла родительский престол, — отвечал посланный.

— Но чем вы удостоверите все это? — спросил ссыльный.

Офицер показал ему подорожную и другие бумаги с титулом императрицы Елизаветы Петровны.

— В таком случае Шубин, которого вы отыскиваете, перед вами, — отвечал ссыльный.

Его привезли в Петербург, где 2 марта 1743 года он был произведен «за невинное претерпение» прямо в генерал-майоры и лейб-гвардии Семеновского полка в майоры и получил Александровскую ленту. К этому-то Шубину и был позван Суворов.

Неожиданный призыв к начальству не мог смутить его — он был вполне уверен в своей исправности, а потому спокойно отправился к генералу.

— Поздравляю тебя, Суворов, — сказал ему Шубин. — Сейчас только что получил от императрицы приказ произвести тебя не в очередь в капралы. Не можешь ли объяснить мне причину этого?

Суворов рассказал подробно вчерашний разговор с ее величеством.

— Теперь понимаю, почему вчера же был сделан о тебе запрос. Ее величество желала иметь сведения о твоём поведении и службе. Я отозвался о тебе с похвалою, — сказал Шубин.

— Покорно благодарю, ваше превосходительство...

— Ты заслужил это. Продолжай служить так же, как служил, и без награды не останешься...

— Рад стараться, ваше превосходительство.

— Еще раз поздравляю тебя. Ступай с богом.

Суворов вышел.

Сделавшись капралом, Александр Васильевич был очень взыскателен с солдатами. Вне службы он обходился с ними по-братски, но на службе был неумолим.

— Дружба — дружбой, а служба — службой, — говорил он.

Несколько времени спустя, Александр Васильевич снова случайно встретил императрицу.

— Здравствуй, капрал, — милостиво улыбаясь,

нулась ее величество.

— Здравия желаю, ваше императорское величество!

— Я слышала, Суворов, что ты не только не водишься со своими товарищами, но даже избегаешь их общества... Почему это? — спросила Елизавета Петровна.

— У меня много старых друзей, ваше величество, а даже пословица говорит: «Старый друг — лучше новых двух».

— Кто же эти старые друзья?

— Их много, ваше величество. Цезарь, Ганнибал, Вобан, Кагорт, Фолард, Моптекукули, Роллеп... всех не перечтешь.

— Это очень хорошо, — улыбнулась императрица, — наука наукой, но не надо отставать и от товарищей.

— Успею еще, ваше величество. У них мне теперь нечему научиться, а время дорого.

— Загадочная натура, — сказала Елизавета Петровна, обращаясь к сопровождавшей ее статс-даме.

Та наклонила голову в знак полного согласия.

— Старайся дослужить скорее до офицер-

ского чипа. Ты, я вижу, будешь прекрасным офицером.

— Рад стараться, ваше императорское величество, — отвечал Суворов.

Императрица прошла далее.

Случая побывать в Петербурге для Суворова, сделанного капралом, уже совершенно не предвиделось, а между тем образ Глаши все чаще и чаще восставал в его воображении. Нередко среди занятий мысль о ней появлялась против его воли в голове, и он старался, так или иначе, объяснить ее загадочное поведение относительно его.

Прошло более месяца. Была половина августа. Однажды Суворов вышел из палатки и остановился вне себя от удивления.

Перед ним стояла Глаша.

XVIII

В роще

Глаша стояла перед Александром Васильевичем бледная, исхудавшая. Она до того изменилась, что Суворов с трудом узнал ее, или, вернее, ему показалось, что перед ним стоит тень Глаши — привидение.

Он отступил шага на два назад. Глаша действительно была неузнаваема. Из сравнительно полной, здоровой девушки она сделалась буквально обтянутым кожей скелетом. Ее лицо приобрело какую-то мертвенную восковую прозрачность, и лишь синие глаза сделались еще больше, как бы выкатились из орбит и приобрели какое-то светлое, страдальческое выражение.

— Глаша... ты? — наконец, оправившись от первого впечатления встречи, мог произнести Александр Васильевич.

— Я... А что... не узнали? — горько улыбнулась девушка.

— Не узнал, действительно, не узнал... Что с тобой?.. Отчего ты такая сделалась?

— Не место здесь, барин, голубчик, рассказывать... Вишь все солдаты шныряют... Нет ли где схорониться... Затем и пришла сюда, чтобы всю душу перед смертью выложить...

— Пойдем... — сказал Суворов.

Они пошли рядом по лагерю к выходу на дорогу, ведущую в Петергоф. Появление этой пары не ускользнуло от внимания солдат.

— Ишь, наш капрал-то какую-то кралю подцепил! — слышались замечания в группах рядовых.

— Уж и краля, худа как щепка, в чем только душа держится... — раздались возражения.

— Тихоня наш капрал, тихоня, а бабу завел.

— Может, сродственница?..

— Держи карман, сродственница... Знаем мы этих сродственниц...

Все эти разговоры шли вполголоса и не долетали до шедших по лагерю Суворова и Глаши.

Дойдя до Петергофа, они свернули в рощу и, дойдя до первой полянки, остановились. Первый, собственно, остановился Александр Васильевич.

Он видел, что его спутница тяжело дышала и, видимо, изнемогала от усталости.

— Присядем, — сказал Суворов.

Глаша скорее упала, чем села на траву. Рядом с ней поместился и Александр Васильевич. Они незаметно зашли в самое отдаленное место окружавшей петергофский сад рощи. Кругом все было тихо. Эта тишина была тишина леса, составленная из бесчисленных звуков природы. Легкий ветерок шелестил верхушки деревьев, в траве стрекотали насекомые, в чаще листвы с ветки на ветку перепархивали птички, весело чирикавая, и все эти звуки сливались в один, казалось беззвучный аккорд и составляли то понятие, которое называется тишиной леса.

Александр Васильевич и Глаша некоторое время молчали.

— Что с тобой, Глаша? — нарушил молчание Суворов.

Молодая девушка сидела, опустив голову. При этом вопросе она подняла ее.

— Что со мной, батюшка, Александр Васильевич, что со мной, вы спрашиваете?.. Да то, чего я не пожелаю и злому врагу.

Она заплакала.

— Да что же? Из-за чего ты вдруг стала такою странною? Ко мне так переменилась?

— К вам переменилась? — усмехнулась Глаша.

— Да, ко мне. Бывало, мне казалось, что ты нарочно мне все навстречу попадаешься, заговаривать старалась, ко мне в комнату ходила. Затем вдруг точно тебя кто от меня откинул. Чураться стала, будто нечистого. Как раз это было перед лагерями. Из лагеря я раза два-три в Питер наведывался, тебя не видел, не хотела, значит, видеть меня. Обнял я тебя тогда в последний раз, может, обиделась, тогда прости, я это невольно, по чувству.

Молодой Суворов говорил, мешаясь и торопясь, как бы стараясь поскорее все высказать, что было у него на уме.

Глаша сидела и слушала с горькой улыбкой на побелевших губах. Она ответила не тотчас же после того, как он умолк. Казалось, она собиралась с мыслями...

— Обняли... обидели, — наконец начала она, и в ее голосе дрожали слезы. — Милый, желанный, Александр Васильевич, может, и

жизнь свою отдать готова, чтобы вы обняли меня да расцеловали, только поняла я вдруг тогда, что не след вам до меня дотрагиваться... что я нестоящая, пропащая.

Глаша замолчала. Слезы градом катились из ее глаз.

— Что старое вспоминать... Теперь ведь ты другая, — заметил растроганный Суворов.

— Старое, — сквозь слезы заговорила Глаша. — Это старое все будет новое. От этого старого не отделаешься, с ним и в могилу пойдешь. Пятно несмываемое... За что, за что я погубила себя?..

Она снова горько зарыдала.

— Полно, полно, Глаша, уж и погубила, — подвинулся к ней ближе Александр Васильевич.

— Я ведь тоже не простая, — всхлипывая, продолжала молодая девушка, — папенька мой дьяконом был. Я, может, могла бы за благородного замуж выйти. Ведь могла бы?

Она остановилась и вопросительно посмотрела на него полными слез глазами.

— Конечно, могла, отчего же бы не могла, — отвечал Суворов, чтобы не раздражать

ее противоречием.

Так, по крайней мере, думал он, но оказалось противное.

— Вот видите, вот видите, — заволновалась она. — А я себя погубила, ни за что погубила... Сгинула... Пропащая стала, пропащая.

— Но почему у тебя появились такие мысли? Кажется, была ты весела. Пела, бывало, как птичка.

— А помните вы мне книжек дали?

— Помню. Как же. Ты в последний раз у меня их забыла, так за ними не пришла. А я, признаться, ждал, — пробовал пошутить Суворов, но шутка его как-то оборвалась.

— Ждали. Не стоила я, чтобы вы меня ждали. Прочла я их, эти книжки, потому и не пришла.

— Это я в толк не возьму. Что же в этих книжках написано?

— Ах, как там хорошо написано про любовь. Когда девушка всю душу готова положить за своего милого. Когда один взгляд его ласковый заставляет ее сердце биться в сладкой истоме, когда она в объятиях его трепещет, как птичка в клетке, и жутко-то ей, и

приятно. Какое это наслаждение — отжаться впервые любимому человеку. Но она, та, о которой там написано, была честная, чистая душа. И как она любила его... как любила.

Лицо Глаши, когда она говорила эту длинную тираду, оживилось, глаза заблестели, на щеках появился румянец. Она была положительной красавицей. Молодой Суворов невольно залюбовался на нее и слушал, затаив дыхание.

Этих немногих слов, этой бессвязной передачи романа, при страстности и убежденности речи, было достаточно, чтобы Александр Васильевич понял, что он был не прав, думая, как говорил он когда-то Глаше, что любовь — баловство.

— Ну, а что же он? — спросил он, заинтересовавшись рассказом.

— Он? Он тоже очень любил ее и не мог устоять. Они слюбились, но потом повенчались и были счастливы.

— Это хорошо, это бывает в жизни.

— Бывает, бывает, есть такие счастливицы.

Наступило молчание.

— Но я не пойму все-таки одного, — начал, после некоторой паузы, Суворов. — Почему же этот рассказ тебя так расстроил?

— Не понимаете, — вздохнула Глаша. — Вы и правы. Разве я имею право любить!

— Я это не говорю... Кто же может отнять у тебя это право?

— Конечно, но кто же меня полюбит... такую. Оно, может статься, пожалуй, и полюбят, на часок, на другой, за красоту, за статность, за тело мое. Об этом я и раздумалась... И стало мне противно это мое тело. Стала изводить я его постом и молитвою и всем, чем могла. Вот и дошла. Какова? Красива стала?

Она с горькой усмешкой оглядела Александра Васильевича. Тот молчал.

— А особенно тяжело мне стало, когда увидела я, что человек, которого я вдруг ни с того ни с сего всей душой полюбила — сама сознаюсь, хоропроводить его стала, заигрывать — поддаля, а сперва и приступу не было. Поняла я, что опять красота моя телесная службу мне сослужила. Как, подумала я, отдаться мне ему, моему касатику, мне, нечистой, опозоренной. Точно по голове меня тогда обухом

ударили. Убежала я от него и хоронится стала. Ан бес-то силен — сюда пришла.

Она замолчала и опустила голову.

— Вот что, — воскликнул взволнованно Суворов. — Так это ты меня любила, а потом и стала избегать меня... Но ведь я тебя тоже люблю. И какое мне дело до твоего прошлого. Зачем, зачем ты и себя, и меня мучила!

— Так нужно было. Теперь я все-таки чище, честнее. Да и жить мне не долго осталось. Напоследок хоть на тебя, мой касатик, порадоваться. Так ты и впрямь любишь меня, ненаглядный мой?

— Люблю, люблю...

Он подвинулся к ней еще ближе. Она обвинила его шею своими руками. Губы их слились в долгом горячем поцелуе.

— Дорогой, желанный... хоть напоследок-то дождалась я настоящей любви... чувствую, что умру скоро, но теперь... пусть...

— Молчи, молчи. Ни слова о смерти. Теперь жить надо и для себя... и для меня, и...

Она не дала ему договорить.

— Милый, желанный!

И снова Александр Васильевич ощутил на

своих губах жгучий поцелуй ее горячих, пересохших губ. Он крепко сжал ее в своих объятиях и почувствовал опьяняюще страстный трепет ее исхудавшего тела.

Солнце уже склонялось к западу. Вся роща окуталась какой-то таинственной дымкой, предвестницей росы.

Суворов и Глаша тихо шли по тропинке, ведущей в расположенную под Петергофом деревеньку. Там Александр Васильевич надеялся найти возницу, который бы доставил Глашу в Петербург.

При самом входе в деревеньку из ворот крайней избы выехала тележка, запряженная сытой и сильной лошадью. В ней сидел седой, как лунь, старик.

— Дедушка, а дедушка, — окликнул его Суворов. Тот придержал лошадь.

— Ась, служивый...

— Куда путь держишь?

— В Питер.

— Не подвезешь ли девушку?

— Отчего не подвезти. Пускай садится...

Александр Васильевич одной рукой помог Глаше усесться в телегу, а другой сунул в руку

старика несколько монет.

— За провоз, дедушка.

— Спасибо, служивый, и так бы подвез. Не велика тяжесть. А, впрочем, внучке на го-
стинцы.

— До свиданья, Глаша. Сюда не ходи. Сам буду урывать и наведываться. Береги себя.

Глаша только махнула рукой.

Тележка, подхваченная сильной лошастью, покатила по деревенской улице. Суворов некоторое время стоял и смотрел ей вслед. В первый раз эта, даже временная, разлука с женщиной произвела на него впечатление. Ему казалось, что что-то оторвалось у него у сердца. Он даже сделал жест негодования на самого себя и скорыми шагами отправился в лагерь.

По мере приближения к нему снова волна служебных обязанностей охватила его, и в ней утонули пережитые им впечатления сегодняшнего дня. Он стал обдумывать, все ли исправно во вверенном ему капральстве. Ответ получался утвердительным. Незаметно он достиг своей палатки, где он жил с несколькими товарищами. Последних в ней

не было.

Александр Васильевич на свободе присел к столу и стал читать. Занимаясь, он нет-нет, да и вспоминал о Глаше, о проведенных с нею в роще часах, о том, как она доехала, но вскоре усилием воли он заставил себя сосредоточиться на книге, которая лежала перед ним, и читал до «зари», по прибытии которой и лег спать.

Снов он не видел никогда.

Утро прошло в занятиях, и лагерно-военная жизнь для Александра Васильевича Суворова, прерванная неожиданным романтическим эпизодом, вошла снова в свою обычную колею. Укромное местечко петергофской рощи не сделалось Капуей[10] для воина.

Через неделю, однако, выдался день, когда была возможность отпроситься на побывку в Петербург. Суворов воспользовался этим случаем.

Его встретила Марья Петровна, собравшаяся куда-то уходить.

— Что Глаша? — спросил он ее, даже не поздоровавшись как следует.

— Ничего, дома, — глянула на него подо-

зрительно попадья, — чахнет, девка, да и только. Куда-то надясь сбежала... Целый день пропадала... Повеселела было... А теперь снова закручинилась... Уж я думаю, ей за прежнее рукомерло приняться, может, отвыкать от их жизни трудно.

— Что вы вздор говорите, Марья Петровна! — вспыхнул Александр Васильевич. — Девушка исправилась, а вы ее в тот же омут толкаете.

— Кто ее толкает? Никто! Ее же жалеючи раздумываю. Вы ее не видели, так посмотрите. Краше в гроб кладут. А то толкаете.

Обидевшаяся Марья Петровна вышла из сеней. Суворов прошел к себе.

— Глафира Ефимовна, а Глафира Ефимовна! — крикнул он через стену.

— Сейчас приду, — послышался ответ.

Через несколько минут на пороге его комнаты появилась Глаша. Марья Петровна была права. Со дня свидания в Петергофе она, кажется, еще более похудела, если только это было возможно.

— Вот, я урвался, Глашечка, — обнял ее Александр Васильевич.

— Ничего, ничего... А уж как я рада, как рада... — целовала она его в лоб, губы, щеки.

— Здоровье-то как?

— Здоровье, что здоровье... Я счастлива... Тебя вижу... Что мне думать о здоровье... Хоть час, да наш...

Она усадила его на постель и обвила руками за шею.

— Милый, желанный...

XIX

Роман Суворова

Завязавший роман Суворова с Глашей, если только этот любовный эпизод можно назвать романом, нимало не отразился ни на служебных, ни на научных занятиях молодого капрала.

Александр Васильевич с самого раннего детства принадлежал к людям, не мешающим дела с бездельем. Он держался мудрого русского правила: делу — время, потехе — час. В число потех включал он и отношения с женщинами.

Но и самая служба, как мы видели, не име-

ла для него значения навязанного судьбою тяжелого труда; она не представлялась ему рядом скучных, формальных, мелочных обязанностей. Он ей учился, учился с увлечением, с радостью; знакомился с нею во всех подробностях, для него даже необязательных; нес на себе обязанности солдата в служебных положениях, важных и неважных, легких и трудных. Для него это было нужно, как нужны были научные занятия; перед ним в неопределенной дали светилась едва видимая точка, дойти до которой он задался, во что бы то ни стало.

Эта отдаленная цель показалась бы для других абсурдом, бредом больного воображения, до того достижение ее было несбыточно для юного дворянчика-солдата, без связей и покровительства, без большого состояния, безвестного, неказистого, хилого. Но Суворов чувствовал в себе достаточно сил для того, чтобы добиваться этой, якобы несбыточной, мечты, определил к тому средства, обдумывал программу.

В программу входили развитие ума и укрепление тела, что он уже делал; входило

в него и изучение солдатской среды, решение — освоиться с нею вполне без оглядок и компромиссов. К этой части программы он, как мы знаем, приступил тотчас, как попал в полк, и стал, действительно, заправским солдатом.

Мысль — изучить солдата во внешнем его быте до мельчайших подробностей обычаев и привычек и во внутренней его жизни до тайных изгибов его верований, чувств, понятий, — есть, в сущности, мысль простая для того, кто задался такой целью, как Суворов.

Вся трудность заключалась в исполнении; требовалось постоянство и выдержка необычайная, нужна была воля, ни перед чем не преклоняющаяся. Александр Васильевич с детства обладал этими условиями и потому цель достиг. Быть может даже, что он ушел дальше, чем сам предполагал.

Едва ли перед глазами 20-летнего Суворова обрисовывался определенными очертаниями идеал, во всем схожий с будущим, действительным Суворовым зрелых лет. Он мог хотеть изучить солдата, исследовать этот малый атом великого тела для того, чтобы

уметь владеть этим телом. Ему нужно было средство для достижения цели, которую он видел в Юлие Цезаре и других, но претвориться в солдата, сделаться таким, чтобы от него «отдавало солдатом» всюду и всегда, — этого он желать не мог. Не было к тому и никакой надобности для человека высшего сословия, образованного и развитого; не могло быть и желания.

Вышло, однако, не так, его втянула в себя солдатская среда. В русской солдатской среде много привлекательного. Здравый смысл в связи с беззаботным юмором; мужество и храбрость спокойные, естественные, без поз и театральных эффектов, но с подбором самого искреннего добродушия; умение безропотно довольствоваться малым, выносить невзгоды и беды так же просто, как обыденные, мелочные неудобства.

Суворов был вполне русский человек — погрузившись в солдатскую среду для ее изучения, он не мог не понести на себе ее сильного влияния. Он сроднился с ней навсегда; все, на что он находил себе отголосок в ее натуре, выросло в нем и окрепло или же усвои-

лось и укоренилось. В бытность свою солдатом он изучал во всей подробности воинские уставы и постановления, бывал постоянно на строевых учениях и ходил в караул.

В нем не было ни тени дилетантского верхоглядства или резонерства; все было для него достойно внимания и строгого исполнения. Он ничего не делал наполовину или кое-как, все заканчивал. Всякую обязанность свою или служебное требование он исполнял с величайшей точностью, граничившей с педантством.

Его уму присущ был дух критики, но он дал ему волю лишь впоследствии. В описываемое нами время он учился — и критике места не было.

Такого разбора солдат не может быть заурядным служакой, и действительно, Суворов был образцом для всех.

Между тем это не могло достаться ему легко. В полку застиг его критический возраст, когда здоровье требует особенного о себе попечения. Но Суворов и тут вышел победителем, продолжая начатую дома закалку своей натуры.

Это был целый прикладной курс гигиены, обдуманый и с большим терпением исполняемый. Александр Васильевич положительно укрепил свое здоровье и, будучи с виду тщедушным и хилым, лучше иных здоровяков переносил усталость, голод, ненастья и всякого рода лишения[11].

Еще раза два за короткое оставшееся лагерное время Александр Васильевич был в Петербурге и виделся с Глашей. Марья Петровна, видимо догадавшаяся об отношениях, завязавшихся между племянницей и молодым жильцом, ни словом, ни намеком, однако, не выдала этого и только как-то особенно любовно стала на них обоих поглядывать. Вдова-попадья была очень довольна своим открытием.

«Хороший малый, добрый, приветливый, ласковый, серьезный, — мысленно восхваляла она Суворова, — и не такой бы, прости Господи, шлюхе чета. А впрочем, видно, ей такая планида, все лучше хорошему человеку достанется, чем так зря, нивесть кому. Только что он в ней нашел. Когда она пришла сюда, еще была девка девкой, и телом, и дород-

ством брала. Тогда он на нее, кажись, не обращал никакого внимания. А теперь выдра выдрой стала, в чем только душа держится, а он ее-то, дохлую, и облюбовал».

Так размышляла сама с собой Марья Петровна, и на заданный ею себе вопрос не находила ответа. «Приворожила, шельма, наверняка приворожила».

На этом решении Марья Петровна успокоилась.

«А бог с ним, пусть их любятся», — в конце концов, решила она.

Ее чуждому всякой глубины мысли уму, конечно, могло показаться более чем странным, что роман Александра Васильевича начался, чуть ли не с умирающей девушкой. Здоровье было главным условием любви в том смысле, в каком понимала ее Марья Петровна, в каком понимает ее, с одной стороны, впрочем, и русский народ, выражая в одной из своих пословиц мысли, что «муж любит жену здоровую».

С другой стороны, этот же народ знает любовь «как синоним жалости», знает, однако, если можно так выразиться, в своей бессозна-

тельной мудрости, не вдаваясь в психологию этого определения, но лишь заменяя порой слово «люблю» словом «жалею». Эта-то именно любовь-жалость и наполнила сердце молодого Суворова при виде Глаши в Петергофе во время беседы с нею с глазу на глаз в роще. Это чувство не имело ничего общего с тем, повинаясь которому он на петербургской квартире заключил Глашу, неожиданно для нее, да, пожалуй, неожиданно для самого себя, в объятия. Этот порыв скорее чувственности, чем чувства, он мог легко побороть в себе и, хотя и вспоминал о предмете своего вожделения, но лишь на досуге, в то время, когда не был занят ничем другим. Эта чувственность проснулась в нем и там, в роще, проснулась согретая чувством жалости к этой раскаявшейся и бичующей себя девушке, раскаявшейся и бичующей вследствие любви к нему.

Польщенное самолюбие тоже было для того немалым импульсом и сделало в его глазах хотя и исхудавшую, подурневшую Глашу еще более привлекательной.

Вызывающая вспышка страсти надломленного организма молодой женщины, нося-

щей уже смерть в груди, носит в себе необычайную жгучую притягивающую силу, способную захватить даже пожившего человека, а не только почти неиспорченного юношу, каким был Суворов. Вот ответ на вопрос, который не могла разрешить себе Марья Петровна.

Глаша между тем не поправлялась, она с какой-то дикостью отдавалась наслаждениям любви, как бы спеша взять их от жизни, не нынче завтра готовой угаснуть, и делала Александра Васильевича своим невольным убийцей.

Надо отдать справедливость, что несколько времени после возвращения из лагеря он опомнился первый и, будем откровенны, опомнился главным образом потому, что почувствовал, что такая жизнь действует роковым образом на его здоровье.

Но было уже поздно, не относительно его, к счастью России, а относительно Глаши.

Молодая девушка слегла. При других обстоятельствах Марья Петровна отправила бы ее в больницу, но теперь, ввиду того что в Глаше принимал участие Александр Василье-

вич, она положила ее в большой комнате, где и была устроена покойная постель. Сделано это было, конечно, не без совещания с Суворовым.

— Глафира-то у нас плоха, — встретила она раз возвращавшегося из казарм Александра Васильевича.

— А что? Как плоха? — с тревогой в голосе уставился он на Марью Петровну.

— Как плоха? Да как бывают плохи... Кончается.

— Что вы за вздор говорите. Как кончается? Я ее вчера видел. Она была ничего.

— То-то ничего, вчера, может, и ничего. А нынче с утра головы поднять не может. Лежит пласт пластом.

— Что вы? — испуганно воскликнул Суворов.

— Да взгляните, — Она ввела его в первую большую комнату, — Я уж ее на время сюда пристроила. В кухне-то, да в маленькой душно.

— Конечно... конечно, но почему же на время, пусть лежит здесь, пока не поправится.

— А я смекала в больницу отправить. Где уж ей поправиться.

Суворов вздрогнул.

— Что вы, что вы... Зачем это даже думать. В больницу — ни за что! Я не пушу... Там вот как раз уморят.

— Что морить-то.

— Ни за что в больницу... слышите!

— Дорого будет здесь-то, лекаря надо, опять же лекарство.

— Об этом не заботьтесь! Я за все заплачу. Я недавно получил от отца деньги.

— Как вам угодно! Коли заботитесь о сироте, не чужой считаете. Бог вам за это пошлет, — заметила Марья Петровна.

Весь этот разговор происходил шепотом, у порога отворенной двери большой комнаты.

В самой комнате, куда вошли Суворов и Марья Петровна, царил полумрак. Нагорелая сальная свеча, стоявшая на столе, невдалеке от кровати, бросала на последнюю какой-то красноватый отблеск. Глаша лежала, разметавшись, и обострившиеся, как у покойницы, черты лица носили какое-то страдальческое выражение, закрытые глаза оттенялись тем-

ной полосой длинных ресниц, пересохшие губы были полуоткрыты.

«Она действительно... кончается», — мелькнуло в голове Александра Васильевича.

Холодный пот выступил на его лбу.

— Глаша, Глаша, — подошел он на цыпочках к больной и наклонился над ней.

Она с трудом полуоткрыла глаза и молчала.

— Глаша... это я, — продолжал он в том предположении, что она его не узнала.

— Ты... — чуть слышно шевельнула она губами и высвободила из-под одеяла правую руку.

Он взял ее за руку. Рука эта горела огнем и была совершенно влажная. Суворов почувствовал слабое пожатие руки и отвечал тем же. Марья Петровна стояла несколько вдали и слезливо моргала глазами.

— Пить, — прошептала больная.

Марья Петровна взяла кружку с теплым сбитнем и подала Александру Васильевичу. Тот взял ее левой рукой и, не выпуская правой из руки больной, поднес кружку к ее губам. Она с усилием поднялась и жадно при-

льнула к кружке. Сделав несколько глотков, она вдруг страшно закашлялась. Глухие хрипы в груди красноречиво говорили об окончательном поражении легких. Кровавая пена, появившаяся на губах, дорисовала картину злейшей чахотки, в которой находилась молодая девушка. Припадок кашля прекратился. Голова больной бессильно упала на подушки, глаза снова закрылись.

— Бегите за лекарем, — тревожно прошептал Александр Васильевич и, осторожно высвободив свою руку из рук больной, вышел из комнаты вместе с Марьей Петровной.

Они вместе прошли в его комнату, где Суворов сунул в руки попадьи несколько монет.

— Скорее, скорее за лекарем. Это было надо раньше, — схватился он за голову.

— Да мне и невдомек, худеет да кашляет. Я ее и молоком, и травами поила. Не я причина, — обиделась Марья Петровна.

— Знаю, знаю. Идите, идите, — почти простонал Суворов.

Марья Петровна вышла. Александр Васильевич бросился на свою постель, лицом в кожаную подушку, и зарыдал. Даже закаленная

им самим его натура не выдержала.

XX

Смерть Глаши

Запоздалое лечение началось. Приведенный Марьей Петровной старичок лекарь оказался хотя и «из немцев», но очень простым и душевным человеком. Живя в России уже несколько десятков лет, он, видимо, усвоил себе русское добродушие, гораздо успешнее, нежели русский язык.

Увидев, что его позвали к безнадежной больной, он все-таки успокоил и ее, и окружающих и в тот же день принес им самим составленную успокоительную микстуру.

— Пусть испивает, это карошо, это нишево...

Взяв деньги за первый визит, он за остальные брать отказался.

— Ви попов жен, женщин бедный. Солдат — казенный шеловек... где брать грош, а у меня есть, на мой старый век хватает...

Данная Фридрихом Вильгельмовичем — так звали лекаря — микстура подействовала

на больную оживляющим образом. Казалось, силы ее окрепли — она даже несколько часов в сутки сидела в подушках. Возвращающемуся из казарм Александру Васильевичу Марья Петровна ежедневно сообщала все более радостные и радостные известия.

— Немчура-то наш, кажись, Глашку выхаживает...

— Дай-то Бог... — с чувством говорил Суворов, хотя в душе у него шевелился червь сомнения. Он признавал рассудком, что болезнь Глаши неизлечима, но сердце хотело верить другому.

— Нет, какого нам Бог немца послал... Придет, девку развеселит... Лекарств какую уйму перетаскал и денег не берет... А ведь немец... — недоумевала Марья Петровна.

«Выродок...» — решил Александр Васильевич.

Фридрих Вильгельмович на самом деле аккуратно посещал больную два раза в неделю и доставлял ей нужные лекарства. Недели тянулись за неделями, не принося, как это зачастую бывает с чахоточными, особенно резкой перемены. Один день Глаша чувствовала себя

молодцом, а на другой лежала, по выражению Марьи Петровны, пласт пластом.

Прошло около трех месяцев. Александр Васильевич продолжал усиленно заниматься и лишь один свободный час в сутки просиживал у постели больной. Последней доставляло это необычайное наслаждение, но вместе с тем приносило и серьезный вред. Она волновалась и болтала без умолку. Как все чахоточные, она все строила разные планы на будущее.

— А что, я могу совсем, совсем исправить-ся? — задавала она вопрос.

— Да ведь ты же исправилась!

— Нет, так, чтобы совсем хорошей, честной считаться.

— Конечно, можешь.

— И замуж меня могут взять?

— Отчего же не могут, могут.

— Офицер?..

— Н-да. Ну и офицер.

— А ты бы взял?

Она даже приподнялась на локте и нетерпеливыми глазами, из которых вот сейчас были готовы брызнуть слезы, глядела на

Александра Васильевича.

— Отчего же не взять, возьму, — отвечал он, видя, что другой ответ может преждевременно убить ее.

Ее лицо озарялось детски радостной улыбкой.

— Возьмешь, не обманешь?

— Зачем обманывать.

— А у твоего отца хорошее имение?

— Хорошее.

— И лес есть?

— Есть.

— И речка?

— И речка есть.

— Вот бы мне пожить в деревне, где есть лес и речка, я бы там одним духом поправи-лась.

— Что же, можно и в деревню поехать, — согласился Александр Васильевич.

— С тобой?

— Мне нельзя, у меня служба. Лицо Глаши затуманилось.

— Впрочем, может быть, можно и отпуск взять.

— Возьми и поедem... К отцу.

— К отцу?

— Ну да, ведь у него есть и лес и речка.

Она почти бредила. Александр Васильевич успокаивал ее.

— Хорошо, хорошо, поедем.

— Ты напишешь отцу, спросишь?

— Хорошо, хорошо.

— Поцелуй меня.

Суворов наклонялся к ней и дотрагивался губами до ее пересохших, как огонь горячих губ.

— Крепче, крепче.

— Перестань, тебе вредно волноваться.

— Что за вредно, я теперь почти совсем здорова. Скоро к тебе в гости приду. Ты думаешь не приду? — продолжала она, заметив на его лице выражение сомнения. — Еще как приду. Вот увидишь, на этих днях. Не веришь?

— Верю, верю, отчего же и не прийти.

— А ты рад будешь?

— Конечно рад. Однако мне пора.

— Уже! Поцелуй еще раз. Александр Васильевич поцеловал.

— А теперь я засну, — уже видимо ослабев,

говорила Глаша.

— Спи, спи.

Суворов уходил к себе заниматься.

Такие разговоры происходили каждый день с небольшими изменениями, и Александру Васильевичу приходилось даже ложью, не бывшей в его характере, успокаивать страдальцу. Себя он оправдывал совершенно подходящим к данному случаю правилом, что и ложь бывает во спасение. После описанного нами разговора Глаша постоянно спрашивала его, написал ли он отцу, подал ли просьбу об отпуске и когда он поедет. Александр Васильевич отвечал на первые два вопроса утвердительно, а на третий, что ей надо еще немного поправиться.

— Что мне поправляться, я совсем здорова, — возражала она.

Марья Петровна как-то случайно услышала один из подобных разговоров.

— Куда это она собирается? — спросила она Суворова, когда тот вышел в сени.

— В деревню ехать хочет.

— Нехорошо это, батюшка барин, когда они в путь собираются. Нехорошо. Уйдет она

от нас, уйдет.

— Я и сам вижу, Марья Петровна, что уйдет, — со вздохом отвечал Александр Васильевич и прошел к себе.

И Глаша действительно вскоре ушла.

Однажды Марья Петровна встретила возвращавшегося из казарм Суворова с озабоченным лицом.

— Что Глаша? — спросил он.

— Худо ей было нынче, ой как худо. Я уже думала до вашего прихода не доживет, в казармы бежать хотела.

— Что же с нею было?

— Знобило, зуб на зуб не попадал. Да и кашель-то уж бил ее, бил. Страсть.

— А теперь?

— Теперь, с час как прошло, лежит в памяти. Говорит, что ей совсем хорошо. О вас справлялась. Наказывала, как вы приедете, чтобы непременно зашли.

— Хорошо, я сейчас, — сказал Суворов и прошел к себе.

Сняв шинель, он отправился к больной. Последняя встретила его радостной улыбкой.

— Тебе, говорят, худо было?

— Да, немножко нездоровилось, зато теперь совсем хорошо. Если два, три дня будет как сейчас, то можно и ехать.

Суворов вздрогнул. Слова Марьи Петровны пришли ему на память.

— Что же, тогда и поедем.

— Отпуск получил?

— За отпуском дело не станет.

Глаша стала приподниматься на постели.

— Зачем ты садишься, лежи.

— Я хочу повернуться на бок, чтобы лучше видеть тебя.

— Лежи спокойно.

— Я хочу.

В ее голосе послышалось раздражение, и она стала делать усилие, чтобы повернуться, но безуспешно.

— погоди, я помогу тебе, коли тебе уж так хочется.

Александр Васильевич подсунул ей под спину правую руку и поднял ее, чтобы положить на бок. Вдруг она как-то неестественно захрипела. Все тело ее разом дрогнуло. Кровь хлынула изо рта.

— Глаша, Глаша! — мог только произнести

Суворов.

Она не отвечала, но тело ее как-то странно вытянулось. Широко открытые глаза остановились и в них как бы застыло выражение безграничной любви и надежды. Александр Васильевич понял, что держит труп. Он бережно опустил его на кровать и быстро вышел из комнатки.

— Что? — встретилаь ему Марья Петровна.

— Ушла.

— Скончалась, царство ей небесное.

Суворов вошел к себе в комнату, сбросил мундир, запачканный кровью покойной, бросился на постель и уткнул лицо в кожаную подушку. Он плакал второй, и последний, раз в жизни.

В домике поднялась суматоха, как это всегда бывает, когда дом посетит смерть. Как это ни странно, но хотя ее ожидают, она всегда является неожиданной. Покойницу обмыли, одели и положили под образа.

Александр Васильевич вскоре поборол свое волнение, встал и даже принялся было за книгу, но тотчас и бросил ее. Заниматься

он не мог и чувствовал, что сегодня он к этому даже не в состоянии себя принудить. Он отворил дверь и кликнул Марью Петровну. Та явилась.

— Ну, что?

— Покамест все справили. Лежит точно живая. Взгляните.

— Сегодня не могу. Вот возьмите деньги. Справьте все, что следует.

Он сунул ей деньги.

— Не беспокойтесь, все будет сделано.

Она ушла.

Суворов сел и задумался. Он мысленно переживал свой первый короткий печальный роман. Он решил, что он будет и последним. Он мысленно дал себе клятву избегать женщин, кроме жены, если Бог приведет ему жениться. Жизнь и смерть Глаши казались ему хорошим жизненным уроком. Страх быть одним из виновников такой же печальной судьбы девушки или женщины, подобной покойной, должен остановить его от искушений и соблазна.

Перед ним мелькали только что виденные им глаза покойной, полные надежды, кото-

рой не суждено было осуществиться, и любви, на которую не могло быть достойного этой любви ответа. Нервная дрожь охватила все его члены.

Из большой комнаты стали доноситься монотонные звуки чтения Псалтыря. Это приведенный Марьей Петровной читальщик приступит к исполнению своих обязанностей.

Суворов разделся и лег. Физическая усталость от службы и нравственная взяли свое. Он заснул.

На другой день чуть свет он был, по обыкновению, в казарме. Там уже знали о смерти Глаши. Роман любимого капрала не остался тайной для солдат.

На третий день Глашу похоронили на Смоленском кладбище. Ко дню похорон Александр Васильевич отпросился со службы. К выносу тела из дому явилось несколько солдат из капральства Суворова. Они на руках донесли гроб до церкви, а после отпевания проводили до кладбища.

Несмотря на то, что Александр Васильевич на похоронах не проронил ни одной слезы, солдаты чувствовали, что их капрал хоронит

дорогого для себя человека. Суворова тронуло это теплое проявление солдатского чувства. Он был тронут еще более, когда на девятый день, посетив могилу Глаши, он увидел на ней водруженный огромный деревянный крест с написанным на нем именем и отчеством покойной и днем ее смерти. Александр Васильевич догадался, что крест этот был работы солдат его капральства.

Несмотря на первую сердечную рану, которую нанесла ему жизнь смертью Глаши, Суворов не предался отчаянию, не отстал от дела. Он только еще более ушел в самого себя и в исполнение своих служебных обязанностей и в изучении военных наук старался найти забвение происшедшего. Он и достиг этого. И если образ Глаши и устремленные на него ее глаза и мелькали порой перед Александром Васильевичем, то лишь для того, чтобы напомнить ему его клятву о сохранении целомудрия.

Марья Петровна думала иначе.

«Ишь, молодчик, как кручинится! — рассуждала она сама с собой, видя Суворова всегда угрюмым и задумчивым. — Приворожила

покойница, по всем видимостям, приворожила. А то с чего же? Нестоящая была, а за последнее время ледащая, не тем будь помянута покойница, царство ей небесное, место покойное».

Искренне привязанная к Александру Васильевичу, вдова-попадья наивно сердилась на покойную Глашу как на причину грусти ее жильца.

«Надо его, чем ни на есть развеселить. От угрюмости этой беды бывают, особливо с книжными людьми. Читает, читает, ум за разум зайдет... А ружье-то под руками. Упаси, Господи!» — тревожилась Марья Петровна.

«И чем бы его развеселить?» — задавала она сама себе вопрос.

Ей показалось, что она разрешила его.

Как раз в это время ее старуха работница, исполняя свое давнишнее обещание, отправилась на богомолье по святым местам.

«Найму я кралю, чтобы не Глашке, царство ей небесное, была чета». И действительно, пробившись с неделю без работницы, она наняла молодую, красивую, разбитную бабенку.

«Эта уж, об заклад бьюсь, его расшеве-

лит!» — самодовольно думала Марья Петровна.

— У меня в жильцах, моя милая, капрал живет. Только он не из простых, а дворянин, и богатый. Ты ему в первую голову угождай. Смотри. Для тебя говорю, и тебе хорошо будет.

— Угодим, чаво не угодить, не токмо капралу, офицеру угодим! — ухмыльнулась Василиса — так звали новую работницу.

Расчеты Марьи Петровны, однако, не оправдались. Суворов не обратил на новую работницу ни малейшего внимания. Это совершенно сбило с толку матушку-попадью.

«Еще прежде не отошло. Обождем», — утешала она себя.

Сама Василиса, с полуслова понявшая Марью Петровну, даже вломила в обиду.

— Капрал, невидаль капрал. Мозглявый какой, а туда же рыло от тебя воротит. Брезгует. Кажись бы нечем. Не таким угождала.

— Погоди, это поначалу. В расстройстве он. Марья Петровна не утерпела и передала Василисе историю с Глашей и надежду на нее, Василису.

— Вот оно что, родимая, — протянула та. —

Беспременно это она на него напустила.

— Я и сама так думаю, царство ей небесное.

— Обождем.

— Обождем.

Ожидание, однако, их обмануло. Прошел месяц, другой, а никакие даже заигрывания Василисы не вызывали улыбки на лице Александра Васильевича. Работница же она оказалась никуда не годная. Марья Петровна махнула, наконец, рукой на своего жильца и расчитала ее.

— Не капрал, а мозгляк! — бросила, уходя, Василиса по адресу Суворова.

XXI

Суворов-офицер

Незаметно промелькнуло еще несколько лет.

Суворов продолжал тянуть солдатскую лямку, в 1750 году он был произведен в подпрапорщики, в 1751-м — в сержанты. Дела было у него, кроме научных занятий, много, и в этой усиленной деятельности он находил забвение нет-нет да и мелькавшего перед ним образа покойной Глаши. Данную в память ее клятву он соблюдал свято.

В 1752 году сержант Суворов был послан с депешами в Дрезден и Вену, где и находился почти восемь месяцев, с марта по октябрь. Причиной выбора Александра Васильевича для такой командировки было, конечно, кроме его служебной репутации, также и знакомство его с иностранными языками.

Наконец, 15 апреля 1754 года Суворов был произведен в офицеры. Свои сержантские обязанности он исполнял перед производством в офицеры с тою же добросовестно-

стью, как служил прежде простым солдатом. Ротный командир его говорил Василию Ивановичу, приезжавшему в Петербург, что он сам напрашивается на трудные служебные обязанности, никогда ни для каких служебных обязанностей не нанимает солдата, а исполняет сам; любит учить фронту, причем весьма требователен; большую часть времени проводит в казармах; солдаты его очень любят, но считают чудачком.

Произведенный в офицеры, Александр Васильевич расстался с Семеновским полком и поступил в армию, в Ингерманландский пехотный полк поручиком.

Поздно дослужил он до офицерского чина. Ему тогда шел уже двадцать пятый год, а в этом возрасте многие в то время бывали полковниками и даже генералами. Так, Румянцев был произведен в генерал-майоры на двадцать втором году, Н. И. Салтыков дослужился до этого чина, имея двадцать пять лет, Н. В. Репнин — двадцати восьми лет. Но производство в чины наперстать было можно впоследствии, что Суворов и сделал, а долгая, тяжелая солдатская школа никаким дальнейшим

опытом не заменилась. Кто в ней не был, для того этого недостаток оставался невознаградимым.

Александр Васильевич хорошо понимал это и позже говаривал:

— Я не прыгал смолоду, зато прыгаю теперь.

Он не был скороспелкой, как другие, но зато успел развить в себе качества, искусственному росту не присущие.

В Ингерманландском полку Суворов прослужил около двух лет, причем бывал часто у отца и по его доверенности хлопотал в присутственных местах, собирая выписки из книг на разные части недвижимого имения.

В январе 1756 года его повысили в обер-провиантмейстеры и послали в Новгород. В октябре того же года сделали генерал-аудитор-лейтенантом, с состоянием при военной коллегии; в декабре переименовали в премьер-майоры. Следовательно, первые годы по производстве в офицеры он только временно нес строевую службу и ротой не командовал.

В эту пору своей жизни и службы Алек-

сандр Васильевич продолжал ревностно заниматься своим умственным образованием, которое приняло теперь более общее развитие. Он не хотел быть только ремесленником военного дела, и именно потому, что ставил его выше всякого другого. По всему казалось, что из него должен был выйти ученый-теоретик, так как военная служба вовсе не требовала в то время солидного образования и невежество было почти сплошное, нимало не препятствуя движению вперед по чиновной лестнице.

Если и в настоящее время существует антагонизм между теорией и практикой вследствие коренящегося в значительном числе образованных людей убеждения, будто теория и практика имеют не одну общую, а две разные дороги, то в половине прошлого столетия серьезная научная подготовка тем более не считалась нужной для практической военной деятельности.

Но так смотрели другие, а не Суворов. Он изучал усиленно теорию для того, чтобы сделаться исключительно практиком. Великим полководцем нельзя сделаться с помощью на-

уки, они рождаются, а не делаются. Тем более должно ценить тех из военных людей, которые, чувствуя свою природную мощь, не отвергают, однако, науки, а прилежно изучают ее указания. Это есть прямое свидетельство глубины и обширности их ума.

Таким умом обладал и Александр Васильевич. Он понимал, что изучение облегчает и сокращает уроки опыта; что опыт, не создавая способностей, разворачивает их; что теория, построенная на вековых опытах, гораздо полнее, чем выводы личного наблюдения. Не стал бы он тратить время на самообразование, если бы не сознавал твердо, что без науки самому храброму офицеру трудно сделаться искусным офицером; что природный дар без образования если и может быть уподоблен благородному металлу, то разве неочищенному и неотделанному. И хотя офицер и военачальник — две степени, отвечающие различным условиям, но Суворов, задавшись конечной целью, не думал обходить ближайшие, разумея, что хорошему офицеру легче добиться до высшего начальствования, чем плохому, и что добрые качества храброго, но

вместе с тем искусного офицера растут под пулями и ядрами, а посредственность разоблачается.

Следует, однако, заметить, что, занимаясь теорией военного дела многие годы, Александр Васильевич относился к изучаемым предметам не рабски, а самостоятельно и свободно. Он вполне усвоил мысль, что нельзя, изучая великих мужей, ограничиться прямым у них позаимствованием, а тем более впасть в ошибку подражания.

Почти все добытое путем науки в Суворове перерабатывалось совершенно и принимало свое собственное обличие, которое иногда как будто отражало самый образец. Александра Васильевича не затягивало, не засасывало с головой, как бывает с учеными-теоретиками, не обладающими сильным умом. Он не искал в науке прямой утилитарности, как расположены, делать узкие практики-специалисты. Он знал, что теория подготавливает и развивает ум в известном направлении, но в деле приложения несостоятельна, ибо эта задача уже самого человека.

Суворов смотрел на приобретаемые зна-

ния как на склад всевозможных пособий для военной деятельности, но не рассчитывал требовать от изучаемой теории указаний, в каком случае какое пособие следует употребить. Он искал не столько частного, сколько общего. Основные начала военных операций неизменны во все времена и независимы от условий оружия и места, только применение их к делу изменяется. В древнее и новое время победы выигрывались благодаря одним и тем же первоначальным причинам, оттого изучение великих мастеров классический древности столь же полезно, сколько и позднейшего времени. Александр Васильевич не только их не боялся, но к ним пристрастился и считал их своими учителями.

Военный его гений, — замечает о Суворове граф Милютин, — несмотря на всю свою оригинальность, выработался под влиянием классических впечатлений. Чтобы довести до степени законченности предпринятое самообразование, Суворову нужно было иметь большую силу воли, а чтобы сладить с внутренним смыслом задачи, требовался обширный ум.

Александр Васильевич часто громил сарказмами «бедных академиков», не людей науки вообще, а бездарных теоретиков, не понимающих различия между наукой и ее применением, ибо, по его мнению, в приложении-то к делу и должна выражаться сила науки.

В то же время, будучи исключительно практичным, он не давал спуска и практикам-невеждам, говоря про них, что они, может быть, и знают военное дело, да оно их не знает.

Только утолив в известной степени свою жажду военных познаний, мог перейти Александр Васильевич к занятиям общеобразовательным, и это совершилось именно в описываемый нами период его жизни, когда он сделался уже вполне зрелым человеком. Может быть, благодаря тому обстоятельству, выросла в нем и окрепла в самую впечатлительную пору жизни ненасытная страсть военного славолюбия, которая прошла через все его существование и сделалась самым большим горем и самой большою утехой его жизни. Эта страсть, быть может, более, чем сделанная

над трупом Глаши клятва, спасла Суворова от увлечения женщинами и сделала его равнодушным к их прелестям. Слава — тоже женщина.

Из предметов общего образования история и литература стояли у Суворова на первом плане. Литературные знаменитости, предшествовавшие его времени и современные, были ему хорошо известны. Он любил их цитировать при всяком удобном случае. В описываемое нами время он не только любил читать, но пробовал и писать.

В Петербурге, при кадетском корпусе, составилось в царствование Елизаветы Петровны первое общество русской словесности и первый русский театр. Александр Васильевич, находясь по временам в Петербурге, посещал это общество и читал там свои литературные опыты. С автором «Россиады» Херасковым и Дмитриевым Суворов был в приятельских отношениях.

Литературные опыты Александра Васильевича написаны в любимой форме того времени, именно в виде разговоров в царстве мертвых. Беседуют Кортес с Монтесумой и Алек-

сандр Македонский с Геростратом. Монтесума доказывает Кортесу, что благость и милосердие необходимы героям. Во втором разговоре автор, сопоставляя подвиги Александра с поступком Герострата, старается показать разницу между истинною любовью к славе и тщеславной жаждой известности.

Суворов написал оба эти разговора в 1755 году и читал их в Обществе любителей русской словесности. При чтении делались замечания, которые Александр Васильевич охотно выслушивал, припоминал и, не выходя из собрания, делал поправки.

— Я боюсь забыть что-нибудь, — говорил он при этом, — я верю Локку что память есть кладовая ума, но в этой кладовой много перегородок, а потому и надобно скорее все укладывать, что куда следует.

Оба эти литературные опыта Суворова были напечатаны в 1755 году в издававшемся при Академии наук первом русском журнале под заглавием «Ежемесячные сочинения». Под первым разговором подписано «С», под вторым «А. С». Они не обнаруживают ни особенного богатства мыслей, ни литературного

таланта, написаны искусственным слогом, подходящим к сумароковскому, который в прошлом столетии довольно долго считался образцовым. В языке обеих статей нет ни малейшего намека на позднейший отрывочный, энигматический способ выражения Александра Васильевича, на его, сделавшийся вместе с ним бессмертным, русский лаконизм. Вернее было бы оба разговора принять не за сочинения, а за переводы, если бы не существовало свидетельство, что они оригинальные произведения суворовского пера. Но если бы даже эти статьи на самом деле были переведены, то они все-таки имеют цену для характеристики нашего героя, указывая на направление его мыслей, выражающихся в словах Монтесумы и Александра.

Таких взглядов Александр Васильевич держался постоянно, почти всю свою жизнь; это доказывает, что в молодости он обладал уже полным самосознанием и правилами, выработанными близким знакомством с историей и работой собственной мысли. Человек, вступающий на жизненное поприще с добытыми таким путем основаниями, не может не

иметь будущности. Суворов, — говорил о нем один иностранный писатель, — завоевал сперва область наук и опыты минувших веков, а потом победу и славу[12].

Служба Александра Васильевича, удалявшая его из строя, несмотря на довольно быстрое повышение в чинах, были ему далеко не по вкусу. Постоянные командировки отрывали от занятий. Он не имел в Петербурге своего угла.

Марья Петровна Андреева года через два после смерти Глаши, сходя в погреб, оступилась, упала на лед и сломала себе ногу. Это было в воскресенье утром. Работница была у обедни, с нею отправились и дети. По возвращении не тотчас начали ее искать, думая, что она куда-нибудь вышла, и Марья Петровна пробыла в погребе несколько часов. Ее вынули еле живую и отвезли в больницу. Кроме перелома ноги, у нее от простуды открылся тиф, который и свел ее через месяц в могилу. Наехали родные покойной, взяли детей и продали домик.

Александр Васильевич Суворов лишился своей «келейки», как он называл свою комна-

ту в доме Марьи Петровны.

XXII

Семилетняя война

Пруссия лишь с XVII столетия сделалась независимым государством и только в начале XVIII века возведена была на ступень королевства. Последнее складывалось и росло не долго, но быстро благодаря особенным качествам своих государей.

Фридрих Великий при вступлении на престол застал свое королевство все же сравнительно небольшим, с четырьмя миллионами жителей, и хотя не богатое, но отличавшееся устройством и хорошо организованной военной силой.

Фридрих II далеко не был тем глупым сыном, которому, согласно пословице, «не в помощь богатство», и это доброе наследие не осталось в его руках мертвым капиталом — он не был способен зарывать талант в землю.

Много было сделано его предшественниками, но еще больше оставалось сделать ему самому, чтобы поставить государство в такое

положение, в каком оно могло не опасаться за настоящее и спокойно глядеть в будущее.

За Фридрихом дело не стало. Он вмешался в спор давних непримиримых врагов — Австрии и Франции. Австрия была унижена. Богемия завоевана. Пруссия усилилась Силезией. Честолюбивые замыслы Фридриха и его способность привести в исполнение стали очевидны. Вследствие этого старые счеты были отложены в сторону, прежние враги соединились, и против Пруссии составила могущественная коалиция. Австрия, Франция, Польша, Саксония, Швеция, большая часть германских князей, а потом и Россия — таков был искусственный союз, грозивший самому существованию Пруссии.

Упорная война продолжалась семь лет, почему в истории и известна под названием «семилетней»; она то приводила Пруссию на край гибели, то возносила ее короля на высокую степень военной славы, и была замечательна еще внутренним своим смыслом, потому что не вызывалась существенными интересами союзников, и только одной Австрии могла принести большие выгоды.

Война уже давно была в полном разгаре — саксонский курфюрст уже бежал в свое польское королевство. Дрезден был занят, австрийцы всюду разбиты, а Россия все еще медлила принять в ней обещанное участие, как бы чего-то выжидая. Армия готовилась исподволь, не торопясь, главнокомандующий еще не был назначен, и вообще, при дворе, видимо, не спешили. Эта медленность сулила мало хорошего ввиду такого противника, как Фридрих.

Более всех объявлению предстоящей войны обрадовался Александр Васильевич Суворов, бывший в это время, как мы знаем, премьер-майором, и это так понятно: ему открывалась возможность выступить на боевое поприще, к которому он так усердно и с такою любовью готовился. Судьба, однако, не сразу побаловала его исполнением желания.

В Лифляндии и Курляндии формировались в то время для уже выступавших, наконец, в Пруссию пехотных полков третьи батальоны. Суворов был приставлен к этому делу, занялся им в 1758 году и затем послан препроводить 17 вновь сформированных батальонов в

Пруссию.

Радостно принял Александр Васильевич это поручение, несомненно, казалось, приводившее его к желанной цели — в действующую армию.

Случилось, однако, не так. В Мемеле были учреждены для армии продовольственные магазины, склады с разного рода военными запасами и госпитали. Суворов, сдав третьи батальоны, был назначен комендантом в Мемель в том же 1758 году. Это обстоятельство, — замечает биограф А. В. Суворова А. Петрушевский, сочинением которого мы, между прочим, пользуемся для настоящего труда, — доказывает, как Александр Васильевич мало еще был известен и в какой степени был чужд всякой протекции. Мальчик, отказавшийся от первой протекции, предложенной ему отцом, остался верен себе и в зрелые годы.

А между тем получить назначение в армию было делом очень легким, лишь бы нашлось кому замолвить словечко, так как в описываемое нами время все делалось из милости и по связям родства и свойства. Но

Александр Васильевич не хотел и не имел покровителей, а потому и должен был остаться в тени.

Военное время сравнительно с мирным бывает редко.

Для истинно военного человека, каким был Суворов с его подготовкою и славолубием, — видеть войну, проходящую перед глазами, и не принимать в ней участия — тяжелейшее испытание. Перед соблазном любимого дела спасовали гордость и самолюбие. Находясь в Мемеле, Александр Васильевич всячески искал себе выхода в армию и, наконец, добился.

В 1759 году, в чине подполковника, он получил новое назначение и поступил под начальство князя Волконского, а затем определен к генерал-аншефу графу Фермору дивизионным дежурным, то есть к исправлению должностей вроде дежурного штаб-офицера или начальника штаба.

Военные действия русских между тем шли очень неважно. Первая кампания 1757 года велась под главным начальством графа Апраксина. Медленно, черепашьим шагом

пришла русская армия, одержала победу при Грос Легендорфе, простояла целую неделю без дела и ушла назад в Лифляндию.

Кампания ознаменовалась грабежами и завершилась бедственным обратным походом в ужасную осеннюю распутицу. Во время последнего армия потерпела больше, чем понесла бы вреда от поражения. Отступление после победы произошло, несомненно, из соображений невоенных. Главною причиною этого странного события был наследник престола, благоволивший к прусскому королю, с которым государыня вела войну.

Сражение выиграно исключительно храбростью русской армии. Граф Апраксин был тут ни при чем. И он, и противник его, прусский фельдмаршал Левольд, соперничали друг с другом количеством наделанных ошибок, но пальма отрицательного первенства принадлежала все-таки графу Апраксину. Последнего сменили и назначили Фермора.

В 1758 году он занял покинутое королевство Прусское и медленными переходами пошел в Бранденбургскую монархию. Фридрих искусными маневрами оттеснил его и при

Цорндорфе атаковал с ожесточением, приведенный в негодование грабежами «русской орды», как называл он русскую армию.

Битва разыгралась яростная. С каждой стороны потеряли более трети людей, а результат получился ничтожный. Победа пруссаков была нерешительная. Каждая армия сохранила свою часть поля сражения, и обе на второй день отступили, боязливо наблюдая друг за другом.

В следующем году Фермор просил увольнения от главного начальствования и был заменен Салтыковым, но остался в армии, чтобы быть полезным отечеству, поступил под команду к Салтыкову и потом, по болезни последнего, предводительствовал армией опять, но лишь в смысле временного замещения главнокомандующего.

В этом-то году и прибыл в армию Александр Васильевич Суворов.

Первое дело, происходившее на его глазах, было занятие, в июле месяце, Крассена, в Силезии. Армия вслед за тем двинулась к Франкфурту-на-Одере, и к ней присоединился Лаудонь с 15 000 австрийских войск.

Фридрих между тем не терял времени. Собрав разные части войск, откуда только было возможно, он выступил с 48 000 человек, рассчитывая опрокинуть 80 000 армию союзников в Одер.

В августе, при Кунерсдорфе, произошло кровопролитное сражение, первое, в котором участвовал Суворов. В первый раз изменил тут Фридрих своему обычному благоразумию и убедил себя в победе, не видев еще неприятеля. К королю прибыл курьер от герцога Фердинанда Брауншвейгского с известием о разбитии французов при Миндане.

— Оставайтесь здесь, чтобы отвезти герцогу такое же известие, — сказал ему Фридрих.

Но самообольщение только усиливает горечь разочарования. Атака Лаудона с фланга решила битву, Фридрих был разбит наголову. Под ним были убиты две лошади, прострелен мундир, на него налетели неприятельские гусары, и прусская кавалерия едва спасла своего короля.

Пруссаки не отступили, а бежали в величайшем беспорядке. Бойня была страшная. Потеря убитыми и ранеными превосходила с

обеих сторон 35 000 человек. Большинство прусских генералов было ранено.

Тут Александр Васильевич Суворов впервые видел русские войска в настоящем деле, и в душе его сложилось убеждение, что с ними можно легко победить весь мир. Тут впервые назвал он русского солдата «чудо-богатырем» и это название сохранил за ним всю свою жизнь, так как не имел случая ни разу убедиться в его неправильности. Русские дрались с тем сознательным одушевлением, которое уже одно дает верный залог победы.

Некоторые подробности этого кровавого первого боя на всю жизнь запечатлелись в уме Суворова. Особенно памятна ему была фигура верховного знаменщика без головы. Несчастный карьером пронесся мимо него. Ядром ему сорвало голову, но левая рука крепко держала порученное ему знамя и при наступившей моментальной смерти, видимо, окоченела на древке, нижний конец которого был укреплен в стремях. Тело, лишившееся головы, держалось, таким образом, в седле, имея точку опоры в древке знамени, и мертвец-знаменщик мчался наряду с своими жи-

выми товарищами, охраняя даже за гробом святыню полка — знамя. Александр Васильевич любил рассказывать этот случай как пример доблести и безграничного повиновения долгу службы со стороны русского солдата.

Сражение при Кунерсдорфе, несмотря на одержанную блестящую победу, не принесло все-таки союзникам никакого результата. Судьба Пруссии находилась в руках союзников, а они говорили австрийцам: «Мы много сделали, теперь ваша очередь». В этом снова сказывались придворные влияния. Австрийцы же между тем бездействовали от нерешительности своего главнокомандующего — Дауна.

Начало известности

Фридрих Великий не преминул воспользоваться препирательством и разногласием между главнокомандующими союзников и, не прошло двух-трех недель, принял угрожающее положение.

Салтыков между тем окончательно рассорился с Дауном и, ссылаясь на невозможность продовольствовать армию в опустошенных местах, отступил на зимние квартиры и поехал в Петербург приносить бесплодные жалобы и давать бесполезные советы.

Еще год войны миновал без всякого толка. Даром пролиты реки крови, тысячи храбрых похоронены, другие тысячи искалечены.

Тяжелое впечатление производила эта бесполезная бойня на молодого Суворова, одаренного природной проницательностью и взглядом, просвещенным наукой. Он еще не командовал отрядом и, следовательно, не был погружен в интересы своего собственного ограниченного круга действий, загораживаю-

щего подчас сферу более обширную.

Александр Васильевич управлял штабом корпусного командира Фермора. На его глазах двигались главные рычаги войны, и он имел возможность критически относиться ко всему происходившему. Когда, после Кунерсдорфской победы, Салтыков остался стоять на месте и даже не послал казаков для преследования бегущего неприятеля, Суворов сказал Фермору:

— На месте главнокомандующего я бы сейчас пошел на Берлин.

Это замечание было не только характерно, но и верно.

«На войне все просто, — сказал один писатель, — но простота эта дается трудно». Что сделал бы Суворов на месте Салтыкова, того именно и боялся прусский король. Он писал королеве, чтобы она торопилась выезжать из Берлина с королевским семейством и приказала бы вывозить архив, так как город может попасть в руки неприятеля. К счастью Фридриха, он имел перед собой не Суворова, а Салтыкова.

Салтыков вернулся с чином фельдмарша-

ла и со строгим повелением вести энергичную наступательную войну. Но несогласие главнокомандующих пустило уже настолько глубокие корни, что мешало единодушному действию союзников. После некоторых передвижений русские удалились и разместились по зимним квартирам, ознаменовав эту кампанию лишь смелым партизанским набегом на Берлин.

Легкий отряд Чернышова, которым командовал Тотлебен, напал на этот город внезапно. Гарнизон Берлина состоял всего из трех батальонов. Поспешно бросились к нему на помощь небольшие прусские отряды. Пруссаков разогнали, и в то время, когда сам Фридрих спешил к своей столице, она была занята русскими, которые наложили на нее контрибуцию и, разграбив окрестности, в особенности загородные дворцы, поспешно ушли. На Берлин же направились австрийцы под предводительством Ласси, но опоздали.

В этом набеге участвовал и Александр Васильевич, но в этом участии не было еще ничего выдающегося. Начало известности было впереди. Он выказал лишь во время этого на-

бега на прусскую столицу свое человеколюбие вообще, и в особенности любовь к детям.

Казаки захватили на улице Берлина красивого мальчика. Суворов взял его к себе, заботился о нем во все продолжение похода и по прибытии на квартиры послал вдове матери мальчика — ее имя и адрес узнал он от ребенка — следующее письмо.

«Любезнейшая маменька! Ваш маленький сынок у меня в безопасности. Если вы захотите оставить его у меня, то он ни в чем не будет терпеть недостатка, и я буду заботиться о нем, как о собственном сыне. Если же желаете взять его к себе, то можете получить его здесь или же напишите мне, куда его выслать».

Мать, конечно, пожелала получить [13].

В этом же 1760 году Василий Иванович Суворов, находившийся по случаю открывшихся военных действий в Петербурге, был отправлен за границу для устройства продовольствия армии во время похода и поручение это исполнил, видимо, очень успешно, потому что назначен сенатором, а в декабре

губернатором занятого королевства Прусского, на место генерала Корфа.

В этой должности он состоял до апреля 1762 года и правил провинцией умно, успешно, заботясь об увеличении доходов, сам же жил скромно, давая лишь иногда балы для двух своих дочерей.

Наезжал к отцу в Кенигсберг на короткое время и Александр Васильевич, который продолжал служить при Ферморе и лишь в конце 1761 года получил новое назначение, уже вполне боевого характера. Несмотря на свое почти пассивное и лишь в редких случаях чрезвычайное незначительное участие в делах против неприятеля, Суворов-сын успел все же несколько выдвинуться из ряда. Его знали и ценили многие, в том числе и генерал Берг. Получив в командование легкий корпус, последний стал просить Суворова к себе.

В сентябре 1761 года последовал от главнокомандующего Бутурлина (назначенного на смену Салтыкову) приказ:

«Так как генерал-майор Берг выхваляет особливую способность подполков-

ника Казанского пехотного полка Суворова, то явиться ему в команду означенного генерала».

Таким образом, Александр Васильевич расстался с Фермором. Для обоих это было тяжело. Они сделались близкими людьми, и подчиненный пользовался особенным расположением начальника. Даже в старости Суворов хранил благодарную память о Фермере.

Почти тридцать лет спустя, в одном из писем своих к Потемкину, он вспоминал про давнего своего начальника с чувством неостывшей признательности и писал:

«У меня было два отца — Суворов и Фермор».

Под начальством генерала Берга началась боевая известность Суворова. Его боевой дебют был при деревне Рейхенбах, где он артиллерийским огнем заставил отступить неприятеля. Вслед за тем под Лигницем он выдержал, начальствуя одним крылом Бергова корпуса, сильный натиск пруссаков при атаке аванпостов прусской армии, предводимой королем, и отступил к своей позиций, ни на

пядь не подавшись назад.

Под Швейницею он непрерывно тревожил прусский лагерь. С шестьюдесятью казаками атаковал он гусарский пикет, занимавший, в числе ста человек, вершину холма, но был отбит. Немного спустя он повел вторую атаку, но также неуспешно.

Неудача раззадорила его. Он налетел на пикет в третий раз, сбил гусар, занял холм и удержал его за собою, а получив подкрепление, принял угрожающее положение и готовился к атаке, но наступила ночь, и пруссаки отошли в свой лагерь.

Прусский военачальник направился к Кольберу левым берегом Ворты. Суворов с сотнею казаков переправился вплавь через реку Истцу, сделал ночной переход более чем в 40 верст, подошел к Ландсбергу на Ворте, разбил городские ворота, положил до 50 прусских гусар и сжег половину моста на Ворте, так что Платен, должен был наводить понтоны и собирать местные лодки, через что и потерял немало времени.

Когда он двинулся дальше на Регенсвальд, Суворов, начальствуя 3-м гусарским и 7-м ка-

зачьим полками, тревожил и задерживал его с фланга, а при выходе из Фридбергского леса ударил на боковые Платеновы отряды и захватил много пленных.

В этих сравнительно мелких делах Александр Васильевич обнаружил такую отвагу, быстроту и умелость, что о нем было доведено до сведения главнокомандующего. Бутурлин представил его к награде, донося императрице, что Суворов «себя перед прочими гораздо отличил». Отцу его Василию Ивановичу он написал любезное письмо, свидетельствуя, что его храбрый сын «у всех командиров особливую приобрел любовь и похвалу». Действительно, он был везде первый и никакие трудности не уstraшили его.

Несколько раз жизнь его подвергалась серьезной опасности. Близ Старгарда он, гонясь за отступавшим неприятелем, увяз с лошадью в болоте и только благодаря подоспевшим ему на помощь драгунам выбрался благополучно. При Старгарде же он, с небольшим отрядом, был окружен пруссаками, требовавшими, чтобы он сдался.

— Я совсем не понимаю этого слова! — от-

вечал Суворов. — Ура! Вперед!

И с этим криком он пробился через окружавший его прусский полк, сохранив даже пленных, но бросив пушки. Надо заметить, что он сам с эскадронам гусар и 60 казаками дерзко атаковал с обоих флангов наступавший впереди полк. Пруссаки, озадаченные, подались несколько назад, потеряв две пушки и человек двадцать пленных, но скоро опомнились и окружили Суворова с его горстью людей со всех сторон. Этих-то пленных и сохранил Александр Васильевич, отчаянно пробившись сквозь неприятеля.

Близ города Голнау под ним убили лошадь. Он вскочил, стал перед фронтом и скомандовал:

— Бегом!

Несмотря на то, что отряд генерала Берга, и в особенности крыло, руководимое Суворовым, не давали прусскому генералу Платену покоя ни днем, ни ночью, против последнего нельзя было предпринять ничего решительного, так как у Берга не было ни пехоты, ни казаков.

Чтобы добыть и то и другое, Александр Ва-

Сильевич задумал отправиться к генералу Фермору и уговорить его помочь Бергу. Под вечер, с двумя казаками и проводником, въехал он в дремучий лес, которым ему надо было пробраться до лагеря Фермора. В лесу царил мрак, так как небо было покрыто тучами. Вскоре начался дождь. Всадники все более и более углублялись в чашу.

Спустилась ночь. Лошади выбились из сил, и, к довершению беды, всадники оказались завязшими в болоте. Дождь лил как из ведра.

— Куда ты нас завел? — крикнул Суворов проводнику понемецки. — Не заблудился ли ты?

Ответа не последовало.

— Эй, проводник, где ты? Отвечай же...

Проводник не отзывался.

Сверкнула молния, и при свете ее Суворов увидал лишь двух казаков, еле выбирающихся из болота, проводника же не было. Страшный удар грома раскатился по лесу. Суворов и оба казака истово перекрестились.

— Ребята, — обратился к ним Александр Васильевич, — проводник бежал.

— Кажись, что так, ваше высокоблагородие.

— Вот каналья, завел в трущобу, да и тягу. Ну, да Бог милостив, мы и сами выберемся.

— Тут едва ли выберешься, ваше высокоблагородие, — заметил один из казаков, — темень хоть глаз выколи, дождь ливмя льет, молния, гром.

— Это все хорошо... помилуй бог, как хорошо. Впотьмах нас никто не увидит, гром заглушает топот лошадей, дождь их освежает, а молния служит нам проводником. С Богом, ребята, перекрестимся и в путь.

Ободренные казаки собрали последние силы, выкарабкались из болота и стали на твердую землю.

— Куда теперь, ваше высокоблагородие? — спросил один казак.

— Куда, куда, кудакал, — передразнил его Суворов. — Мало тебе простора, что ли? Скачи куда глаза глядят. За мной!

Всадники поехали наудалую. Всю ночь проплутались они в лесу. Гроза утихла, дождь перестал. Небо очистилось, и на нем заигралась заря, предвестница утра. Наконец пока-

залось и оно, светлое, ясное, какое обыкновенно бывает после ночной грозы. Всадники ободрились.

— Лагерь видно, ваше высокоблагородие, — радостно доложил один казак.

Александр Васильевич посмотрел по направлению, указанному казаком.

— Лагерь-то, брат, лагерь, только не наш, а неприятельский.

Оба казака вздрогнули и бросились назад.

— Смирно! — повелительно крикнул Суворов.

Казаки повиновались, а Александр Васильевич стал слезать с лошади, проговорив:

— Помилуй бог, как хорошо, помилуй бог, как хорошо. Вы, ребята, — обратился он к казакам, — возьмите моего коня и засядьте в чащу за кустарником, там вас никто не видит.

— А вы куда же, ваше высокоблагородие?

— Сейчас вернусь, — ответил Александр Васильевич и стал пробираться вперед между кустарниками.

XXIV

Заговоренный

Александр Васильевич шел, согнувшись, а пройдя кустарник и очутившись на полянке, пополз по ней. Добравшись, таким образом, до группы деревьев, он вспомнил свое детство, когда в ветвях деревьев родительского сада прятался от своего старого дядьки, уже теперь лежавшего в могиле, и с прежней быстротою вскарабкался на самую вершину одного из самых высоких деревьев.

Перед ним, как на ладони, раскинулся неприятельский лагерь, лежавший от него на ружейный выстрел прусских часовых. Суворов на ветвистом дереве чувствовал себя, как дома. Он уселся на одном из самых надежных его суков, вынул свою записную книжку и принялся что-то чертить и писать в ней. Сделав, таким образом, точную съемку лагеря, Александр Васильевич спрятал свою книжку, спустился с дерева и снова, то ползком, то согнувшись в три погибели, то бегом, между высокими кустами вернулся к тому месту, где

его ожидали казаки. Последние были в большой тревоге. Увидав, что их подполковник пошел прямо, на так сильно испугавший их неприятельский лагерь, казаки послушно забрались вместе с конем Суворова в частый кустарник и притаились там.

— Ишь, понесла нелегкая его высокоблагородие. Прямо на него так и попер... — шепотом начал один казак.

Солдаты и казаки никогда не говорят «неприятель», «неприятеля», а заменяют эти слова многозначительными: «он», «его».

— Да, брат, чудак он тоже, его высокоблагородие.

— И впрямь чудак... Все ему хорошо... Немчура, проклятая работы задала — хорошо. Темно — хорошо, дождь — хорошо, гроза — еще лучше.

— А вдруг он его словит... — вдруг прошептал многозначительно один из казаков.

— Кого?..

— Да его высокоблагородие.

— Ни в жисть!

— А почему?

— Он заговорен.

— Кто?

— Подполковник.

— Как заговорен?

— Да так. Люди бают, что еще в младенчестве его старуха одна заговорила. Мне один солдат Казанского полка рассказывал. Добр, бают, он был сызмальства. Забрела в деревню к его отцу нищенка-старуха и встретить барчонка у барского двора... Сжалился он над нею и дал ей свой последний грош. Старуха палкой дотронулась до его головы и стала что-то бормотать. Мальчонка перепугался страсть, хотел бежать, ан ноги-то к земле что приросли. Отболтала свое старуха, да тут же на месте прахом рассыпалась. Барчук-то от страха так и присел. А потом сам об этом всем рассказывал.

— Что же она над ним говорила?

— Что, что, дубина ты стоеросовая, разве про то мы знаем. Не колдуны, чай, а православные христиане. Только, значит, заговорила. Ни пуля его, ни сабля не берет.

— Ан и врешь, он, слышь, ранен был.

— От смертельной раны заговорила. А так царапины-то на войне — клад.

— Клад?

— Вестимо дело, за них начальство кресты дает.

— Это верно. А вон, кажись, и его высокоблагородие.

— Он и есть.

Казаки, несмотря на то, что один из них был убежден, что начальник заговорен, а другой вполне поверил рассказу товарища, несказанно обрадовались и громко, почти весело произнесли последние слова.

Это был действительно возвращавшийся Александр Васильевич. Он вскочил на лошадь и крикнул:

— Ребята, за мной!

Все трое поскакали в противоположную сторону леса, где, по расчетам Суворова, должен быть расположен лагерь Фермора. Он не ошибся.

Прибыв в лагерь, он застал генерала Фермора готовящимся к соединению с Бергом и нападению на неприятеля. Добытые Александром Васильевичем сведения о неприятельском лагере явились как раз кстати. Не переменяя даже измокшего белья и платья, Суво-

ров вместе с отрядом, данным Фермором, пошел на соединение с Бергом, а затем двинулся на осмотренный им неприятельский лагерь.

Сражение началось, но первое выступление было неудачно. Русские передовые гусарские эскадроны были опрокинуты. Победа, казалось, уже была на стороне неприятеля, как вдруг, откуда ни возьмись, появился Александр Васильевич.

— Стой, куда вы?.. — крикнул он отступавшим гусарам. — Я здесь!

Отступавшие остановились.

— Стройтесь!.. — скомандовал Суворов, и все пришло в порядок, как на ученье.

Курбьер открыл, между тем, картечный огонь и построил оба свои батальона в каре, но они не выдержали яростной атаки подошедших к Суворову конно-гренадер и положили оружие. Тем временем приближалась прусская кавалерия.

Александр Васильевич собрал кое-как своих расстроенных гусар, прихватил часть казаков, смелым ударом опрокинул подошедшую кавалерию и затем забрал в плен большую

часть фуражиров находившегося вблизи отряда Платена.

Платен переменял позицию, отойдя за городок Гольнау и оставив в нем небольшой отряд пехоты. Русская артиллерия принялась разбивать городские ворота, но безуспешно. Генерал Берг дал Суворову три батальона и приказал завладеть городом. Утром он бросился к городу под сильным огнем, выломав ворота, ворвался в улицы, причем получил две незначительные раны. Город был взят.

Вскоре после этого ему дали во временное командование Тверской драгунский полк, до выздоровления полкового командира. Берг двумя колоннами, из которых левую вел сам, а правую, из трех гусарских, двух казачьих и Тверского драгунского полка, поручил Суворову, двинулся к Кольбергу, который и сдался 16 декабря.

Кампания 1761 года близилась к концу. Весть о подвигах молодого подполковника Суворова распространилась по всей армии, не только нашей, но и неприятельской. Только и было речей, что о нем. Солдаты полюбили его, как отца, а начальники сознавались в его

необыкновенной храбрости и редких военных дарованиях. Во всей армии не было человека, который бы не знал подполковника Суворова, между тем как большая часть солдат не знала даже многих старых генералов.

По выздоровлении командира Тверского драгунского полка Александру Васильевичу дали под команду архангелогородских драгун, и в общем представлении об отличившихся Румянцев поместил его, как кавалерийского штаб-офицера, который, хотя и числится на службе в пехоте, но обладает сведениями и достоинствами прямо кавалерийскими.

Перемена рода службы Суворова, однако, не состоялась.

Генерал Берг тоже отозвался о нем с большой похвалой, как отличном кавалерийском офицере, который быстр в рекогносцировке, отважен в бою и хладнокровен в опасности. Были, конечно, люди, которые приписывали все подвиги Суворова отчасти счастью, отчасти удали, не щадившей ни своей, ни чужой жизни. Но этот змеиный шип во все времена и у всех народов раздавался и раздается во-

круг великих людей.

Война с Пруссией продолжалась еще некоторое время. Несмотря на победы, одержанные русскими, несмотря на взятие Берлина, она была тяжела для России, и все с нетерпением ожидали ее окончания.

25 декабря 1761 года императрица Елизавета Петровна внезапно скончалась. По преданию, смерть государыни предсказала известная тогда петербургским жителям юродивая Ксения, могила которой на Смоленском кладбище и до сих пор пользуется особым уважением у народа. Ксения накануне кончины императрицы ходила по городу и говорила:

— Пеките блины, вся Россия будет печь блины!

Ксения Григорьевна была жена придворного певчего Андрея Петрова, состоявшего в чине полковника. Она в молодых годах осталась вдовою и, раздав все имение бедным, надела на себя одежду своего мужа и под его именем странствовала сорок пять лет, изредка проживая на Петербургской стороне, в приходе святого апостола Матвея, где одна улица называлась ее именем.

Но мы отклонились от нити нашего рассказа.

Со смертью императрицы были приостановлены наши военные действия. Фридрих был спасен. Борьба со слишком неравными силами становилась ему с каждым годом все труднее, а последняя кампания была уже актом отчаяния, так как прусские боевые силы спустились до каких-нибудь 50 000 человек новонабранного, кое-как обученного немецкого войска. Катастрофа, видимо, была недалеко.

Но в это время на престол вступил император Петр III, безграничный, экзальтированный поклонник и почитатель гения прусского короля. Петр III прекратил бесполезную и кровопролитную войну и заключил уже союз с Фридрихом II против Австрии, но внезапная смерть императора дала новый поворот делам.

На российский престол вступила императрица Екатерина II. Она сохранила дружеский союз с прусским королем, но не захотела действовать против Марии-Терезии и вызвала свою армию назад в Россию.

Александр Васильевич был произведен в полковники. Он оставил армию и возвратился в Россию в 1762 году. Отец его Василий Иванович также вернулся на родину, но уехали они в разное время. Последний был отозван тотчас по воцарении Петра III, так как слишком усердно соблюдал во время своего управления Пруссией русские государственные интересы, мало заботился о приобретении между пруссаками популярности. По всей вероятности, до Фридриха доходили невыгодные о нем вести, а этого было достаточно, чтобы сделаться неугодным Петру III.

Суворов-сын уехал позже. Он был послан в Петербург с депешами и, не застав императора в живых, представился императрице; собственноручным приказом ее 25 августа назначен командиром пехотного Астраханского полка. Он встретился здесь с отцом, бывшим одним из участников в деле восшествия на престол императрицы Екатерины II. Вскоре после этого Василий Иванович вышел в отставку и, награжденный пенсией, уехал на жительство в Москву.

Назначение Суворова командиром Астра-

ханского полка состоялось перед самым отъездом императрицы Екатерины II в Москву на коронацию. Полк остался в Петербурге, вместе со своим командиром, продолжая содержать городские караулы. По возвращении императрицы Астраханский полк был сменен на петербургской стоянке Суздальским пехотным, и Александр Васильевич назначен командиром этого последнего полка 6 апреля 1763 года.

Год простоял полк в Петербурге, затем отправился в Новую Ладугу, где, впрочем, пробыл недолго и снова возвратился в Петербург.

Получив полк в свои руки не временно, Александр Васильевич действительно принялся за его обучение по своей собственной методе, и результаты ее сказались на красносельских маневрах в 1765 году, где полк отличился перед другими и заслужил благосклонное одобрение императрицы.

Здоровье Александра Васильевича было в то время не особенно крепко. Он был очень худ и даже, как сам говорит в одном из своих писем, относящихся к тому времени, «подобен настоящему скелету, лишенному стойла

ослу, бродячей воздушной тени». Вообще, петербургский климат и вода, несмотря на длительное пребывание, вредно на него действовали.

Это обстоятельство, как приведенное письмо, доказывает, что «закаливание» Суворовым своего слабого организма было им достигнуто лишь в продолжении многих лет и, конечно, нелегко. Болезнь, однако, не мешала ему заниматься обучением полка: он все время был на ногах и никогда не позволял себе даже излишнего против назначенного отдыха.

Таким образом, прошло около пяти лет военных лет мирного времени.

Осенью 1768 года сказан Суздальскому полку военный поход. После учебного курса начинался боевой экзамен.

Этот поход был походом против польских конфедератов, в начале войны с которыми мы видели Суворова в одной из первых глав нашего правдивого повествования.

Часть вторая В узах Геменей

I

Сонное видение

В конце августа месяца 1771 года Москва представляла печальное зрелище.

Улицы даже днем были совершенно пусты — не было ни проезжающих, ни пешеходов. Изредка появлялись люди, но это были люди официальные, полицейские или чиновники, которых выгнала из дому настоятельная служебная надобность. Они шли или ехали торопливо, оглядываясь по сторонам, как бы чего-то опасаясь, как бы чуя за собою погоню.

С грохотом то и дело по улицам проезжали телеги, наполненные страшным грузом — почерневшими мертвыми телами. Телеги сопровождались людьми, одетыми в странную вощеную или смоленую одежду, с такими же остроконечными капюшонами на головах и в масках, из-под которых сверкали в большин-

стве случаев злобные глаза. Телеги медленно ехали по городу, направляясь к заставам, куда вывозили мертвецов — жертв уже с месяца как наступившего в Москве сильного мора.

Мор этот был чума, занесенная в Москву войском из Турции. Врачи предполагали, что ее впервые занесли вместе с шерстью на су-конный двор, стоявший тогда у моста за Москвою-рекою. Здесь с 1 января по 9 марта умерло 130 человек.

Следствие открыло, что на празднике Рождества Христова один из фабричных привез на фабрику больную женщину с распухшими железами за ушами и что она вскоре по привозе умерла.

Чума с быстротой переносилась из одного дома в другой, и в описываемое нами время мор был в самом разгаре. Жители столицы впали в совершенное уныние и заперлись в своих домах, сам главнокомандующий граф Салтыков, знакомый наш по Семилетней войне, бежал из Москвы в свою деревню. На опустелых, как бы покинутых жителями улицах там и сям валялись не убранные еще «мóртусами» — как назывались эти странные

люди в смоляных одеждах — трупы.

Такими же трупами были наполнены опустевшие дома, обыватели которых, оставшиеся в живых, бежали, — иногда же вся семья с чадами и домочадцами в несколько часов делалась жертвой моровой язвы.

Мортусы, набранные из выпущенных из тюрьмы колодников, так назывались тогда арестанты, крючьями вытаскивали мертвецов из домов и наполняли ими свои телеги. Но смерть не ждала, число ее жертв увеличивалось, и мортусы не успевали убирать трупы.

Над всей Москвой носился синеватый дымок. Это курились костры из навоза, считавшиеся предохранительным средством от заразы.

Заглянем в один из домов, которых еще миновал ангел смерти.

Это дом священника отца Иоанна Викторова Глобусова, близ церкви Всех Святых (на Кулишках). Ворота дома были на запоре, около них с внутренней стороны сильно курились два костра, и синий дымок тянулся кверху по светлomu августовскому воздуху.

Было 28 число этого месяца.

Соседние дома были пустынные — обыватели или вымерли, или бежали. В доме, стоявшем совершенно рядом с домом Глобусова, умирала последняя его обитательница — старуха. Она лежала, зачумленная, под окном, которое выходило на двор дома священника, и стонала.

«Пить... пить...» — слышалась ее полная внутренней боли просьба.

Отец Иоанн находился на дворе вместе с матушкой-попадьей и двумя сыновьями-подростками. Последние вместе с матерью были заняты устройством еще двух костров со стороны соседнего дома, где умирала старуха.

— Боже избави, кто из вас осмелится подойти к старухину окну, выгоню того на улицу и отдам негодяям.

Так тогда называли мортусов.

Сделав это внушение, сам отец Иоанн вынул из пламени самую обгоревшую палку, остудил ее, привязал к ее черному концу ковш, почерпнул воды и подал несчастной. Уголь и обгорелое дерево были тогда признаны за лучшее средство для очищения воздуха.

В это время в калитку постучались.

— Кого Бог несет? — спросил, приблизившись, отец Глобусов.

— Живой человек, пусти, батюшка.

— Знамо дело, живой, только живых теперь надо опасаться не хуже мертвых... Откуда?

— Да здесь, поблизости, батюшка, у нас ничего, спокойно...

— Не мрут?..

— Слава-те, Господи, благополучно.

— Да ты не врешь?

— С чего врать-то... Отцу-то духовному да врать...

Последний аргумент, видимо, смягчил батюшку.

— Да тебе какая надобность, сын мой? — уже более ласково спросил тот.

— Дело есть...

— Треба?..

— До требы ли теперь, батюшка... Я, собственно, насчет мора...

— Что же... насчет мора?.. — удивился священник.

— Значит, почему он настал?..

— А почему?..

— Да так, батюшка, говорить не сподручно... Это в двух словах не расскажешь; коли не хочешь слушать, я к другому попу поеду.

— Почему же к попу?..

— Дело божественное... Пусти, али прощенья просим...

Отца Иоанна заинтересовало это загадочное сообщение незнакомца.

— Постой, постой, не торопись, — сказал он, — я щеколду отодвину, а ты, войдя, все же окуришь...

— Известное дело окуруюсь... только все это напрасно, потому Божие послание.

— Так-то так, а пословица недаром молвится: береженого Бог бережет. Окуришь.

— Ладно...

Отец Иоанн отодвинул щеколду и сам быстро отошел от калитки. В последнюю вошел парень лет двадцати пяти, судя по костюму, фабричный, с обстриженными в скобку белокурыми волосами, с лицом, опущенным жидкой бородой, и усами, цвет которых был светлее цвета волос на голове, и с бегающими хитрыми серыми глазами.

Вошедший старательно стал окуриваться у костра. Он поворачивался во все стороны, наклонял голову, протягивал ноги, обутые в смазанные сапоги. Такое тщательное окуривание окончательно расположило к парню отца Иоанна.

— Довольно, сын мой, довольно... — сказал он. — Пойдем в горницу... Изрядно кажись, зажигайте, — добавил он, обратившись к жене и сыновьям.

Те начали исполнять приказание, и вскоре дым от четырех костров наполнил дворик и почти скрыл умиравшую в соседнем доме старуху, продолжавшую только повторять одно слово:

— Пить, пить...

Отец Иоанн прошел в сопровождении молодого фабричного в дом. В доме пахло смесью мяты, уксуса и деревянного масла.

В первой комнате, в которую священник привел своего гостя, в переднем углу стоял большой киот с множеством образов, перед которым горели три лампы. Священник размашисто перекрестился на иконы и сел на лавку.

— Садись! — указал он парню на табурет.

Тот тоже несколько раз осенил себя крестным знаменем и, поклонившись в пояс иконам, присел на край и стал вертеть в руках свою шапку.

— Ты кто же будешь, молодец? — спросил священник.

— Григорий Павлов... По фабрикам работаем, — уклончиво отвечал тот.

— Какая же, по-твоему, мору-то нынешнему причина? — спросил отец Иоанн.

— Причина-то, батюшка? — повторил фабричный.

— Ну да, причина мора-то?

— Божие наслание...

— Это само собой. Без Бога ни до порога, волос с головы не спадет без воли Божьей, в Писании сказано. Но ты говорил, что знаешь, почему он настал, мор-то...

— Знаю.

— Откуда же это ты знаешь?

— Откровение мне было.

— Откровение! — вытаращил на него глаза отец Иоанн.

— Сонное видение, батюшка, мне было в

позапрошлую ночь.

Григорий Павлов остановился и пытливо посмотрел своими хитрыми глазами на священника. Тот тоже подозрительно глядел на него.

— Что же тебе привиделось?

— Пресвятая Мать Богородица явилась мне, грешному, недостойному рабу.

— Что ты, милый, не врешь? Ведь грех смертный.

Фабричный на одно мгновение потупился, по его лицу пробежала легкая судорога, но он тотчас оправился и произнес:

— Как перед Истинным...

— Мать Пресвятая Богородица, говоришь ты, привиделась тебе?

— Верное слово, батюшка.

— В лучах?

— В лучах, батюшка, светлая-пресветлая, с младенцем на руках.

— Как иконы пишут?

— Точь-в-точь.

— Что же дальше?

— Повела она мне тайну страшную, отчего ныне по Москве мор такой идет.

— Отчего же?

— А оттого, говорила, что иконе Ее, что у Варварских ворот, уже более тридцати лет никто молебнов не пел, ни свечей не ставил. Слышь, батюшка?

— А это и впрямь истина, — заметил отец Иоанн. — Икону-то сию москвичи подлинно позабыли.

— Вот то-то и оно-то.

— А более ничего не сказывала тебе Царица Небесная? — спросил священник после некоторой паузы, уже совершенно серьезным, убежденным голосом.

— Сказывала... Сын мой, Иисус Христос, хотел, говорит, послать на Москву каменный дождь, но я умолила его послать только трехмесячный мор.

— Вот оно что, — развел руками отец Иоанн. — Это, сын мой, тебе доподлинно откровение.

Фабричный молчал.

— Ты никому этого сна не рассказывал?

— Никому, oprичь тебя, батюшка. Так и в уме положил рассказать все попу и взять у него благословение.

— На что благословение?

— Да на то, чтобы народу сон этот поведать.

— Как же ты его поведаешь народу?

— Как?! Стану у Варварских ворот с чашкой и начну на всемирную свечу собирать Пресвятой Богородице, да всем православным, проходящим свой сон и поведаю.

— Как бы от начальства, парень, тебе за это не досталось. Строго от начальства-то насчет этого. Смущает, скажет.

— Начальство! Какое теперь, батюшка, на Москве начальство... Главное-то по своим домам, что по норам, попряталось, а младшему не до того теперь, да и что же я затеваю, не воровство какое, дело божеское.

— Смотри, парень...

— Да ежели мне и попадет. Ужели претерпеть нельзя из-за Царицы Небесной?

— Не только можно, а должно, сын мой.

— Так благословите, батюшка.

Отец Иоанн встал, и некоторое время стоял в раздумье. Лицо его постепенно принимало все более торжественное выражение. Стоял перед ним и Григорий Павлов со склонен-

ной долу головой.

— Да благословит тебя Господь Бог, сын мой, тебя, избравшего орудием Его Святого Промысла, гласом Его Божественного Откровения, — прервал, наконец, молчание священник.

Парень склонился еще ниже. Отец Иоанн благословил его. Фабричный поймал его руку и прильнул к ней губами.

— Иди, сын мой, и да хранит тебя Бог.

Григорий Павлов истово перекрестился на иконы, поклонился поясным поклоном священнику и вышел. Отец Иоанн крикнул старшему сыну, уже находившемуся в соседней комнате с матерью и братом, чтобы он запер за уходящим калитку. Сын пошел исполнять приказание.

— Господи, Господи, дивны дела Твои! — вполголоса про себя говорил священник, ходя по комнате медленными шагами.

Он не заметил, как вскоре после ухода фабричного в эту же комнату вошла матушка-попадья. Он продолжал шагать из угла в угол по комнате, все повторяя: «Дивны дела Твои, Господи!»

— Отец, а отец, что с тобой? — окликнула его матушка-попадья.

— Ась? — остановился отец Иоанн.

— Я спрашиваю, что с тобой. Какие такие дивные дела рассказал тебе парень?

— Да, матушка, поистине дивные дела рассказал он мне, — начал отец Иоанн и передал своей жене слово от слова весь рассказ фабричного.

— Господи, Господи, вот страсти какие! Каменный дождь. Слава Ей, Царице Небесной, умолила Создателя смягчить гнев Свой над Белокаменной.

Попадья охала и крестилась. День уже склонялся к вечеру. До отхода ко сну проговорили священник с женою и сыновьями, которым отец повторил рассказ фабричного о привидевшемся ему дивном сне.

— Более, говорит, тридцати лет не пели молебнов и не ставили свечей. Как услышал я это, у меня сердце упало. Оно и впрямь икону-то Ея, Царицы Небесной, что у Варварских ворот, совсем позабыли, точно ее и не было.

— Разгневалась матушка, Пресвятая Богородица.

— Гневна, гневна, да милостива, умолила не губить совсем святой град.

В таком роде шли разговоры в доме священника.

На другой день сыновья отца Иоанна, а особенно матушка-попадья, не утерпели, чтобы не рассказать о сне фабричного соседям и соседкам уцелевших от мора домов, и к вечеру того же дня весть о сне фабричного во всех подробностях и даже с прикрасами с быстротой молнии распространилась по Москве.

Народ хлынул к Варварским воротам, где стоял знакомый вам парень с деревянной чашкой и действительно собирал деньги на «всемирную свечу» Царице Небесной и всем желающим рассказывал свой сон.

II Бунт

Чума между тем все продолжала выхватывать в Москве свои жертвы, которые ежедневно считались сотнями.

Главнокомандующий граф Петр Семенович Салтыков, как мы уже говорили, бежал в свое подмосковное имение Марфино. Вместе с ним уехали губернатор Бахметьев и обер-полицмейстер Иван Иванович Юшков.

После них чумная Москва подпала под деятельный надзор генерал-поручика Петра Дмитриевича Еропкина. Последнему именным указом было предписано, чтобы чума «не могла и в самый город Санкт-Петербург вкраться», и от 31 марта велено было Еропкину не пропускать никого из Москвы, не только прямо к Петербургу, но и в местности, лежащие на пути. Даже следовавшим через Москву в Петербург запрещено было проезжать через московские заставы. Мало того, от Петербурга была протянута особая сторожевая цепь под начальством графа Брюса. Цепь

эта стягивалась к трем местам: в Твери, в Вышнем Волочке и в Бронницах.

В самой Москве были приняты следующие гигиенические меры: в черте города было запрещено хоронить, и приказано умерших отвозить на вновь устроенные кладбища, число которых возросло до десяти, кроме того, велено погребать в том платье, в котором больные умерли. Фабричным с суконных фабрик было приказано явиться в карантин, неявившихся велено бить плетью. Сформирован был батальон сторожей из городских обывателей и наряжен в особые костюмы.

Полицией было назначено на каждой большой дороге место, куда московским жителям позволялось приходить и закупать от сельских жителей все, в чем была надобность. Между покупателями и продавцами были разложены большие огни и сделаны надолбы, и строго наблюдалось, чтобы городские жители до приезжих не дотрагивались и не смешивались вместе. Деньги при передаче обмакивались в уксус. Но, несмотря на все это, чума принимала все более и более ужасающие размеры.

Фурманщики, или мортусы, уже были не в состоянии перевозить всех больных в чумные больницы, которых было в Москве несколько. Первая из них была устроена за заставой, в Николо-Угрешском монастыре. Большая часть из мортусов сами умерли, и пришлось набирать их из каторжников и преступников, приговоренных к смертной казни. Для них строили особые дома и дали им особых лошадей. Они почти одни и хозяйничали в как бы вымершем, да и на самом деле наполовину вымершем городе.

Рассказ о виденном фабричным загадочном сне, а главное, появление самого сновидца у Варварских ворот оживило Белокаменную. На улице появились сперва небольшие кучки, а вскоре и целые толпы народа, направлявшегося к Варварским воротам.

Священники бросили свои церкви, расставили здесь аналои и стали служить молебны. В числе первых из них явился отец Иоанн. Икона помещалась высоко над воротами. Народ подставил лестницу, по которой лазил, чтобы ставить свечи. Очень понятно, что проезд был загроможден.

Во время эпидемий всякие сборища губительны. Бывший тогда московским митрополитом знаменитый Амвросий Зертись-Каменский приехал к Петру Дмитриевичу Еропкину посоветоваться, не убрать ли икону Варварской Божьей Матери в церковь.

— Не советую, ваше высокопреосвященство, время смутное, брать икону небезопасно.

— Но там, Петр Дмитриевич, собрали на нее в сундуке немалую сумму... Как с нею быть?.. Этот сновидец фабричный куда как мне подозрителен... Не мутят ли через него враги наши?

— Какие враги, владыко?

— А ляхи. Их много в Москве, а чай, вам ведомо, что они у себя против короля своего, поставленного нашей матушкой-царицей, бунтуют...

— Ведомо, ведомо... Только что же им Москва-то помешала? Кажется, лучше, чем у матери родной приняты да обласканы...

— Змеи они, Петр Дмитриевич, отогретые на груди... Хотя сан мой и не дозволяет осуждать, но он же велит мне говорить правду...

Поляк везде и всегда свою линию ведет и своей цели добивается.

— Но какая же цель тут?.. — недоумевал Еропкин.

— Цель — посеять внутреннюю смуту в России, чтобы отвлечь ее силы от внешних действий. Вон они силились вкупе с французом на нас Турцию и Швецию натравить... Им только чем ни на есть досадить нам... Вот что.

— А-а-а... — протянул Еропкин, и неизвестно, было ли это восклицание согласием с московским архипастырем или нет.

Наступило молчание. Оба собеседника сидели друг против друга в кабинете дома Еропкина.

— Так как же насчет иконы, Петр Дмитриевич?

— Мой совет, ваше преосвященство, не трогать... Опасно...

— А сундук? Деньги можно бы пожертвовать на Воспитательный дом.

— Сундук можно взять, я распоряжусь...

Разговор этот происходил 15 сентября 1771 года.

На другой день Еропкин, верный своему

обещанию, данному митрополиту, послал небольшой отряд солдат с двумя подьячими опечатать сундук Площадь у Варварских ворот была запружена народом. Подьячие, конвоируемые солдатами, благополучно добрались до денежного сундука, у которого стоял знакомый нам фабричный, окруженный слушателями, благоговейно внимавшими его рассказу о виденном им чудном сне.

— Матушка, Пресвятая Богородица, прости нас, грешных!..

— Царица Небесная, святая Заступница, охрани...

— Мати всепетая, Пречистая Богородица, помилуй...

Такие возгласы слышались вокруг. Подьячие начали обвязывать сундук принесенными с собой веревками.

— Бейте их!.. Богородицу грабят! — вдруг раздался возглас из толпы.

— Богородицу грабят! Богородицу грабят!.. — гулом пронеслось по площади от Варварских до Спасских ворот.

— Бей их, нехристей!.. Бей! — уже рычала через минуту возмущенная толпа.

Со Спасской башни раздался зловеший звук набата. Это звонили забравшиеся туда звонари-добровольцы. При звуках набата толпа еще более рассвирепела и с криками «Богородицу грабят» набросилась на подъячих и солдат. Они были избиты, сбиты с ног и буквально растоптаны народом.

— Это все попы орудуют... Они... — бросил кто-то в толпу.

— Они Богородицу грабят... — подхватил другой.

— Бей их! — закричала толпа.

Священники, к их счастью, успели уже убраться с площади.

— Тоже они народ подневольный. У них есть наибольший... Митрополит... Недаром он вчера ездил шептаться с Еропкиным! — крикнул какой-то чернявый парень в суконной поддевке, в нахлобученной на глаза шапке.

— Бить наибольшего... Бить митрополита... — заревела толпа, уже представлявшая из себя тот горючий материал, который вспыхивает от каждой искры.

Этой искрой могло служить каждое слово, как бы нелепо и неразумно оно ни было.

— Бить митрополита! Он Богородицу грабит! — раздались крики, скоро перешедшие в один неистовый крик, выходявший из многотысячной груди обезумевшей толпы.

Народ бросился в Кремль. Бог знает, откуда в руках народа появилось оружие и орудия. Ружья и тесаки были взяты, впрочем, у убитых солдат.

— Грабят Богородицу! — вопила толпа.

Ворвавшись в Чудов монастырь, толпа начала бить и рвать все попадавшееся ей под руку, не останавливаясь даже перед страшным кощунством, — мятежники срывали иконы, ломали их, топтали ногами. Чудовские погреба были тогда отдаваемы в наем купцу Птицыну. В них хранились бочки с вином. Погреба были разбиты — вино выпито. Оно подвигнуло народ на еще большие бесчинства. Не найдя митрополита Амвросия в Чудовом монастыре, толпа бросилась в Донской, куда по полученному ею, тоже бог весть откуда, известию отправился владыко.

Известие было, к несчастью, верно. Митрополит Амвросий, услышав звон в набат и видя бунт, сел в карету своего племянника, тоже

жившего в Чудовом монастыре, и велел ехать к сенатору Собакину. Тот от страха его не принял. Тогда владыко поехал в Донской монастырь, откуда послал к Еропкину просить, чтобы он дал ему пропускной билет за город. Вместо билета Петр Дмитриевич прислал ему для охраны его особы одного офицера конной гвардии.

Пока закладывали для Амвросия лошадей, толпа ворвалась в Донской монастырь. Митрополит увидел, что отъезд немислим, он отпустил офицера, отдал свои часы и деньги своему племяннику, все время находившемуся при нем.

— Спасайся... — сказал он дрогнувшим голосом.

— А как же вы, дядюшка?

— Я отдамса под охрану хранителя судеб человеческих — Бога.

Он действительно прямо из своих покоев прошел в церковь внутренним ходом, надев простое монашеское платье. Увидев, что чернь стремится в храм, Амвросий приобщился святых тайн и затем спрятался на хорах церкви. Бунтовщики кинулись в алтарь и

стали всюду искать свою жертву.

Они не щадили ничего, опрокинули престол, разбросали священные сосуды, иконы, книги. Увидя, что хоры заперты, они выломали дверь и бросились туда. Не найдя и там митрополита, они уже шли к выходу, когда находившийся среди них мальчик заметил в одной из ниш притаившегося несчастного мученика.

— Сюда, сюда, архиерей здесь!

Толпа с яростью накинулась на невинную жертву и потащила его из храма.

— Богородицу грабить!.. Мы тебе дадим Богородицу грабить!.. — редела толпа.

— Братья, — дрожащим от волнения голосом заговорил Амвросий, — се аз пред вами беззащитный. Ужели вы оскверните руки свои братоубийством? Паче этого, ужели поднимется рука ваша на поставленного над вами по воле Божьей архипастыря? Ужели я, честный служитель алтаря, польщусь на деньги, которые вы приносили как посильную лепту Царице Небесной? Я хотел охранить их от лихих, корыстных людей, чтобы употребить на богоугодное дело призрения

сирот. Образумьтесь, братья мои во Христе Боге нашем!

Эти слова архипастыря тронули многих. Толпа стояла несколько мгновений недвижно и молча.

— Чего глядите на него? Разве не видите, что он колдун и вас морочит? — слышался возглас.

Это говорил выбежавший из соседнего монастырского кабака дворовой человек Раевского Василий Андреев. Толпа дрогнула. Василий Андреев между тем вооружился колом и подскочил к митрополиту.

— Не грабь Богородицу, не грабь!.. Вот тебе!

Он ударил несчастного колом в левую щеку.

Митрополит упал, обливаясь кровью.

При виде этой крови толпа, как дикий зверь, бросилась на несчастного невинного страдальца. Негодяи добились архипастыря.

Покончив с митрополитом, убийцы кинулись было на Остоженку, к дому Еропкина, но тот уже успел вызвать стоявший в тридцати верстах от Москвы Великолуцкий полк, при-

нял над ним начальство и отправился с ним в Кремль.

Выехав из Спасских ворот, он увидел, что вся площадь была покрыта народом.

Петр Дмитриевич выехал вперед со своим берейтором.

— Расходитесь, братцы, расходитесь! — крикнул он толпе.

Вместо ответа толпа двинулась к Кремлю, и в Еропкина полетели камни и поленья. Одно из последних попало ему в ногу и сильно зашибло. Видя, что уговоры не действуют, Петр Дмитриевич скомандовал:

— Пли!

Из поставленных у Спасских ворот двух орудий раздались выстрелы. Они не сделали вреда толпе. Увидя, что убитых нет, народ продолжал двигаться к Спасским воротам с криком:

— Мать Пресвятая Богородица за нас!

— Пли! — скомандовал еще раз Еропкин.

Грянул выстрел, и по толпе рассыпалась картечь. Во многих местах раздались стоны раненых, были и убитые. Народ в страхе кинулся на Красную площадь и прилегающие

улицы, а за ним были посланы драгуны. Многие бунтовщики были переловлены. Петр Дмитриевич два дня не слезал с лошади и был первым во всех стычках с народом.

Наконец бунт был усмирен.

III

Смутьян

— Вот глупое быдло. Вот стадо баранов. Подлые холопы не сумели дело довести до конца. Испугались первой пушки и рассыпались, как трусливые зайцы! Тьфу! Даже вспомнить скверно.

Так волновался и отплевывался знакомый нам Сигизмунд Нарцисович Кржижановский, нервно ходя по устланному мягким персидским ковром кабинету-будуару.

Иначе нельзя назвать было эту комнату квартиры, занимаемой Станиславом Владиславовичем Довудским во Вражеском Успенском переулке, находившемся между Никитской и Тверской улицами, в которой находился и сам хозяин. Стоявший в ней письменный стол отходил невольно на второй план перед

доминировавшим в комнате туалетом со всеми необходимыми для заядлой кокетки принадлежностями. Мягкая мебель с вышитыми и бисером, и шелками подушками, всевозможного рода безделушки, бывшими бы как раз на месте в будуаре красавицы, дополняли убранство этой комнаты и делали ее именно соответствующей данному ей нами названию кабинета-будуара.

Сам хозяин вполне гармонировал убранству этого гнездышка. Свеженький, с иголки шелковый палевый халат, вышитый шелками, оттенял его, если можно так выразиться, «лощеную» красоту.

Расчесанный, подвитый, с выхоленными длинными усами и чисто выбритой бородой, он даже по неподвижности своей физиономии, с которой он слушал приятеля, казался скорее сделанной из папье-маше фигурой, чем живым человеком.

Совершенной противоположностью графу Довудскому и полной дисгармонией с окружающей обстановкой являлся Кржижановский. Одетый в русскую поддевку, высокие сапоги и шаровары, с всклокоченной причес-

кой и небритой бородой, он походил более на подгулявшего фабричного, чем на гувернера из княжеского дома, и, казалось, по ошибке попал в аристократическую квартиру.

Граф Довудский занимал целый флигелек, стоявший в глубине двора и состоящий из нескольких комнат, убранных также изящно и комфортабельно. Хотя он жил один с лакеем и поваром, но на всей обстановке его жилища лежал оттенок женской руки, или, это будет даже вернее, женских рук.

Когда Сигизмунд Нарцисович в сердцах плюнул, граф не переменил своего положения и только покосился на то место ковра, куда полетел плевок Кржижановского.

Будучи педантом чистоты и аккуратности, он не выносил «москального свинства», как он называл выходы Кржижановского, совершенно, по его словам, «омоскалившегося».

— Нет, ты посуди сам, сколько нам это стоило, чего стоило это мне! Уже с неделю я по несколько часов в день шныряю между народом в этом маскарадном костюме, подстрекаю, подзадариваю.

— Зачем? — лениво протянул граф Довуд-

ский.

— Как зачем? — остановился даже на полном ходу Сигизмунд Нарцисович. — Как зачем?

— Я спрашиваю, зачем? — снова повторил Станислав Владиславович.

— Да ты в уме ли? Разве ты забыл, что происходит там, у нас? Этот русский ставленник, разыгрывающий роль короля и ходящий на задних лапах перед Репниным, этим зазнавшимся москалем, осмеливающимся арестовывать неприкосновенных членов народного сейма. Они оба раздирают на куски нашу бедную отчизну, унизили нашу святую католическую церковь, предоставив полноправие еретикам-диссидентам.

— Гм... — вместо ответа промычал граф.

— Эх, посмотрю я на тебя, пан Станислав, что значит, всю жизнь возится с бабами. Сам ты стал баба бабой. Кажется, юбка для тебя милее отчизны.

Станислав Владиславович повел на приятеля своими блестящими глазами, которые, казалось, были подернуты маслом.

— В нелюбви к отчизне и в том, что я не

жертвую для нее, чем могу, меня, кажется, никто упрекать не может, да и не имеет основания. Сколько денег уже перешло через мои руки в конфедератскую кассу! Не думаешь ли ты, что мне приятно возиться с этим ходячим скелетом графиней Олизар или с этими толстопузыми москальками? Однако я вожусь, как ты выражаешься, с этими бабами, обираю их и для себя, и для отчизны. Графиня, конечно, жертвует отдельно на дело отчизны, но сумма этой жертвы зависит от большей или меньшей моей к ней любезности. А москальки, те дают только мне, и только за меня. Но я аккуратно одну треть отдаю в братскую кассу, ты, как ревизор, можешь осмотреть мои книги, в них записаны все мои доходы, и убедиться, что я не утаиваю ни копейки.

— Ты мог бы отдавать и половину, пан Станислав.

— Нет, не мог бы, — спокойно возразил граф Довудский, — я живу и так совершенно в обрез, но моя жизнь стоит дорого...

— Можно себя и стеснить для отчизны.

— Нет, именно для отчизны я и не могу стеснять себя, так как только путем такой

жизни я могу добывать те средства, треть которых идет на патриотическое дело, две же трети — это расходы.

— Но согласишься все же, пан Станислав, что твоя миссия из приятных и твоя служба отчизне не может назваться тяжелой.

— Этого тоже сказать нельзя. У меня есть на это способность, но ведь каждый и выбирает дело по способностям. Но подчас играть в любовь с каким-нибудь мастодонтом, от которого пахнет луком и потом, нельзя назвать приятным и легким. Наконец, графиня... — Все лицо Станислава Владиславовича исказилось выражением мучительного омерзения.

— Пусть будет по-твоему. Бывают, конечно, и неприятные экземпляры, но, в общем, попадаются и сладкие паненки.

Граф ничего не ответил и лишь презрительно усмехнулся. Сигизмунд Нарцисович не заметил этой усмешки и продолжал:

— Значит, занятие твое не без приятностей и удовольствия, между тем как я эти дни не только что измучился, но рисковал жизнью... рисковал заразиться этой хлопской болезнью... И все это для дорогой отчизны!.. —

хвастливо проговорил Кржижановский.

— Тут нечем хвастаться. Это одна глупость, — невозмутимо произнес граф.

— То есть как глупость? — вытаращил на него глаза Сигизмунд Нарцисович, остановившись посредине кабинета.

— Очень просто, — тем же спокойным тоном продолжал Станислав Владиславович. — Это все равно, если бы я залез на Ивановскую колокольню, бросился бы вниз и разбился вдребезги, заявив, что я это делаю для моей отчизны. Мне было бы больно, а отчизне ни тепло, ни холодно.

— Нелепое сравнение. Что же тут похожего на то, что делали эти дни я и другие наши?

— Что же вы делали?

— Как что? Мы исполняли целый хитро задуманный план. Ты знаешь ведь, что на фабриках, где много наших, ведется пропаганда католичества, и довольно успешно. Патеру Флорентию удалось убедить одного из таких новообращенных, сметливого москаля, что ему во сне было видение, что будто бы ему явилась Богоматерь, образ которой у Варварских ворот, — мы знали, что этот образ поза-

были москали, — которая сказала, что за то, что ей более тридцати лет не ставили свечей и не пели молебнов Бог хотел поразить Москву каменным дождем, но лишь по ее молитве смилостивился и наслал трехмесячный мор. Ты хорошо понимаешь, что прием гашиша, с предварительно умело патером Флорентием направленными мыслями москаля, сделало все это дело, и парень убежден, что действительно видел Богородицу и удостоился беседы с нею.

Кржижановский остановился.

— Что же дальше? Это становится интересным; я не знаю всех этих подробностей, — заметил граф Довудский.

— Подготовив его, таким образом, патер Флорентий послал его к одному из попов открыть тайну и испросить благословение на сбор денег на «всемирную свечу» Богородице. Поп дал благословение, рассказал о сне попадье, а та соседям, и в один день весть «о дивном сне» облетела весь город. Глупый парень начал успешно собирать деньги в сундук, данный ему патером Флорентием, и еще успешнее — рассказывать свой сон, даже

вполне убежденно, как это случается со многими, дополняя его своей фантазией. Народ разиня рот слушал его, и деньги сыпались в сундук патера. Попы выставили свои аналои и принялись служить молебны.

— Но ведь собранные деньги не могли попасть в наши руки, они должны были идти на пользу православных церквей, — вставил Станислав Владиславович.

— Нам и было на руку то, что так думал архиепископ Амвросий. Через близких к нему мы сумели натолкнуть его на мысль, что сборища у Варварских ворот вредны во время эпидемии и что сундук с деньгами следует опечатать, а то собранная в нем довольно крупная сумма может быть украдена. Амвросий полетел к Еропкину. О чем они там беседовали, я не знаю, только на другой день Еропкин распорядился взять сундук.

— И что же?

Это был самый удобный момент, чтобы взбунтовать чернь, и я, и несколько наших воскликнули: «Богородицу грабят!» Если бы ты видел, что произошло. Несчастные стряпчие и отряд солдат были положительно смя-

ты и умерли под ногами толпы, не успев крикнуть. Сундук исчез.

— Куда же он девался?

— Не беспокойся, он был доставлен в целости патеру Флорентию. В нем оказалось более двух тысяч шестисот рублей медью и серебром. Попы убрались восвояси, а то несдобровать бы и им. Я тогда крикнул: «Наибольшие грабят Богородицу». Крик этот был подхвачен, и толпа повалила в Чудов монастырь, а затем в Донской. Амвросий был убит. Еропкин остался цел только потому, что успел вызвать войска. Это глупое быдло испугалось первой картечи, и теперь все спокойно.

Последние слова Кржижановский произнес с явным сожалением.

— Но цель достигнута, деньги добыты, — проговорил Станислав Владиславович.

— Достигнута наполовину меньше, на одну десятую. Не такова была цель, для которой был составлен такой хитроумный план.

— Какая же?

— Возмутить всю московскую чернь, сообщить это возмущение окружным городам, довести его до Петербурга, охватить, наконец,

всю Россию и таким образом отвлечь внимание русского правительства от наших дел.

— Вот это-то я назвал глупостью, — заметил хладнокровно граф Довудский.

— Почему?

— Да потому, что русских можно взбунтовать не против Бога и царя, а за Бога и за царя, а такие вспышки скоропреходящи, так как ни их Бога, ни их царя никто у них не отнимет.

— В этом ты, пожалуй, и прав, — после некоторого раздумья заметил Сигизмунд Нарцисович.

— Так зачем же было рисковать собой, когда было ясно, что цель недостижима?

— А деньги?

— Какие это деньги!

— Ох, пан Станислав, не говори, две тысячи шестьсот рублей — все же деньги, а они так нужны, ой как нужны нашим братьям.

— Однако я пойду, переоденусь, сброшу с себя эту хамскую одежду, — сказал Кржижановский и прошел в следующую за кабинетом комнату, служившую спальней.

Граф Довудский остался сидеть, так же

неподвижно углубившись в чистку своих розовых, выхоленных ногтей.

Через четверть часа Сигизмунд Нарцисович снова появился в кабинете. Он был совершенно неузнаваем и по костюму, и по причёске вполне соответствовал понятию о скромном гувернере княжеского дома. Таким именно видели мы его в первых главах первой части нашего рассказа.

Несколько раз он прошелся, молча по кабинету. Молчал и граф Довудский.

— Тебе, пан Станислав, предстоит приятное дело.

Граф, углубленный в чистку своих ногтей, не отвечал ничего.

— Слышишь, пан?

— Слышу, какое?

— Надо будет увлечь княжну Баратову.

— Княжну Баратову? — встрепенулся Станислав Владиславович. — Александру Яковлевну?

Он бросил подпилочек для ногтей на стол.

— Да.

— Это невозможно.

— Невозможно для пана Станислава! Да

разве есть что-либо для него невозможное относительно женщин?

— Относительно многих, может быть, ты и прав, но относительно некоторых есть невозможное. К числу этих некоторых или, лучше сказать, во главе их стоит княжна Баратова.

— А хороша?

— Кривобокая...

— Даже этот недостаток не уменьшает ее красоты... В ее глазах целое море блаженства.

— Да ты, пан Сигизмунд, кажется, сам в нее влюблен... Разве уже твое сердце остыло к княжне Варваре? — хладнокровно прервал патетический монолог Кржижановского граф Довудский.

— Я не так непостоянен, как пан Станислав, но с княжной Александрой Яковлевной мы друзья, — отпарировал Сигизмунд Нарцисович.

— А я не могу похвастаться и этим. Напротив, при встрече в обществе она обдает меня такую холодностью, что я боюсь простудиться... При встречах же на улицах и бульварах она еле кивает мне головой почти с презри-

тельным видом.

— Значит, она тебя ненавидит.

— Похоже на это.

— Тем лучше, пан, ты знаешь французскую поговорку, что от ненависти до любви один миг.

— Ты несколько ее переиначил: от любви до ненависти, а не наоборот. Но не в этом дело, я постараюсь, не ручаясь за успех, хотя предвижу полнейшее фиаско. Это будет уж не моя вина.

— Конечно.

— Итак, княжна — твой друг.

— Да... Она любит со мной беседовать.

— А между тем брат твоего друга, как кажется, собирается причинить сильное сердечное горе... Я вчера слышал, что князь Владимир это лето и часть осени усиленно ухаживал за твоей княжной Варварой Прозоровской.

— Пусть, — дрогнувшим голосом произнес Кржижановский, — пусть он даже будет объявлен женихом, но мужем ее он не должен быть и не будет.

— Почему не должен?

— Потому, что его сестра, которая отдается в твое распоряжение, должна быть богаче, нежели она есть...

— То есть...

— То есть получить наследство после брата.

— И тобой приняты уже меры?

— Он будет лечиться от мигрени пилюлями патера Флоренция.

— А княжна Александра знает это?

— Она не захочет этого знать.

— При таких условиях я впоследствии могу, пожалуй, иметь у нее успех, — задумчиво произнес Довудский.

Раздавшийся звонок прервал беседу приятелей. Пан Кржижановский черным ходом отправился домой.

IV Герой

Слух, распространившийся в московских гостиных об усиленном ухаживании князя Владимира Яковлевича Баратова за княжной Варварой Ивановной Прозоровской, сообщенный Сигизмунду Нарцисовичу Кржижановскому графом Довудским, имел свои основания.

Всю зиму, предшествовавшую роковой зиме 1771 года, князь Владимир Яковлевич был постоянным, бессменным кавалером княжны Варвары на московских балах вообще и на балах и вечерах московского Дворянского собрания.

В Москве в описываемое нами время, до посетившего первопрестольную столицу несчастья, жилось весело и привольно. Здесь жило множество богатых и знатных бар, по зимам съезжались ближайшие и даже отдаленные помещики тратить получаемые оброки и вывозить дочерей в свет с целью пристроить их за «хорошего человека».

Балы и праздники сменялись одни другими в каком-то чудном калейдоскопе. Вечера дворянского собрания были положительно ярмарками невест.

Княжне Варваре Ивановне Прозоровской шел в то время семнадцатый год. Она была тем распускающимся бутоном, который пленяет взор своею свежестью и наполняет окружающую атмосферу тонким благоуханием, обонять которое составляет неизъяснимое наслаждение. Он имеет особенно притягательную силу для поживших людей, к которым, как мы знаем, принадлежал и князь Баратов.

После первой же встречи на балу с князем Иваном Андреевичем и княжной Варварой князь Баратов сделал визит и стал посещать дом. Он сумел понравиться старому князю своею почтительностью и, главное, умением слушать, качество, которое особенно ценят старики, любящие поговорить о старине, в молодых людях.

Нельзя сказать, чтобы мысль, что князь может представить блестящую партию для его дочери, не была одной из причин благоволения Ивана Андреевича к молодому челове-

ку.

Ухаживание князя Владимира Яковлевича за княжной Варварой отличалось таким тактом и сдержанностью, что молодая девушка невольно расположилась к своему новому знакомому, была с ним проста, наивна, откровенна и задумчиво-весела.

Князь, надо отдать ему справедливость, избрал один из удачнейших способов ухаживания за такими полудевушками, полудетьми, какою была княжна Варвара Ивановна. В большинстве случаев эти чисто товарищеские отношения переходят с течением времени в иное, даже подчас сильное и непременно прочное чувство. Но нет правила без исключения.

Случается, что такие отношения кристаллизуются в привычку, и сердце девушки-ребенка остается чуждым чувству любви в смысле проснувшейся страсти. Этот ее друг, почти брат, так навсегда и остается другом и братом.

Это-то и случилось с княжной Варварой Ивановной по отношению к князю Баратову. Их дружеские, по-детски со стороны княжны,

товарищеские отношения еще более крепилась тем, что княжна Варвара, несмотря на разницу лет, подружилась с сестрой князя, Александрой Яковлевной.

Княжна Варвара положительно обожала последнюю, и та за это внушенное ею чувство платила молодой девушке признательной привязанностью.

Оба княжеские дома стали в короткое время очень близко друг к другу. Это не осталось незамеченным московскими светскими кумушками, и те разнесли об этом весть по всем светским гостиным, где даже заговорили о сватовстве еще тогда, когда о нем не было и речи.

В мае 1771 года случилось обстоятельство, еще более подтвердившее эти слухи.

Князь и княжна Баратовы уехали в свое подмосковное имение, отстоявшее от города всего в двенадцати верстах. Это был чудный уголок природы, украшенный искусством. Все, что может придумать изысканный вкус и праздное воображение богатого барства, все соединилось в этом подмосковном родовом имении князей Баратовых.

Дом-дворец, убранный с царскою роскошью и стоявший в глубине роскошного парка с вековыми деревьями, окруженный цветником, где сочетание цветов ласкало взор, а их аромат разносился на далекое пространство. Грандиозные оранжереи со всевозможными заморскими фруктами, плодовый сад, великолепные купальни на зеркальном пруду и на протекавшей у подножия дома-дворца серебряной лентой Москвы-реки. Несколько десятин векового соснового леса, с расчищенными дорожками, давали прохладу и насыщали воздух здоровым смолистым запахом сосны.

Фонтаны самых причудливых форм, великолепные мраморные и бронзовые статуи украшали цветник и парк и делали поместье князей Баратовых одной из тех затей русского барства, которые становятся впоследствии историческими памятниками.

Первый год выездов с неизбежными тревожностями и далеко не регулярной сравнительно с прежней жизнью отразился на и без того слабом здоровье княжны Варвары Ивановны. Она стала жаловаться на грудь и слегка покашливать. Это сильно обеспокоило

князя Ивана Андреевича. Призванные доктора прописали отдохновение и сосновый воздух.

В уме князя Владимира Яковлевича, услышавшего от князя Ивана Андреевича этот совет докторов, мелькнула мысль, которую он не замедлил привести в исполнение. С помощью сестры он уговорил князя и княжну со всем семейством, то есть племянниками, учителем, Капочкой и нянькой княжны Терентьевной, переехать на жительство в Баратово, как называлось подмосковное имение князя Владимира Яковлевича.

Князь Иван Андреевич хотел ехать в свое имение, но, к несчастью, в окружающих его лесах сосна попадалась очень редко, и слава Баратова, как по преимуществу лесистого соснового места, в связи с советом докторов, было лучшим аргументом в пользу принятия этого любезного приглашения.

Княжеское семейство поднялось и выехало «погостить», как говорил старый князь, к Баратовым. Прогостили они вплоть до первых чисел августа.

Чума в Москве в это время начала уже

сильно косить свои жертвы среди простонародья. Оба княжеские семейства решили переждать с переездом в Москву до окончания страшной эпидемии, как вдруг мор начался в расположенном близ Баратова селе. Это была буквально повальная смерть, не щадившая никого. В несколько дней умерло несколько сот душ.

Оказалось, что чуму занес в Баратово из Москвы один фабричный, уроженец села. Отправляясь домой, из зачумленного города, он не утерпел и купил жене в подарок кокошник, принадлежавший, по-видимому, умершей от этой страшной болезни. Первою жертвою чумы пала жена этого фабричного, затем его четверо детей и, наконец, он сам.

С быстротою молнии болезнь перекинулась на другие избы, и скоро за несколько дней до того цветущее село стало громадным кладбищем.

Оба княжеские семейства поспешно выехали в Москву, где в то время еще эпидемия не принимала таких колоссальных размеров, что, впрочем, случилось весьма скоро. Князя Баратовы и Прозоровские попали из огня да в

полымя. Впрочем, в Москве в то время жило много знатных и богатых бар, и принятые меры спасали большинство от заразы.

Главный контингент жертв грозной чумы составляли бедняки и отчасти люди среднего достатка. Знатные богачи оградил свои дома, подобно неприступным крепостям. Привезенные из деревень запасы давали им возможность в течение нескольких месяцев выдержать это осадное положение. Выходивших из таких домов и входивших в них тщательно окуривали и опрыскивали прокипяченным уксусом, настоянным на травах. В таком осадном положении жило и семейство князя Ивана Андреевича Прозоровского.

Единственный человек, выходивший из дома «по своим делам», был учитель племянников князя Сигизмунд Нарцисович Кржижановский. Он завоевал себе это право, пользуясь влиянием на князя Ивана Андреевича, и тот даже с некоторым благоговением смотрел на него, как на человека, рискующего своею жизнью для своего ближнего.

Сигизмунд Нарцисович сумел убедить старика, что его отлучки связаны с организован-

ным будто бы им комитетом посильной помощи семействам умерших от чумы и он, как один из членов этого комитета, обязан рассматривать подаваемые письменные и выслушивать словесные просьбы.

— Смотрите только, берегите себя... Подумайте о нас, — заметил князь Василий Андреевич.

— Помилуйте, ваше сиятельство, — отвечал Кржижановский, — прежде чем думать о себе, я, конечно, подумаю о вас, о моем друге и благодетеле, и о всем вашем, драгоценном для меня, семействе... Но опасности никакой быть не может... В комитете мы надеваем другое платье, там имеются всевозможные обеззараживающие средства, при уходе из дома и при входе я, кроме того, тщательно окуриваюсь... Подумайте, ваше сиятельство, если бы все схоронились в своих домах, что стало бы с этими несчастными, они все бы были отданы исключительно в распоряжение мортусов. Нам удалось многих, ваше сиятельство, буквально вырвать из когтей этой страшной болезни, которая вместе и смерть... Для этого дела не грешно рискнуть и собою.

Сигизмунд Нарцисович все это произнес голосом, в котором слышались непритворные слезы.

— Вы благородный человек... У вас редкое сердце, Сигизмунд Нарцисович... — произнес также расстроенный князь Прозоровский.

Отлучки Кржижановского получили, таким образом, окраску геройских подвигов. Мы знаем цель этих отлучек и знаем, какого рода подвиги скрывались за ними.

Происшедший в Москве бунт был результатом любви к ближнему Кржижановского и компании. Этот бунт произошел так неожиданно быстро, мятежники, обагрив свои руки невинною кровью московского первопресвитера, также быстро были усмирены и переловлены, что, собственно говоря, были местности обширной Москвы, в которых даже не знали о происшедшем.

В доме князя Прозоровского весть о нем принес Сигизмунд Нарцисович. Он яркими красками описал возмущение народа, прибавив, что чуть сам не сделался жертвой разъяренной толпы, вздумав, было вразумить ее и остановить от дальнейших неистовств.

— Увы, мне не удалось, народ положительно обезумел... Я не дрогну, смотря в лицо смерти, но не хочу, и умереть бесполезно... Если бы я не удалился, толпа разорвала бы меня... Что мог я сделать один среди площади, наполненной бунтующей толпой?

— Вы герой, — почти с благоговением прошептал князь Прозоровский.

Это мнение о Сигизмунде Нарцисовиче как о рыцаре добра и чести и бесстрашном герое составилось, к несчастью, не у одного князя Ивана Андреевича.

В доме было два молоденьких существа, девственные души которых, чуткие к восприятию всего чудесного и героического, были увлечены этим их домашним рыцарем и молча, благоговели перед ним. Эти существа были княжна Варвара Ивановна и Капитолина Андреевна, или Капочка.

Подруги детства, они обе взапуски поглощали переводные романы в домашней библиотеке князя Ивана Андреевича и, настроив ими свое детски наивное воображение, искали идеала. Эти идеалы, однако, были у них различные.

Тогда как у княжны Варвары Ивановны образ ее друга князя Владимира Яковлевича Баратова положительно стушевался перед истинным рыцарем и героем, Сигизмундом Нарцисовичем, Капочка, отдавая последнему полную дань восторженного благоговения, все же своею мечтой останавливалась на князе Владимире Яковлевиче, который, казалось, специально был отлит в форму героя ее романа.

V

Молодой старик

По усмирении бунта Петр Дмитриевич Еропкин послал донесение императрице, испрашивая прощение за кровопролитие.

Государыня милостиво отнеслась к поступку Еропкина и наградила его андреевскою лентою через плечо, дала 20 000 рублей из кабинета и хотела пожаловать ему четыре тысячи душ крестьян, но он от последнего отказался, написав:

«Нас с женой только двое, детей у нас нет, состояние имеем, к чему же нам

набирать себе лишнее».

Вскоре по усмирении бунта в Москву прибыл присланный императрицей Екатериной князь Григорий Григорьевич Орлов. Он приехал в столицу 26 сентября, когда стояли ранние холода и чума уже заметно ослабевала. Вместе с князем Орловым прибыли команды от четырех полков лейб-гвардии с необходимым числом офицеров.

По распоряжению князя состоялось 4 октября торжественное погребение убитого митрополита Амвросия. Префект московской духовной академии Амвросий на похоронах сказал замечательное слово.

В течение целого года покойного поминали во все службы, а убийцам провозглашалась «анафема».

Казнь над преступниками была совершена 21 ноября. Убийцы Василий Андреев и Иван Дмитриев были повешены на том самом месте, где совершено убийство. К виселице были приговорены еще двое — Алексей Леонтьев и Федор Деянов, но виселица должна была достаться одному из них по жребию.

Остальных шестьдесят человек: купцов,

дьячков, дворян, подьячих, крестьян и солдат били кнутом, вырезали ноздри и сослали на каторгу в Рогервик. Захваченных на улицах малолетних высекли розгами, а двенадцать человек, огласивших мнимое чудо, сослали вечно на галеры, с вырезанием ноздрей. Сноvideц Григорий Павлов, несмотря на все принятые меры, разыскан не был. Он как в воду канул.

На месте, где был убит архиепископ Амвросий, в память этого прискорбного случая был поставлен каменный крест. К тому же времени относится приказ прекратить набатный звон по церквам и ключи от колоколен иметь у священников.

Князь Орлов многими благоразумными мерами способствовал окончательному уничтожению этой губительной эпидемии и восстановлению порядка. Он с неустрашимостью стал обходить все больницы, строго смотрел за лечением и пищей, сам глядел, как сжигали платья и постели, умерших от чумы, и ласково утешал страждущих.

Несмотря на такие высокочеловеческие меры, москвичи смотрели на него недруже-

любно и на первых же порах подожгли Головинский дворец, в котором он остановился. Впрочем, это было, кажется, делом руки польских изобретателей «чудесного сна», которым не нравились меры, приводящие к спокойствию в столице. Они жаждали смут и равнодушно смотрели на казни, оставаясь безнаказанными.

Народ же вскоре оценил заботы князя Орлова и стал охотно идти в больницы и доверчиво принимал все меры, вводимые Григорием Григорьевичем.

По истечении месяца с небольшим после его приезда императрица Екатерина уже писала ему, что он сделал все, что должно было истинному сыну отечества, и что она признает нужным вызвать его назад.

16 ноября князь Орлов выехал из Москвы.

От шестинедельного карантина на границе Петербургской губернии императрица освободила его собственноручным письмом.

Въезд Орлова в Петербург был чрезвычайно торжественен. В Царском Селе на дороге в Гатчину ему были выстроены триумфальные ворота из разноцветных мраморов, по рисун-

ку архитектора Ринальди. Вместе со множеством хвалебных надписей и аллегорических изображений на воротах красовался следующий стих тогдашнего поэта В. И. Майкова:

Орловым от беды избавлена Москва.

В честь князя была выбита медаль, на одной стороне которой он был изображен в княжеской короне, на другой же представлен город Москва и впереди в полном ристании на коне сидящим, в римской одежде, князь Орлов, «аки бы в огнедышащую бездну ввергающийся», в знак того, что он с неустрашимым духом, за любовь к отечеству, живот свой не сцадил. Кругом надпись:

«Россия таковых сынов в себе имеет»,

внизу:

«За избавление Москвы от язвы в 1771 году».

Рассказывают, что князь Григорий Григорьевич не принял самой императрицей врученные ему для раздачи медали и, упав на колени, сказал:

— Я не противлюсь, но прикажи перемене

нить надпись, обидную для других сынов отечества.

Выбитые золотом медали были брошены в огонь и появились с исправленной надписью:

«Таковых сынов Россия имеет».

Москва после отъезда князя Орлова стала приходить в себя исподволь, мало-помалу.

Залы Дворянского собрания оживились, заискрились огнями тысячи восковых свечей, бросавших свои желтоватые лучи на свежие лица и свежие туалеты и, переливаясь огнями радуги в многоцветных бриллиантах московских дам. Все закружилось в вихре танцев, под звуки бального оркестра. Ярмарка невест, после почти годичного перерыва, снова открылась.

Княжны Баратова и Прозоровская не пропустили ни одного вечера, ни одного бала. Несмотря на свой физический недостаток, княжна любила танцы — они молодили ее, — и танцевала она легко и без усталости. В кавалерах не было недостатка. Она была тем для всех привлекательным мешком, на котором было написано магическое слово «миллион».

Для такого прекрасного содержимого она была даже чересчур изящна и красива.

Московские женихи держались в деле выбора невест мудрого народного указания, выработанного, впрочем, по всей вероятности, в начале разложения народных нравов: «Была бы коза да золотые рога».

Княжна же Баратова была скорее похожа на «подстреленную газель», как назвал ее один из московских острословов, чем на козу, а притом все хором находили, что золотые рога ей к лицу.

С поклонниками своими княжна, как мы уже, если припомнит читатель, заметили ранее, обходилась с презрительной холодностью, зная, что они смотрят не на нее, а на тот «миллион», который написан на всей ее фигуре, что этот миллион заставляет их забывать ее физический недостаток, пресмыкаться у ее ног и расточать ей витиеватые комплименты.

Это был своего рода спорт в погоне за миллионом, и княжна служила призом.

Она знала это.

Не знали только спортсмены, что этот оду-

шевленный приз является еще, кроме того, и зрителем, и судьей.

При таких условиях взятие приза становилось почти невозможным, но не ведавшая этого самонадеянная молодежь старалась.

— Ужели ни один из этой раболепной толпы ваших поклонников не пробуждал в вас никогда ни искорки чувства? — спросил княжну Александру Яковлевну во время одного из балов Сигизмунд Нарцисович, с которым она сблизилась вовремя лета, при жизни под одной кровлей, и оценила в нем его практический ум и, как казалось ей, прямой взгляд на жизнь и на людей.

Он стоял у ее кресла в маленькой гостиной Дворянского собрания, куда она убежала отдохнуть от нескольких туров вальса.

— Из этих — ни один! — отвечала княжна, обмахиваясь веером.

— Но как же вы можете проводить с ними все свое время? Ведь скучно.

— Скучно?.. Нет... Разве скучно детям играть в куклы?

— Я вас, княжна, не понимаю...

— Для меня это все куклы, с которыми я иг-

раю! Меня занимает в них еще та особенность, что они считают и меня куклой, но набитой червонцами. Вся цель их добыть эту куклу, распороть, вынуть золото и бросить оболочку.

— Да вы, княжна, философ!

— Для того чтобы сделаться таким философом, как я, достаточно иметь немного наблюдательности и крошечку ума и провести с этими людьми только неделю...

— И они вам не надоедают?..

— Надоедают... Тогда я их меняю... Искателей моего состояния в Москве непочатый угол, приезжают даже из Петербурга в отпуск.

Княжна расхохоталась. Разговор на эту тему всегда оживлял ее. Сигизмунд Нарцисович окончательно залюбовался на нее. Сидя она была положительно красавица.

— И вообразите... они берут кратковременный отпуск... Эти блестящие гвардейцы... Он приезжают сюда «прийти, увидеть и победить». Это меня всегда более всего потешает.

В это время через гостиную прошел князь Владимир Яковлевич Баратов под руку с княжной Прозоровской.

Они не заметили сидевшей в глубине комнаты княжны Александры Яковлевны.

— Вот восхитительная парочка, — делано равнодушным тоном произнес Кржижановский.

Чуткое ухо княжны Александры Яковлевны заметило неискренность тона своего собеседника. Эта неискренность тем более поразила княжну, что она не ожидала ее от Сигизмунда Нарцисовича.

— Вы думаете? — недоверчиво ответила она ему вопросом.

— Что же тут думать, это думают в Москве все, а главное, это, кажется, серьезно думает сам князь Владимир Яковлевич.

Он остановился и пристально посмотрел на княжну Александру. Он был поражен со своей стороны промелькнувшим в ее глазах злобным огоньком. Последний не был для него неожиданностью, но его самого поразила его пронизательность.

— Я этого не думаю. Мой брат, по его словам, решился остаться холостяком, — отвечала она.

— Лед этих обетов быстро тает под солн-

цем невинных прелестей... Наивное выражение глаз, подобных глазам княжны Варвары, имеет действие тропической жары...

— Мне кажется, что он просто любит ее чисто братской любовью, даже, пожалуй, любовью отца. Владимир по жизненному опыту годится ей в отцы.

— Это опасные отцы, княжна, — как-то кисло улыбнулся Кржижановский.

— Вы меня совершенно поразили, — заговорила взволнованно княжна, — у меня не было даже никогда мысли о возможности этого брака... Varbe — ребенок, а мой брат — это молодой старик...

— Молодой старик — это верно, это очень метко и хорошо сказано... Но они самонадеянны, эти молодые старики, особенно в деле любви — они не могут свыкнуться с мыслью, что они своим пресыщением поставили себе непреодолимую преграду к наслаждениям любви, которые составляли когда-то все содержание их жизни... Они ищут этих наслаждений, думая найти их в женщинах, обладающих совершенно противоположными им качествами — невинностью и неопытностью,

забывая, что не им и не их дрожащими руками открывать для этих весталок светлый храм любви... Ваш брат, кажется, думает, что нашел эту весталку в лице княжны Варвары...

— И вы думаете, что у них это решено?

— Я ничего не думаю и ничего не знаю. Я только высказываю мое предположение, выведенное мною из наблюдений. Да и не один я, многие считают княжну Прозоровскую и князя Баратова женихом и невестой... Об этом даже говорит вся Москва, и только вы, княжна, по странной случайности, были на этот счет в неведении...

Княжна Александра Яковлевна молчала. По выражению ее лица было видно, что какая-то мысль томила ее, но она не решалась ее высказать.

Кржижановский несколько секунд наблюдал за нею, а затем продолжал:

— В семье Прозоровских князь, как блестящая партия, конечно, не встретит препятствия для осуществления своего опасного каприза — иначе как капризом я не могу назвать его желания жениться после так бурно проведенной им юности, отразившейся более

чем заметно на его здоровье... Я назвал этот каприз опасным, потому что этот брак может убить его...

— Убить... — повторила княжна Баратова, и в голосе ее, как заметил Сигизмунд Нарцизович, не прозвучало испуга, а скорее послышалась надежда.

— Да, убить... Конечно, не на другой день после брака, а через год, два и после него останется молодая вдова с ребенком... Это будет дитя смерти, плод последней вспышки жизненных сил отца. Для его вдовы это безразлично.

— Я вас не понимаю...

— У ней останется громадное состояние... При этих условиях она найдет себе любимого и любящего мужа.

— Вы рисуете Varbe чудовищем... — насильственно заметила княжна.

— Не ее, она дитя... Сердце ее молчит... За него исправляют должность светские толки и мнения... Она вся под их влиянием. Князь Баратов — кумир всех невест, значит, и ее кумир... Надо предупредить это несчастье.

— Но как?

— Этого не расскажешь в большой зале, тем более что где комета, там и хвост.

Сигизмунд Нарцисович указал на несколько кавалеров, шедших прямо к креслу княжны.

— Вы зайдите к нам как-нибудь после часа... — кинула Кржижановскому княжна Александра Яковлевна.

Тот, молча, поклонился и отошел от нее, уступив место подошедшим.

«Она не захочет знать», — мелькнула в его уме фраза, сказанная им графу Довудскому.

VI

Приговор подписан

Княжна Александра Яковлевна в продолжении нескольких дней в назначенные часы ждала Сигизмунда Нарцисовича. Он не являлся.

Эти напрасные ожидания действовали на нервы княжны. Она на самом деле, как сказала Кржижановскому, никогда не думала о возможности брака между ее братом и Варбе, как она называла княжну Прозоровскую. Брат

ей всегда говорил, что останется холостым, что он слишком бесполезно и быстро прожил свою собственную жизнь, чтобы решиться брать на свою ответственность жизнь других. В отношении его к княжне Прозоровской она, княжна Александра, ничего не заметила, кроме чисто дружеско-братской привязанности. Князь любил болтать с княжной Варварой, дразнить ее.

— Мне нравится в ней это капризное своеволие взрослого ребенка — это так идет к ней, — раз сказал ей князь Баратов.

— Но с годами это перейдет в деспотизм. Я очень люблю Варбе, но не завидую ее будущему мужу.

— В этом случае ты права. Я же смотрю на нее с точки зрения постороннего наблюдателя, а не с точки зрения супруга. С точки зрения последнего, я думаю, все вы не особенное золото, я иногда даже благодарю судьбу, что она вычеркнула меня навсегда из списка мужей.

Так говорил князь Владимир Яковлевич.

Княжна Варвара Ивановна тем менее подавала повод к подозрениям в ловле князя Ба-

ратова, как жениха. Она относилась к нему с чисто детской простой, дулась, сердилась на него, но никогда не кокетничала, да и вообще была совершенным ребенком, капризным, своевольным, для которого друг и подруга имели еще равнозначное значение. Князь был ее другом. Так она называла его во время перемирия, так как прочного мира у них никогда не было.

И вдруг Сигизмунд Нарцисович говорит о светских толках и о собственном, вероятно имеющем какие-нибудь серьезные основания, подозрении. Она знала Кржижановского за человека, не бросающего слова на ветер. Вдруг на самом деле брат Владимир задумал жениться на Varbe.

Мы знаем, что княжна Александра Яковлевна с горечью сознавала свой физический недостаток, знала цену власти над людьми, даваемой богатством, а эта власть, эта «игра в куклы» как сказала она Сигизмунду Нарцисовичу по поводу ее отношения к ее поклонником, была единственной возможной мстью людям за ее убожество, делающее ее несчастной счастливицей. В этом только и заключа-

лась вся ее жизнь.

Увеличить обаяние этой власти до возможных и даже до невозможных пределов было единственной мечтой бессердечной красавицы-урода. Ее собственное колоссальное состояние стало с некоторого времени казаться ей почти нищенским, особенно сравнительно с состоянием ее брата. Они действительно проживали общие доходы, и ей казалось, что ее личных доходов не хватило бы не только что на ту жизнь, которую она вела, но которую она еще намеревалась вести. Ее планы в этом отношении на самом деле требовали баснословных средств. Княжна с некоторых пор считала себя нищей, нахлебницей брата. Это было почти манией.

Ее стали посещать даже черные мысли; брат был слабого здоровья, он долго не протянет, она — единственная наследница. Вот тогда она заживет по-своему, самостоятельно. Так работало болезненное воображение княжны.

Женитьба брата, да еще с последствиями, предсказанными Кржижановским, вконец разрушала эти надежды. По странности чело-

веческой натуры, эта опасность неосуществления только изредка мелькавших в уме княжны надежд сделала их для нее более определенными, и ей казалось, что если она до сих пор жила, то жила только ими. И вдруг... все кончено.

Александра Яковлевна нервно ходила по комнатам, прислушиваясь, не раздастся ли от швейцара звонок, возвещающий прибытие гостя. С трепетом ожидала она доклада лакея. Последний не произносил фамилии пана Кржижановского. Сигизмунд Нарцисович рассчитанно медлил.

Он слишком хорошо знал человеческое, и в особенности женское, сердце. Ему нужна была княжна Александра Баратова как собеседница, именно доведенная до последней степени возможного волнения. Тогда женщина не сумеет удержать на себе маску благоразумия, тогда она незаметно для себя выскажет, впустит его в тайник ее души, а ему она именно и нужна была без маски. Сигизмунд Нарцисович не ошибся.

Когда через неделю после описанной нами беседы с княжной в гостиной Благородного

собрания он вошел, наконец, в гостиную княжны Александры Яковлевны, последняя, вопреки светскому этикету, почти побежала к нему навстречу. На губах пана Кржижановского появилась едва заметная довольная улыбка.

— Я вас ждала каждый день, — вырвалось у княжны, но она спохватилась. — Садитесь, — уже тоном светской девушки указала она гостю на кресло.

Сигизмунд Нарцисович сел. Княжна села напротив. Наступило неловкое молчание. Гость, видимо, не желал помочь хозяйке выйти из неловкого положения. Княжна задала несколько незначительных вопросов о семействе князя Прозоровского. Сигизмунд Нарцисович дал короткие ответы. Снова оба замолчали. Александра Яковлевна нервно теребила оборку своего нарядного платья.

— Вы меня тогда совсем поразили, — видимо с трудом начала она.

— Когда, чем? — с полным недоумением спросил Кржижановский.

— Тогда, в собрании, этим предполагаемым браком брата и Varbe.

— А-а!.. — неохотно протянул Сигизмунд Нарцисович.

— Я эти дни несколько раз думала об этом.

— И что же?

— Мне все более и более кажется это невероятным, скажу более, совершенно бессмысленным.

В голосе ее слышалась деланность тона. Это не ускользнуло от чуткого уха пана Кржижановского.

— Может быть, вы и правы, а я ошибся, — совершенно спокойно отмечал он. — Я вам передал лишь светские толки и мое мнение.

— Но это мнение на чем-нибудь да основано? — торопливо перебила его княжна Александра Яковлевна.

— Без сомнения.

— На чем же?

— На наблюдении и на знании людей.

— Что же вы заметили?

— Очень мало, но совершенно достаточно для того, чтобы убедиться, что князь влюблен.

— Вы думаете. Но я не заметила ничего такого в их отношениях, ни со стороны брата,

ни со стороны Варбе, — заметила княжна.

— Со стороны последней вы и заметить ничего не можете. Ее сердце не тронута, но предложение она примет.

— Это как же?

— Да так. Она воспитана в мысли сделать хорошую партию, а князь блестящая.

— Но со стороны брата? Я как-то даже имела с ним разговор.

Княжна Александра Яковлевна передала Сигизмунду Нарцисовичу, что говорил ее брат о нравящемся ему в княжне Варваре «капризном своеволии».

— Еще нашлось подтверждение моего мнения, — сказал последний, — сперва нравится каприз, а потом и сам ребенок; что же касается благодарности судьбе за то, что она вычеркнула его из списка «мужей», то эта красивая фраза, поверьте, сказана без убеждения.

— Вы думаете? — повторила княжна, видимо, лишь для того, чтобы что-нибудь сказать, так как сказать то, что было в ее мыслях, она не хотела.

— Думаю.

Снова наступило молчание. Княжна пер-

вая прервала его, хотя было видно, что ей стоит это немало.

— Брат снова проектирует на эту весну и лето совместную жизнь в Баратове как прошлый год.

— А-а!.. — протянул Кржижановский.

— Удобно ли это? Не следует ли мне отклонить.

— Зачем?

— Но если... как вы говорите... серьезно, — с расстановкой сказала княжна.

— Что серьезно? — продолжал безжалостно допрашивать свою жертву Сигизмунд Нарцисович.

— Да это увлечение брата.

— Но что же из того, если и серьезно? Княжна Прозоровская совершенно подходящая партия князю Баратову. Она такого древнего рода, а если у нее нет большого состояния, так князю Владимиру этого и не нужно.

— Это все так, но я... не о том, — совершенно запуталась Александра Яковлевна.

— О чем же?

— Но брат больной человек. Женитьба может окончательно подорвать его здоровье.

Ведь вы сами говорили.

— Князь взрослый человек. Он сам должен сообразить все это. Мы ему не гувернеры и не указчики.

— Но все же совет. Принять меры.

— Советов в этих делах не слушают. Меры же, какие же меры могли бы вы принять против этого. Выразить свое нежелание провести лето по-прошлогоднему будет странно, необъяснимо.

— Увезти его за границу, — ухватилась княжна.

— Он не поедет. Да о чем речь, княжна? Разве вы так на самом деле не хотите, чтобы князь женился?

— Но ведь вы сами напугали меня перспективой...

— Молодой вдовы с сыном? — невозмутимо продолжал Кржижановский, в упор, глядя на княжну Александру Яковлевну.

Последняя сперва вспыхнула, потом побледнела под этим взглядом.

— А что касается до вождеденного здравия князя Владимира, о котором вы так, по-видимому, беспокоитесь... — В голосе его прозву-

чала довольно заметная ирония, и он снова посмотрел на княжну.

Она потупила глаза и молчала.

— На этот счет я могу успокоить вас. Я, быть может, и весьма вероятно, ошибаюсь. Очень часто такие, с виду хилые, люди переживают здоровяков. Женатая жизнь, как более регулярная, может даже благотельно подействовать на его здоровье, и он доживет до почтенной старости, в любви и согласии со своей своевольно-капризной княгинюшкой.

Сигизмунд Нарцисович замолчал и снова уставился глазами на Александру Яковлевну, желая, видимо, знать, какое впечатление произвело на нее все сказанное им.

Впечатление это превзошло его ожидания. Княжна сидела перед ним, вся красная от волнения, глаза ее метали искры, руки уже положительно рвали оборку платья.

— Нет. Я этого не хочу. Этого не должно быть. Этот брак не должен состояться. Пусть лучше он умрет. Я этого не хочу.

— Не хочу. Этого мало сказать: не хочу. Я, быть может, тоже этого не хочу.

— Вы?

— Да, я.

— Почему?

— Если вы мне скажете причину, почему не хотите вы, то я скажу вам мою.

— Причина... причина... — растерянно произнесла княжна.

Она, видимо, хотела ее придумать, но это было довольно трудно.

— Не трудитесь подыскивать, княжна. Я ее знаю.

— Вы знаете? Княжна побледнела.

— Да, знаю. Вы единственная наследница.

Он не спускал с нее глаз. Она сразу поняла, что этот человек читает в ее сердце и мыслях.

— Пусть так. Вы угадали, — сдавленным шепотом произнесла она. — А ваша причина?

— Я люблю княжну Варвару.

— Вы?

— Да, я... И не хочу, чтобы она выходила замуж за человека, который не поделится со мной правами на нее.

Несмотря на свое волнение, княжна густо покраснела от этой циничной фразы.

— Князь окружит ее роскошью и негой. Она будет счастлива, и я буду забыт. Она не

должна быть счастлива. Она должна за счастьем прийти ко мне.

Кржижановский не говорил, но, скорее, думал вслух.

— Так, значит, вы мне поможете? — сказала княжна, когда он кончил свои думы.

— В чем?

— В том, чтобы расстроить этот брак.

— Послушайте, княжна, — вдруг переменял тон и совершенно серьезно заговорил Сигизмунд Нарцисович, — мы столько времени морочили друг друга, что пора и кончать. Если вы на самом деле твердо желаете, чтобы этот брак не состоялся, как желаю и я, то будем действовать.

— Да... да... — заторопилась согласиться княжна. — То есть, лучше сказать, буду действовать я, но помните, что вы мне сказали: «Пусть он лучше умрет».

— Что вы этим хотите сказать? — побледнела Александра Яковлевна.

— Ничего особенного. Предпринимая известное дело, я должен иметь в распоряжении все средства. Это будет последнее. Я вам сказал это лишь к сведению. Вы не должны

этого и знать и во всем этом деле не будете играть никакой роли. Я беру все на себя. Согласны?

Княжна молчала, низко опустив голову.

— Или, быть может, вам больше улыбается перспектива нянчить будущих детей вашего брата, наследников его громадного состояния?

— Хорошо... я согласна... — как-то особенно быстро сказала княжна.

— Вашу руку.

Она подала ее. Ее рука была холодна как лед. Приговор князю Владимиру Яковлевичу Баратову был подписан.

— Поездка в Баратово, значит, может состояться? — спросила княжна после некоторого молчания, уже совершенно спокойным тоном.

— Конечно. Она ничему не помешает, — ответил Сигизмунд Нарцисович.

— Он будет убит. Это огласится? — вдруг спросила Александра Яковлевна под впечатлением промелькнувшей мысли.

— Нет, — отвечал Кржижановский.

Несколько минут спустя он встал, поцело-

вал ее руку и удалился.

VII

В Баратове

Веселый конец так печально начавшегося в Москве зимнего сезона 1771/1772 года пролетел незаметно. Последний раз потанцевали еще на Фоминой, так как в этом году Пасха была сравнительно ранняя.

Затем наступило полное летнее затишье. Московский «большой свет» стал разъезжаться по своим вотчинам.

Снова село Баратово приняло в свои живописные объятия оба семейства, князей Баратовых и Прозоровских.

Пригласить провести лето по-прошлогоднему явился к князю Ивану Андреевичу сам Владимир Яковлевич Маратов. Иван Андреевич сначала отклонил «лестное», как он выразился, для себя приглашение.

— Надо пожить и у себя. Что же мы за бездомные такие, чтобы все по чужим углам ютиться, — заметил он.

— Вы и вся ваша семья, князь, — восклик-

нул князь Владимир Яковлевич, — для нас не чужие. Я, конечно, не смею надеяться, но если бы вы были расположены ко мне и к сестре, хотя на сотую долю так, как расположены мы к вам, то тоже не считали бы мой дом чужим углом.

— Благодарю вас за любезность.

— Это не любезность, любезность — слова, а я говорю, что чувствую.

— Еще раз благодарю вас.

— Нет, князь, я не уйду, пока вы не согласитесь на мое предложение. Мы проведем лето так же хорошо, как и прошлого года. Мне казалось, что вы и княжна Варвара Ивановна были довольны.

— Довольны, кто говорит об этом, но хорошенького понемножку, знаете присказку, — заметил Иван Андреевич.

— Если вы проведете с нами два лета — это и будет только хорошенького понемножку, этих, прошлогодних только, два месяца промелькнули совсем незаметно; их нельзя даже определить понятием «немножко».

— Нет, князь, не соблазняйте. Варя так вкопец избалуется в вашем дворце. Надо ее при-

учить и к ее гнезду.

— Гнездо девушки определить заранее трудно. Для гнезда же Варвары Ивановны наш деревенский дом слишком плох.

— Уж вы наскажете! — заметил Иван Андреевич. Довольная улыбка озарила лицо старика. Нельзя было сделать ему большего удовольствия, как отдать дань восторга его дочери.

— Княжна Варвара Ивановна так любит Alexandrine, а она платит ей со своей стороны таким восторженным обожанием, что разрознить их на целое лето было бы для обеих большим огорчением, притом княжне Варваре Ивановне так здорово дышать смолистым сосновым воздухом... Хотя княжна Варвара Ивановна, кажется, теперь, слава богу, здорова, но эта ужасная зима, а в конце все же некоторое утомление от балов не могли, вероятно, не отозваться на ее здоровье. В последний раз, когда я ее видел, она показалась мне бледнее обыкновенного.

— Вы заметили, — перебил его князь Прозоровский, — и мне тоже так кажется, но это все же не то, что прошлого года. Она, слава

богу, не жалуется ни на грудь, не кашляет. В деревне она восстановит окончательно свои силы...

— А было бы лучше еще хоть одно лето ей подышать сосновым воздухом. Посмотрите, что она окончательно укрепит свое здоровье... Еще только одно лето, князь.

В голосе князя Баратова слышалась почти мольба.

— Вы так просите, князь, но повторяю, нам совестно, что уже слишком...

Иван Андреевич, видимо, становился уступчивее. С присутим любящему отцу превеличенным опасением он думал о здоровье своей единственной дочери и находил, что князь, пожалуй, прав, что сосновый воздух Баратова, так чудодейственно повлиявший на княжну Варвару прошлого года, на самом деле укрепил бы ее здоровье окончательно. Кроме того — будем откровенны, — в настойчивости князя Баратова князь Прозоровский провидел нечто более светской любезности. Мысль видеть дочь за князем Владимиром Яковлевичем ему более чем улыбалась.

«Быть может, от этого лета зависит ее судь-

ба...» — мелькнуло в голове старика.

Это и было причиной его уступчивости.

— Почему это «слишком», что за совестно. Вы нас этим только обяжете, я и сестра просим вас сделать нам это удовольствие.

— Я, право, не знаю, князь. Я подумаю. Я поговорю с Варей.

— На Варвару Ивановну я напущу сестру, а потому ее голос будет за нас. В этом я уверен, а потому считаю вопрос о вашем согласии решенным утвердительно.

— Подумаю, подумаю, — повторил князь Иван Андреевич.

Владимир Яковлевич не настаивал и вскоре уехал.

Он действительно обратился к сестре. Та, почему-то, безотчетно для самой себя, вполне уверенная, что «свадьбе брата с княжной Варварой не бывать» именно потому, что так сказал Кржижановский, согласилась поехать и, конечно, уговорила княжну Варвару Ивановну. Последней так понравилось Баратово, что мысль ехать в свою деревню, в старый, покосившийся от времени дом, с большими, мрачными комнатами, со стен которых глядели на

нее не менее мрачные лица, хотя и знаменитых, но очень скучных предков, сжимала ее сердце какой-то ноющей тоской, и она со вздохом вспоминала роскошно убранные, полные света и простора комнаты баратовского дома, великолепный парк княжеского подмосковного имения, с его резными мостиками и прозрачными, как кристалл, каскадами, зеркальными прудами и ветлой, лентой реки, и сопоставляла эту картину с картиной их вотчины, а это сравнение невольно делало еще мрачнее и угрюмее заросший громадный сад их родового имения, с покрытым зеленью прудом и камышами рекой. Для молодого вкуса такое сравнение было слишком опасно.

Предупредительность князя Баратова, исполнение всех ее самых мимолетных капризов, и исполнение быстрое, как бы по волшебству, также и играло немаловажную роль в этом предпочтении Баратова отцовскому имению.

Княжна не забыла, да и не могла забыть одного эпизода прошлого лета. Гуляя в парке вечером, она раз заметила князю Владимиру Яковлевичу, что стоявшая в глубине парка

китайская беседка была бы более на месте около пруда, на крутом ее берегу, самом живописном месте парка. Она сказала это так, вскользь и через несколько минут даже забыла о сказанном.

Каково же было ее удивление, когда на другой день утром она нашла беседку перенесенной на указанное ею место. По приказанию князя беседка за ночь была перенесена десятком рабочих. Тогда-то первый раз она взглянула на князя Баратова с чувством, несколько большим, нежели чувство благодарности.

Княжна Варвара Ивановна, особенно с тех пор, полюбила эту беседку. Это, быть может, случилось потому, что она напоминала ей, что у ней есть власть — власть женщины, и это льстило ее самолюбию. Не увидеть это лето китайской беседки было для нее — это она чувствовала — большим лишением.

Князь с ловкостью опытного ловеласа сумел воспользоваться этим поворотом в его пользу сердца княжны и, продолжая предупредить ее желания, как летом, так и зимой, достиг того, что княжна Варвара Ивановна ес-

ли и не полюбила его, то привязалась к нему и скучала без него.

Прав был и Кржижановский. Ореол блестящей партии, окружавшей князя в московском свете, не остался без влияния на княжну Варвару, и мысль, что князь сделает ей предложение, стала улыбаться ей не менее, чем ее отцу, князю Ивану Андреевичу.

Уверенность Владимира Яковлевича оправдалась. Прозоровские со всеми чадами и домочадцами перебрались на лето снова к Баратовым. Московские светские кумушки решили окончательно, что князь Владимир и княжна Варвара — жених и невеста.

Совместная жизнь, несмотря на бдительный надзор Эрнестины Ивановны, давала возможность князю Баратову и княжне Варваре хотя и редко, но уединяться. Не знали они, впрочем, что кроме старой гувернантки за ними наблюдали еще два зорких, горящих ревностью глаза. Эти глаза были глаза Капочки.

Безгранично и, главное, безнадежно влюбленная в князя, молодая девушка первое время как-то свыклась с немым созерцанием сво-

его героя и довольствовалась тем, что глядела на него исподтишка, полными восторженно-го обожания глазами. Он ей казался каким-то высшим существом, близость к которому невозможна ни для одной женщины.

Не бывая на балах, она не могла наблюдать за отношением своего кумира к княжне Варваре, во время же первого проведенного в Баратове лета князь был очень сдержан.

Только весной 1772 года, когда князь перед отъездом в имение несколько раз был у Прозоровской, Капочка сделала роковое для себя открытие, что он ухаживает за княжной Варварой. Томительно сжалось ее сердце, и горькие слезы выступили на ее всегда задумчивые глазки. Она стала утешать себя, стараясь доказать себе, что она ошиблась, но червь сомнения уже вполз в ее душу, и она невольно стала примечать то, что прежде казалось ей простым и естественным, делая из всего этого свои выводы, и, к несчастью, все более и более убеждалась в горькой, ужасной для себя истине.

Любовь к князю, проснувшаяся ревность еще более усилились — в молодой девушке

заговорила страсть. Последняя часто клокочет там, где менее всего ее можно ожидать, — в этих худеньких, хрупких тельцах. По переезде в Баратово Капочка с еще большим рвением стала продолжать свои лихорадочные наблюдения.

Прошло около двух месяцев.

Стоял чудный июльский вечер. В тенистой части парка, прилегающей к пруду, царствовал тот таинственный, перламутровый полумрак, который располагает к неге и мечте. Несколько знакомые с характером Сигизмунда Нарцисовича читатели, быть может, удивятся, что он склонен был к мечтательности. Такие почти несовместимые качества встречаются в человеческой натуре. Быть может, впрочем, что мечтательность эта была простым отдохновением чересчур практического ума и сластолюбивой природы пана Кржижановского.

Сигизмунд Нарцисович медленно шел по аллее, вдыхая в себя полной грудью напоенную ароматом вечернюю прохладу. Вдруг вдали появилась знакомая ему грациозная фигурка Капочки. При виде ее мысли пана Кр-

жижановского приняли тотчас другое направление.

Уже более двух лет он неотступно ухаживал за «сильфидой-недотрогой», как он называл Капитолину Андреевну, и это самое название уже достаточно указывало на результаты его ухаживаний.

Мы знаем, что молодая девушка была полна благоговения к геройству и добродетелям Сигизмунда Нарцисовича, но это, увы, далеко не удовлетворяло его как ухаживателя.

Он проклинал в душе те самые мнимые доблести, которые, видимо, пробуждали лишь почтительный страх в грациозной Капочке. Ее тоненькая, готовая сломаться от дуновения ветерка талия, крошечные ручки и миниатюрные ножки, ее глазки, всегда подернутые какой-то таинственной дымкой, тонкие черты лица и коралловые губки дразнили испорченное воображение и пробуждали сластолюбивые мечты в Сигизмунде Нарцисовиче.

При виде Капочки все это охватило его, но он знал, по грустному опыту, что при встрече она сделает ему почтительный реверанс, а ес-

ли он заговорит с ней, то она будет отвечать ему, потупив глазки, с краской на лице и с таким выражением, которое так и говорит, что сделанная им честь, хотя и велика, но избавиться от нее ей все-таки хотелось бы поскорее. При первой возможности Капочка, сделав снова реверанс, убежала — так, по крайней мере, кончались все его с ней заигрывания. Он никак не мог попасть ей в тон — она, видимо, ни за что не решалась свести его с ею же ему созданного пьедестала. Как проклинал пан Кржижановский этот пьедестал.

Предвидя подобную же встречу, он даже не прибавил шагу навстречу шедшей прямо на него молодой девушке. Она между тем шла какой-то быстрой, неровной походкой. Наконец они встретились лицом к лицу.

Капочка, по-видимому, только теперь увидела Сигизмунда Нарцисовича. Последний, со своей стороны, удивленно оглядел ее. Его поразило ее странное состояние. Полные слез глаза были красны, молодая девушка вся дрожала.

— Сигизмунд Нарцисович, это вы, голубчик, это вы?..

Она схватила его за руку и как-то нервно сжала ее. Он остановился, пораженный тоном и смыслом ее слов.

— Капитолина Андреевна, что с вами, что случилось?..

— Ах, вы не знаете... Ведь они... они там!.. Она задыхалась.

— Кто они и где там?

— Князь и княжна... в беседке...

Она показала на видневшуюся, на той стороне пруда китайскую беседку.

— Ну, так что же?.. — удивленно посмотрел он на нее.

Слезы уже ручьями текли по ее пылающим щекам. Она продолжала нервно сжимать его руку, как-то наваливаясь на него всем корпусом. Видимо, она еле стояла на ногах. Он взял ее за талию, чтобы поддержать.

— Успокойтесь, объясните толком, почему вас так поразило, что брат и сестра в беседке.

— Не сестра, княжна Варвара!.. — как-то вскрикнула Капочка.

— А-а... — протянул Кржижановский. — Но что же тут необыкновенного... они гуляли и зашли отдохнуть.

Он медленно не вел, а, скорее, тащил ее, ища глазами скамейки. Скамеек в этой аллее не было.

В сторону вилась дорожка, оканчивавшаяся входом в круглый павильон с окнами из разноцветных стекол. Он был предназначен для питья кофе и убран в турецком вкусе. Вся меблировка состояла из круглого по стене турецкого дивана и маленьких обитых материей низеньких столиков. Сигизмунд Нарцисович направился туда со своей почти теряющей последние силы спутницей.

— Гуляли... зашли отдохнуть... — злобно прошептала она — Но они целовались...

— Целовались? А вы, почему знаете?

— Я за ними следила... Я давно слежу... — простонала она.

Они достигли павильона. Он почти поднял ее, чтобы ввести на три ступеньки входа, отворил дверь, ввел свою спутницу и, плотно затворив дверь за собою, усадил Капочку на диван и сел рядом. Она утомленно и, видимо, с наслаждением откинулась на спинку дивана.

— Следили... Зачем?..

— Как вы не понимаете... Я люблю его...

— Кого?

— Князя Владимира...

— Жениха княжны Варвары?

— Жениха?!

— Ну, да, жениха, это дело решенное... Оттого-то и Эрнестина Ивановна допускает их быть часто вместе и даже наедине...

— Вот как... — почти вскрикнула Капочка. — Теперь я все поняла...

Глаза ее уже были сухи от слез и горели каким-то зловещим огнем.

— О, как я ненавижу его...

— И я тоже...

— За что?

— За то, что вы любите его.

— Любила.

— Ну, хорошо, за то, что любили его.

— Но вам что до этого?

— Я отвечу вам вашей же фразой: как вы не понимаете, я люблю вас.

— Вы? Меня?

Она остановилась и как-то странно-пристально оглядела его.

— А вы даже этого не заметили, — с горе-

чью сказал он, — вы отдали свое сердце этой ходячей развалине, когда в этой груди бьется сердце, принадлежащее вам одной.

— Сигизмунд... Нарцисович... — сделала она паузу между этими двумя словами.

— И вы избрали меня поверенным вашего романа! Это безжалостно!

Он закрыл лицо руками.

— Но я не знала. Простите, — лепетала она, сиюсь отнять его руки от лица.

— Или вы будете моею, забудете этого наглумившегося над вашим чувством человека, или же я сегодня размозжу себе голову Я мог выносить это безответное мучительное чувство, когда я думал, что ваше сердце еще не знает любви, а теперь... Теперь я не могу.

Он глухо зарыдал.

— Но я не люблю его. Я его ненавижу, — шептала Капочка. — Перестаньте. Ведь я не знала, что вы меня любите. Я не смела даже думать об этом. Перестаньте.

Он продолжал рыдать.

— Мне все равно, — вдруг, видимо, с невероятным усилием выкрикнула она. — Я ваша.

— Моя, ты моя... — отнял он руки от лица и заключил ее в свои объятия.

Она не заметила, что на его глазах не было и следа слез, да и не могла заметить этого. Она была почти в обмороке. Мгновенно задуманная комедия была сыграна.

Для Капочки это было началом драмы.

VIII

Предложение сделано

Капочка пала. Неожиданно, быстро, почти бессознательно отдалась она Сигизмунду Нарцисовичу, о любви которого к ней она до объяснения в турецком павильоне даже не подозревала.

Окруженный ореолом «героя», человека, перед которым преклонялся сам князь Иван Андреевич, Кржижановский представлялся Капитолине Андреевне каким-то высшим существом, предметом поклонения, к которому нельзя было даже питать другого чувства. И вдруг этот человек говорит ей, что любит ее, что не переживет отказа во взаимности, что окончит жизнь самоубийством, если она не

забудет князя Владимира.

Капочка, как во сне припоминала это объяснение в павильоне. Она вспомнила также, какую неизведанной ею доселе злобой наполнилось ее сердце при упоминании имени князя Баратова, с какою ненавистью представила она себе фигуру его, целующегося с княжной Варварой. Ей вдруг пришло на мысль, что если она теперь поцелует Сигизмунда Нарцисовича, то этим отомстит ненавистному ей князю Владимиру, а главное, заглушит ноющую боль оскорбленного самолюбия. Под влиянием этой мысли она и произнесла решившее ее судьбу слово:

— Мне все равно. Я ваша.

«Ваша». Капочка едва сознавала всю страшную суть этого страшного в данном случае слова.

Она поняла его тогда, когда уже было поздно. Пан Кржижановский все еще продолжал покрывать поцелуями ее губы, щеки и шею.

— Оставьте, оставьте, — слабо простонала она.

Он поцеловал ее последний раз долгим поцелуем.

— Милая, дорогая, моя, моя навсегда... ведь моя?

— Твоя, — отвечала она, и что же было еще ответить ей.

— Как люблю тебя и буду любить всю жизнь!

Он проводил ее под руку до самого дома, ввел в широкий коридор, где находилась ее комната, и удалился, только убедившись, что она вошла к себе.

В Баратове Капитолина Андреевна имела отдельную комнатку. Это была уютная, светлая келейка, как прозвала комнату Капочки княжна Варвара, убранная со вкусом и комфортом. Мягкая мебель, пышная кровать, ковер и туалет составляли ее убранство. Шкап для платья был вделан в стену.

В этой-то комнатке и застаем мы Капочку на другой день после рокового для нее вечера, переживающую воспоминания о недавно минувшем. Завеса спала с ее глаз. Она поняла вдруг все, о чем еще вчера едва ли имела даже смутное представление.

Она поняла, прежде всего то, что Сигизмунд Нарцисович для нее близкий, родной.

Он любит ее... а тот... тот ее не любит, еще ужаснее — он любит другую. Она должна забыть его, она должна любить Сигизмунда. Он, конечно, на ней женится. Он не сказал этого ей вчера. Но это все равно. Он просто забыл сказать, но он женится. Он чрезвычайнейший человек. Герой... Так говорит о нем князь Иван Андреевич.

Все это отрывочными мыслями бродило в голове Капитолины Андреевны.

«Это нехорошо, что я сделала, — продолжала она думать. — Но я не виновата... я ничего не понимала и не начинала. А он? Он тоже не виноват. Он так любил... и давно, а я не замечала. Совсем как князь Владимир не замечал меня».

Князь Баратов против воли вспоминался Капочке. Она гнала самую мысль о нем, а эта мысль тем настойчивее лезла ей в голову.

«Я люблю его, Сигизмунда, моего Сигизмунда, — старалась она себя уверить. — Я люблю его больше князя».

После первого свидания последовали другие. Сначала все это было дико Капитолине Андреевне, потом она свыклась.

Сигизмунд Нарцисович, надо отдать ему справедливость, умел приласкать любимую женщину. Упоение этими ласками заставляло молодую девушку забывать и свое двусмысленное положение, а главное, «его», хотя последнее удавалось ей только временно.

Часто даже во время свидания Капочка невольно начинала разговор о князе. Ей нравилось, что Сигизмунд Нарцисович разделял ее ненависть к этому человеку. Она думала, что это происходит от ревности к прошлому, это не только ее удовлетворяло, но даже льстило ее самолюбию.

— Когда же свадьба? — спросила молодая девушка с деланной улыбкой в одно из таких свиданий.

— Никогда, — мрачно сказал Кржижановский, бывший в этот день в каком-то особенно возбужденном состоянии духа.

— Как? Никогда! — воскликнула Капочка.

В ее сердце шевельнулось минутное чувство надежды. Но разве теперь не все равно ей — будет или не будет свадьба, тотчас подсказал ей внутренний разочаровывающий голос. Ведь теперь она не принадлежит себе.

Она — его.

Капитолина Андреевна почти со злобой взглянула на Сигизмунда Нарцисовича. Это было, впрочем, одно мгновение.

— Так, никогда. Он умрет раньше свадьбы.

— Как — умрет?..

— Так, он еле дышит, весь больной, ослабленный.

— Разве?

— Что разве, ужели ты этого не видала и не видишь или, быть может, ты до сих пор влюблена в него?

Он сказал это таким резким тоном, что Капучка испуганно вскинула на него свои глаза.

— Я шучу, шучу. Моя хорошенькая девушка, — привлек он ее к себе.

— Как тебе не стыдно обижать меня подозрениями? Я его ненавижу. Я буду очень рада, если он умрет.

Она почти прошептала последние слова. Она говорила далеко не то, что думала, но ей казалось, что этой фразой она ещё более усугубит его раскаяние за нанесенную ей обиду. И она не ошиблась.

— Прости, прости меня, моя прелесть. Я по-

шутил. Я знаю, что ты меня любишь и больше никого. Но я не могу о нем вспоминать без злобы.

— Почему?

Он ответил не сразу.

— Да потому, что ты любила его.

— Ты ревнуешь к прошлому. Разве это можно?

— Как видишь. Что он сделал мне кроме этого... — сказал Кржижановский.

— О, мой милый, я так счастлива, что ты любишь меня. Что нам за дело, умрет он или не умрет, женится или не женится. Лишь бы ты был около меня, всегда... всегда... Ведь ты тоже не хотел бы со мной расстаться.

— Конечно. Как же иначе... Ведь я люблю тебя.

Она обвила его шею руками и прильнула к его губам горячим поцелуем.

Время шло.

Пролетел июль, август и половина сентября. Погода стала портиться, и осень вступила в свои угрюмые права.

Баратовы и Прозоровские переехали в Москву.

Князь Владимир Яковлевич еще не сделал предложения, повергая этим в большое недоумение князя Ивана Андреевича.

«Это что же такое? Неужели же я ошибся? Но по Москве уже ходят упорные толки об этой свадьбе. Дело становится неловким».

Старый князь был один со своими думами о дочери. Он никому не решился бы поверить их, даже Сигизмунду Нарцисовичу мнения которого он спрашивал по каждому, даже мелочному, хозяйственному вопросу. Ему казалось, что в этих его видах на богача-князя все-таки скрывается корысть, что Кржижановский взглянет на него своими черными глазами, какими, по мнению князя Ивана Андреевича, обладал его друг, и ему, князю, будет совестно.

Сигизмунд Нарцисович, впрочем, вскоре по переезде в город сам начал с ним разговор по этому мучившему его вопросу.

— Что, у князя с княжной Варварой все кончено?

— Что кончено? — испуганно спросил князь.

— Как что... Сделал он предложение?

— Нет, — отвечал старик и даже от волнения заерзал на диване.

Разговор происходил в знакомом нам кабинете князя Прозоровского.

— Странно, — задумчиво произнес Сигизмунд Нарцисович.

— Вы тоже находите, что это странно? — обрадовался старик, найдя в собеседнике сочувствие в мыслях.

— Нахожу, и даже нахожу более чем странным. Ну да это вопрос нескольких дней. Не нынче завтра он его сделает.

— Дай-то Бог, — не удержался князь Прозоровский, чтобы не выразить вслух так долго сдерживаемого им в душе желания.

— Успокойтесь, сделает, — с явной иронией сказал Кржижановский.

Иван Андреевич, занятый своими мыслями, не заметил этой иронии. Сигизмунд Нарцисович оказался пророком, это еще более возвысило его в глазах князя Ивана Андреевича.

В первых числах октября — разговор же князя с Кржижановским происходил в последних числах сентября — Ивану Андрееви-

чу доложили о приезде князя Баратова.

Владимир Яковлевич выбрал время, когда княжна каталась, а Сигизмунд Нарцисович занят был в классной со своими учениками. Князь был один, в своем домашнем халате. Он совершенно растерялся, но как-то почти моментально сказал лакею:

— Проси.

Не успел он удалиться в смежную с кабинетом комнату, чтобы переодеться, как на пороге уже появился князь Баратов. Он был в щегольском визитном костюме.

— Простите, князь, я так запросто, дома, — встретил его старик, старательно запахивая полы старенького халатика.

— Что вы, ваше сиятельство, что за церемония. Я именно и хотел вас застать врасплох и одних.

— В таком случае прошу садиться, — церемонно произнес князь Прозоровский.

Он почти догадался о цели визита князя.

«Ну, поляк что ни скажет, все точка в точку исполнится», — мелькнуло у него в уме.

Он уселся на свой любимый диван, указав князю Владимиру Яковлевичу на кресло.

— Я приехал к вам, князь, — начал последний, — по очень важному для меня делу, от которого зависит мое счастье, скажу больше, моя жизнь.

— Я вас слушаю, я вас готов... — проговорил Иван Андреевич делано официальным тоном.

— От вас, конечно, не ускользнуло то исключительное внимание, почти обожание, которое я в течение последних двух лет осмеливался оказывать вашей дочери.

— Гмм... — промычал старик.

— Я люблю ее, князь. Если я так долго медлил и не заявлял об этом чувстве княжне Варваре, то это происходило лишь потому, что я, как человек не первой молодости, старался убедиться в силе этого чувства, в том, что это не один каприз влюбленного. Я убедился в этом окончательно в это лето, как убедился и в том, что я далеко не противен княжне. Я имею честь просить у вас руки вашей дочери.

Князь Баратов остановился и посмотрел на князя Прозоровского.

Кто видел последнего несколько минут тому назад, не узнал бы его. Он сидел, выпря-

мившись, с серьезным видом и каким-то торжественным выражением лица.

— Благодарю вас за честь, князь, я не неволю свою единственную дочь, а потому спрошу от вашего имени ее согласия. Что же касается меня, то я его вам изъявляю.

— Благодарю вас, князь. Вы делаете меня счастливым.

— Не торопитесь. Подождите, что скажет Варя.

— Я надеюсь и с ее стороны на благоприятный ответ, и поверьте, что я сделаю со своей стороны все, чтобы ваша дочь была счастлива.

— Надеюсь, она стоит этого, — с гордостью произнес Иван Андреевич.

— Когда же вы мне позволите заехать узнать окончательное решение? — спросил князь Баратов.

— Хоть сегодня вечером, если вы уже так нетерпеливы.

— Благодарю вас.

Он встал, простился и уехал.

Князь Иван Андреевич остался один и стал мелкими шагами почти бегать по кабинету.

Это у него было всегда признаком необычайного волнения.

Окончив свои занятия с учениками, Сигизмунд Нарцисович, по обыкновению, прошел в кабинет играть с князем в шашки.

— Вы положительно пророк! — встретил его восклицанием Иван Андреевич.

— А что?

— У меня только что был князь Баратов.

— Ну?

— И сделал предложение Варя.

— И вы?..

— Я дал свое согласие, но сказал, что окончательно пусть решит она сама. Он приедет сегодня вечером.

На губах Кржижановского шевельнулась злобная улыбка.

— Я ведь вам на днях, ваше сиятельство, говорил, что этим кончится.

— Вот потому-то я и говорю, что вы пророк. Вы всегда правы.

— Значит, поздравляю!..

— Не знаю, как Варя... — с хитрой улыбкой отвечал Иван Андреевич.

— Полноте... Вам самим смешно, ваше си-

ительство. Княжна Варвара Ивановна, конечно, согласится.

— Кажется, и здесь вы окажетесь пророком.

— Непременно.

— Ну, давайте, сразимся, — весело сказал старик князь. Они уселись за шашечный стол.

— Ох, уж и играть с вами. Ох, тяжело, — говорил Кржижановский, расставляя шашки.

— Толкуйте. Опять меня загоняете.

— Вас и загоняешь, ваше сиятельство, своими боками.

— Ха, ха, ха... Бьет, да еще посмеивается.

— Кто кого бьет-то? Вам начинать. Вы вчера последнюю партию взяли.

Князь двинул шашку. Оба углубились в игру и замолчали.

По обыкновению, они играли вплоть до самого обеда.

За обедом князь Иван Андреевич ни словом не обмолвился о посещении князя Баратова, и лишь когда вышли из-за стола, он обратился к дочери, подошедшей поцеловать его руку.

— Варя, зайди ко мне в кабинет.

Та вскинула на него глаза, пораженная тоном, которым была сказана эта фраза, и послушно последовала за отцом. Князь впустил дочь и затворил наглухо двери.

— Садись.

Княжна села, все продолжая с недоумением и даже с каким-то страхом смотреть на отца.

Тот несколько раз прошелся по кабинету и, наконец, остановился перед ней.

— У меня сегодня был князь Владимир Яковлевич Баратов.

Княжна молчала.

— Ты догадываешься о цели его раннего визита? Он приехал именно тогда, когда ты, по обыкновению, катаешься.

— Нет, папа!

— Он приезжал просить твоей руки.

Княжна Варвара Ивановна вся вспыхнула.

— Я со своей стороны дал ему свое согласие, но сказал, что тебя не неволю и окончательное решение зависит от тебя. Конечно, князь — лучшая партия в Москве, но брак без склонности, без любви не может быть счастли-

лив даже среди довольства и роскоши, золотая.

Князь замолчал и снова мелким шагом забегал по кабинету. Княжна Варвара Ивановна тоже сидела молча, низко опустив голову.

— Ты любишь князя?.. — остановился перед ней отец.

— Он мне нравится, — подняла на него глаза княжна Варвара.

— Ты предпочитаешь его другим?

— Да, папа!

— Ты согласна быть его женой?

— Как вам угодно.

— Не мне... Я спрашиваю, как тебе угодно. Ведь не я собираюсь за него замуж! — рассердился князь.

— Я согласна, — отвечала княжна.

— Ну, дай я тебя поцелую и будь счастлива.

Князь Иван Андреевич взял дочь за голову и поцеловал в лоб. Княжна поцеловала его руку.

— Князь Владимир приедет сегодня вечером.

— Сегодня? — побледнела княжна.

— Да. Ты, во-первых, принарядись хорошенько и сама лично можешь сказать ему о своем согласии.

Княжна снова покраснела как маков цвет.

— Ступай, деточка, ступай. Князь — хороший человек. Ты будешь счастлива.

Варвара Ивановна вышла.

Вечером приехал князь Владимир Яковлевич.

Княжна приняла его сперва смущенно, затем освоилась с мыслью, что он ее жених, и сама выразила ему свое согласие.

По обычаю того времени князь Иван Андреевич тут же благословил их образом, переходившим из рода в род для этой цели. Князь Владимир Яковлевич был в восторге.

С утра другого же дня на княжну Варвару посыпались подарки жениха в виде букетов и драгоценностей.

Через несколько дней князь Прозоровский дал официальный обед для своих близких знакомых, на котором его дочь и князь Баратов были объявлены женихом и невестой.

IX

Пилюли патера Флорентия

Прошло около двух месяцев.

В доме князя Ивана Андреевича Прозоровского господствовало необычайное оживление. Привезенные из вотчины девушки шили и готовили приданое невесте. Она сама все время проводила в московских магазинах за выбором материй или же у подруг за обсуждением разных вопросов, касающихся туалета. Часто подруги и знакомые собирались и у них в доме.

На долю Капочки пришлось играть первую роль в качестве наблюдающей за работами. Она была занята с утра до вечера. Лишь когда тушили огни, она урывала время, чтобы пробраться в комнату Сигизмунда Нарцисовича.

Идя на одно из таких вечерних свиданий по галерее и темному коридору, соединяющих главный дом с флигелем, где жил Кржижановский, она уже подходила к двери его комнаты, как вдруг услышала два мужских го-

лоса. Сигизмунд Нарцисович был, видимо, не один. Она остановилась в недоумении.

Кто мог быть этот поздний посетитель, вероятно вошедший в дом по черному ходу? Она не знала, да и не это интересовало ее. Он, вероятно, скоро уйдет, ведь уже ночь. Это предположение появилось в ее уме.

Что же ей делать? Уйти к себе и снова пережить муку тревоги путешествия по темной галерее или подождать здесь ухода позднего гостя Сигизмунда Нарцисовича?

Она быстро решила этот вопрос в последнем смысле; ждать в коридоре было небезопасно, так как каждую минуту дверь могла отвориться и Кржижановский, выйдя со свечой провожать своего гостя, осветит коридор...

Капочка быстро разрешила и это недоумение. Она вошла в соседнюю комнату и очутилась в большой и просторной комнате. Это была классная княжеских племянников. Она была рядом с комнаткой Сигизмунда Нарцисовича, но дверь, вышедшая туда из классной, была заперта.

Только из замочной скважины без ключа

пробивался в нее луч света из комнаты Кржижановского. Капитолина Андреевна села на первый попавшийся стул. Сердце ее усиленно билось.

«Кто же это там?» — задавала она себе мысленно вопрос.

Из смежной комнаты продолжал между тем доноситься громкий польский говор. Слышались, несомненно, два мужских голоса, но это не помешало Капочке вдруг заподозрить, что у Сигизмунда Нарцисовича в гостях не мужчина, а женщина с таким грубым голосом. Как ни очевидна была эта нелепость, но мало ли нелепостей принимается женщинами за основание их дальнейших мысленных посылок. Капитолина Андреевна была женщина.

С осторожностью встала она со стула, взяла его и перенесла, еле ступая по полу пальцами ног, к двери. Здесь разговор был еще слышнее. Оба голоса были мужские, но это ее не убедило.

Она приложила глаз к замочной скважине, и только тогда, когда узнала в собеседнике Сигизмунда Нарцисовича графа Довудского —

он бывал изредка у Кржижановского и Капочка его знала, — она успокоилась.

Это спокойствие, впрочем, продолжалось недолго. Не будучи в силах противостоять женскому любопытству, Капитолина Андреевна вместо глаза подставила к замочной скважине ухо, и первые же слова — Капочка понимала по-польски, — которые она услышала совершенно явственно, заставили ее насторожить свое внимание.

Говорил Сигизмунд Нарцисович, вероятно отвечая на слова графа Довудского.

— Пускай тешатся, пускай готовят приданое. А княжна все-таки рано или поздно будет моей.

— Значит, пилюли патера Флорентия пошли в ход? — заметил граф Довудский.

— Он на днях кончит их прием, осталось принять две, будет шесть.

— И тогда через неделю или две, смотря по организму, он умрет внезапно от порока сердца, и никакой врач мира не будет в состоянии заподозрить отраву.

— Прибавь, что перед этим он будет чувствовать себя очень хорошо, здоровее и силь-

нее, нежели раньше.

— Да, и надо отдать честь ордену иезуитов, эти пилюли — одно из нескольких удивительных их изобретений, служащее верным средством для устранения врагов церкви Христовой вообще и общества Иисуса в частности. Патер Флорентий, хотя мы и называем эти пилюли его именем, сам, кажется, не знает их состава.

— Нет... Они получают из Рима... Это изобретение фамилии Борджиа, и секрет их приготовления всегда хранится лишь у одного лица в мире.

— А не помешает тебе в дальнейшем твой глупый роман с этой птичкой?

— С Капочкой?.. Нет... Хотя, откровенно сказать, она уже за последнее время сильно надоедает мне, ждет, кажется, предложения. А если и помешает, то у меня есть еще шесть пилюль патера Флорентия.

Кржижановский захохотал.

— Однако и молодец же ты, пан Сигизмунд... — тоже со смехом проговорил граф Довудский.

Капочка, впрочем, не слыхала последних

слов графа Станислава Владиславовича. Она не выдержала сделанного ею, холодящего душу открытия и лишилась чувств. Беззвучно сползла она со стула, как сидела, прислонив ухо к замочной скважине и несколько согнувшись.

Она не помнила, сколько времени провела она в таком положении и как, наконец, добралась из классной на свою постель в девичьей. Спала она или не спала, она тоже не знала, но очнулась уже ранним утром, одетая, в своей постели.

Сперва все происшедшее ночью показалось ей сном, тяжелым, страшным сном, от которого, проснувшись, человек сперва еще все ощущает тяжесть, а затем наступает радостное сознание, что он проснулся, что это был только сон.

Последнего сознания, увы, не могло быть у несчастной Капочки. Она почувствовала облегчение только на одно мгновение, именно тогда, когда ей показалось, что все это был сон. Но надетое на ней платье, неоправленная постель тотчас отняли у ней это сознание.

С ужасом припомнила она все мельчайшие подробности ужасного происшествия прошедшей ночи.

Увы, это не был сон!

Что же ей делать, что делать?

Кругом весь дом еще спал, и только она одна без сна думала свою горькую, неразрешимую думу.

Человек, которому она принадлежит, убийца.

Но этого мало — пусть он будет преступник, убийца, но он, кроме того, не любит ее, он никогда не любил ее, он играл с ней, безжалостно опозорив ее, разбив ее жизнь, а она, она полюбила его со всей первой проснувшейся в ней страстью и полюбила после князя.

Образ князя Владимира Яковлевича Баратова восстал перед ней. Его дни сочтены. Он обреченная жертва этого негодяя, который простирает свои сластолюбивые виды на княжну Варвару.

И она, Капочка, все это знает... и живет.

Холодный пот выступил на ее лбу, она вся дрожала, как в лихорадке.

Что же делать, что делать?

Рассказать все, спасти князя Баратова, если только это еще можно. Он принял четыре пилюли, осталось еще две, — припомнились ей слова Кржижановского, но уже и эти четыре пилюли, если они яд, успели принести вред! Но если он не примет две, быть может, он будет жив?

«Жив? — повторила шепотом Капочка свою мысль. — Но жив для другой».

Картина целующихся князя Владимира Яковлевича и княжны Варвары в китайской беседке представилась ей.

— Нет, пусть он умрет, — прошептала она.

Капочка вспомнила еще о том, что князь должен умереть, ей говорил Сигизмунд Нарцисович еще в Баратове.

Она и тогда была удовлетворена этой мыслью, она тогда возненавидела князя. Теперь, теперь она снова любит его, а ненавидит Кржижановского и так же, как тогда от ненависти, так теперь от любви говорит: «Пусть он умрет».

Он должен быть или ее, или ничей!

Но если бы она и пожелала спасти князя,

ей нужно будет открыть все, весь свой позор.

Никогда, ни за что!..

Да и кто ей поверит. Кржижановский успел так завладеть князем и княжной, что они скажут, что она клеветает на него, на этого образцового, честного человека, на героя.

«Герой!» — горько улыбнулась она.

Ее положение безвыходно, ей остается одно — умереть, благо этот герой, этот честный человек с удовольствием даст ей отраву. И пусть... Быть может, когда-нибудь в нем проснутся угрызения совести, и она будет отмщена. Князь Владимир умрет, умрет и она. Там они будут вместе. Там никто не разлучит их, да и там они будут равны.

«На небесах все равны», — вспомнились ей слова священника, у которого она училась за кону Божию.

Зачем же ей жить? Жить ей нельзя!

Так бесповоротно решила Капочка. Это решение ее даже успокоило. Она встала, поправила смятую постель, затем умылась и причесалась. На ее всегда бледном лице не было особенно заметно пережитое волнение.

В доме начали просыпаться. Жизнь, со сво-

ею ежедневной суетолокой, вошла в свою обыкновенную колею. Жизнь подобна многоводной реке, всегда ровно катящей свои волны, хотя под ними ежедневно гибнет несколько жизней. Эта гибель для нее безразлична. Бревно и труп она с одинаковым равнодушием несет в море. Море — это вечность.

Капочка усердно принялась за исполнение своих обязанностей по наблюдению за работами.

— Ты придешь сегодня? Отчего ты не была вчера? — спросил ее, улучив минуту, Сигизмунд Нарцисович, и не подозревавший, что вчерашний его разговор с графом Довудским от слова до слова известен Капочке.

Та вскинула на него глаза, но, испугавшись, что по их выражению он начнет догадываться, что она проникла в его черные замыслы, тотчас опустила их.

— Мне нездоровилось и нездоровится.

— Что с тобой? — с тревогою спросил он.

— У меня страшная головная боль.

— Головная боль? — повторил он. — Зайди ко мне, у меня есть отличное лекарство, — добавил он после некоторой паузы.

— Хорошо, — сказала она с грустной улыбкой.

Капочка, когда все заснули, пробралась, как и вчера, в комнату Сигизмунда Нарцисовича. Кржижановский был один. Он почти радостно встретил гостью и протянул руки, чтобы обнять ее.

— Оставь, — отстранилась она. — Мне ужасно нездоровится. Я еле стою на ногах.

— Все голова?

— Да. Ты хотел дать лекарство.

— Лекарство? — повторил он. — Да, есть, есть.

Он встал и отворил стоявший в комнате шкафчик и вынул из него маленькую коробочку.

— Тут шесть пилюль.

— Шесть? — бессознательно повторила она.

В виски ей стучало, она действительно почти лишилась чувств.

— Да, шесть, — невозмутимо повторил он, приписав ее странный, расстроенный вид болезни. — Принимай их по одной в неделю.

— По одной в неделю? — произнесла она.

— Да.

— И пройдет?

— Все пройдет.

— Все, — повторила она с горькой улыбкой. — Прощай.

— Поцелуй меня.

— Не до этого.

Она вышла, шатаясь, крепко сжав в руке коробочку с пилюлями. Она сознательно несла в ней свою смерть. В тот же вечер она приняла первую пилюлю патера Флорентия.

Читатель знает теперь причину внезапной и загадочной смерти князя Владимира Яковлевича Баратова, с описания рассказа о которой начато нами наше правдивое повествование.

Он помнит, что вскоре после него внезапно скончалась и Капочка в притворе церкви Донского монастыря. Умирая, она успела сказать наклонившейся над ней княжне Варваре Ивановне:

— Князь Владимир был отравлен... Я любила его и отравилась сама, чтобы быть с ним вместе там. Убийца нас обоих Сигизмунд, мой лю...

Она не договорила и отошла в вечность. Княжна Варвара упала без чувств на каменный пол церковного притвора.

Х

После двух смертей

Княжна Варвара Ивановна Прозоровская вернулась с кладбища Донского монастыря в тяжелом, угнетенном состоянии духа. Это состояние продолжалось с ней более месяца.

Предсмертные слова Капочки звучали в ее ушах, но несмотря на их кажущуюся с первого взгляда ясность, княжна не могла понять их страшного смысла, понять так, как она бы хотела совершенно ясно, бесспорно, так, чтобы она могла, опираясь на эти слова, решиться на какой-нибудь твердый шаг в форме разговора с отцом и с княжной Александрой Яковлевной.

Но в том-то и беда, что сомнение в предсмертной исповеди несчастной девушки возникло в уме княжны, что эта исповедь, чем больше вдумывалась в нее княжна Варвара Ивановна, тем больше возбуждала вопросов,

и вопросов почти неразрешимых.

В первую минуту княжна всецело поверила словам Капочки, что она любила ее покойного жениха — князя Владимира Баратова. Этой верой объясняются и сказанные ею слова, когда она узнала о смерти Капочки: «Так и должно было быть, они там опять будут вместе», а также и то, что княжна Варвара настояла, чтобы покойницу похоронили как можно ближе к могиле князя Баратова. Вера в эти последние слова покойной требовала со стороны княжны Варвары больших нравственных усилий.

Сигизмунд Нарцисович слишком крепко стоял в семье Прозоровских на пьедестале честности, самоотверженности, героизма, понятия о которых совершенно не вяжутся с преступлением отравления, гнусным убийством своего ближнего, для совершения которого убийца не рискует ни защитой убиваемого, ни даже не проявляет, ни малейшего мужества, хотя бы и преступного.

Даже в прочтенных княжною Варварой романах отравительницами являлись всегда женщины, а не мужчины — последние души-

ли, резали, стреляли, оставляя яд — это оружие трусов — женщинам.

В уме княжны закрадывалось сомнение. Это сомнение находило себе благодарную почву в дальнейших словах покойной Капочки, росло и делало ее предсмертную исповедь все более и более загадочной. «Я отравилась сама, убийца нас обоих Сигизмунд, мой лю...»

Что могло означать все это?

Если Капочка любила князя и отравилась, узнав о его смерти, то как мог быть Сигизмунд Нарцисович ее любовником? Если он был им, то, значит, она не любила князя Баратова. Если она отравилась сама, то почему же она называет Кржижановского убийцей их обоих?

Вот вопросы, которые смущали княжну Варвару Ивановну и ответа на которые она не находила. Выходило, что Капочка солгала, но она и при жизни никогда не прибегала к лжи, зачем же было ей брать такой страшный грех, как ложное обвинение человека в гнусном преступлении, перед смертью.

Ум княжны усиленно работал, припоминая отношения Сигизмунда Нарцисовича к ее

подруге детства за последнее время. Ничего подтверждающего близость последней к Кржижановскому она, увы, не находила.

Всегда серьезный, холодный, он, казалось, не замечал существовавшей не только Капочки, но даже и ее, княжны. Последнее она вспоминала с горьким чувством оскорбленного самолюбия.

Мы уже имели случай заметить, что княжна Варвара Ивановна в лице Сигизмунда Нарцисовича видела идеал своего романа, а его осторожная тактика светской холодной любезности, которой этот железный человек был в силе держаться с безумно нравящейся ему девушкой, сильно уязвляла самолюбие княжны и даже заставила, быть может, обратить свое внимание на блестящую партию — князя Баратова, которого княжна не любила, как следует любить невесте.

Знай она, что под наружной ледяной поверхностью сердца пана Кржижановского пылает в нем к ней неукротимая страсть, быть может, она отвергла бы предложение князя Владимира Яковлевича и отдалась бы Сигизмунду Нарцисовичу, даже не так слу-

чайно и бессознательно, как покойная Капочка.

Но хитрый сластолюбивый поляк знал, что интрига с княжной Прозоровской не может ограничиться «игрой в любовь», как с бедной девушкой, приживалкой в княжеском доме, что устранить княжну даже при посредстве чудодейственных пилюль патера Флорентия было бы очень и очень рискованно, а потому выжидал удобного момента, как коршун, остановившийся в поднебесье, недвижно выжидает мгновенья, когда может свободно и безнаказанно спуститься на уже намеченную им жертву и впиться в нее своими острыми когтями.

Вследствие этого намеченная польским коршуном жертва — княжна Варвара Ивановна пока, к ее счастью, ограничивалась лишь созерцанием издалека своего героя. И вдруг тога добродетели, в которую одет был последний, грубо срывалась с него предсмертной исповедью Капочки. Герой становился гнусным убийцей.

Этого не могли допустить ни ум, ни сердце княжны Варвары. В этом было ее несчастье, в

этом было начало удачи для пана Кржижановского. Княжна все-таки стала внимательно следить за ним, страшась и надеясь. Страшась за то, чтобы кумир не пошатнулся на пьедестале, и надеясь, что он будет стоять также незыблемо-прочно, как и прежде.

Наблюдения оправдали надежду и почти разогнали все сомнения.

Мы говорим «почти», потому что окончательно исчезли они вследствие того, что предсмертные слова Капочки были объяснены и потеряли свое значение оскорбительной для Сигизмунда Нарцисовича загадки.

Объяснение это было дано самим Кржижановским. Ему, конечно, одному из первых стали известны подробности смерти Капочки и то, что обморок княжны случился после того, как умирающая что-то шепотом говорила ей. Для Сигизмунда Нарцисовича не трудно было догадаться, что такое говорила покойная княжне Варваре, отчего последняя лишилась чувств.

Наблюдая незаметно за княжной Прозоровской, Кржижановский заметил обращенные на него полуиспуганные, полунедоумева-

ющие взгляды молодой девушки. Он понял почти все. Он догадался, что Капочка передала княжне об их отношениях, но в такой форме, что княжна Варвара не совсем поняла ее. Он решил, во что бы то ни стало оправдаться перед княжной и, кроме того, узнать подробнее то, о чем он только догадывался. Это можно было сделать, только начав разговор с княжной Варварой с глаза на глаз. Сигизмунд Нарцисович решил воспользоваться первым удобным случаем.

Такой случай представился не скоро, так как Кржижановский виделся с княжной или в обществе ее отца, или же Эрнестины Ивановны. Наконец, через месяц с небольшим выдалось послеобеденное время, когда князь Иван Андреевич удалился, по обыкновению, вздремнуть часок-другой, а Эрнестина Ивановна должна была уехать из дома по какому-то делу. Княжна с работой одна сидела в гостиной. Сигизмунд Нарцисович, отправив своих учеников кататься с гор на дворе, смело прошел в гостиную и сел в кресло у стола, противоположное тому, на котором сидела княжна Варвара с вязанием в руках, которым

она, по-видимому, прилежно занималась. Это было, однако, только по-видимому, так как мысли ее были далеко от работы — они продолжали виться около мучившего ее все это время вопроса: сказала ли правду или солгала Капочка?

Неожиданный приход в гостиную Кржижановского и происшедшее вследствие этого столь же неожиданное с ним *tete-a-tete* страшно смутило княжну Варвару Ивановну. Первой ее мыслью было уйти в свою комнату — она даже сделала движение, чтобы встать, но заставила себя остаться на месте. Страх перед человеком, которого она еще не могла прямо обвинять в преступлении, показался ей постыдным малодушием. Она все-таки мельком подняла на него глаза. Ее взгляд выражал тот же страх и то же недоумение, которое Сигизмунд Нарцисович наблюдал за все последнее время.

Она снова опустила глаза к работе и молчала. Молчал некоторое время и Кржижановский.

— Я хотел с вами поговорить, княжна... — начал он.

Варвара Ивановна подняла голову и окинула его вопросительным взглядом.

— Со мной?

— Да, с вами. И даже не от себя лично, несмотря на то, что я принимаю в вас чисто-сердечное участие.

Он остановился. Княжна Варвара молчала, опустив руки с работой на колени. Он прямо смотрел ей в глаза, и у нее мелькало в уме: «Какой у него честный взгляд. Неужели он — убийца, отравитель. Не может быть. Это невозможно».

— Я хотел поговорить с вами от лица вашего батюшки, хотя он, — я не хочу себя выставить перед вами не тем, что я есть, — меня не уполномочивал на это... — заговорил он, видя, что она молчит.

— В таком случае, — начала было княжна, но Сигизмунд Нарцисович перебил ее.

— Но он так огорчен, так страдает, а между тем не хочет беречь ваших сердечных ран. Он любит вас больше себя. А мне его жалко, пожалейте и вы его.

— Но в чем же дело? Что же я?.. — спросила княжна.

— Вы чересчур принимаете к сердцу все происшедшее. Конечно, удар страшный. Лишиться жениха и вместо подвенечного платья надеть эту печальную одежду.

Он жестом показал на платье княжны Варвары: она была в трауре.

— Но вы молоды. Ваша жизнь вся впереди, и хотя посланное вам испытание велико, но надо перенести его с христианским смирением и верить, что Бог устраивает все к лучшему. Да и на самом деле, лучше потерять жениха, нежели мужа в первом же месяце супружества. Бог, видимо, внушил князю Владимиру Яковлевичу, — да упокоит его душу, Господь в селениях праведных, — медлить с предложением, иначе теперь вы бы были молодою вдовою. Князь слишком много жил, расстроил этой жизнью свое здоровье и носил уже давно смерть в своей груди.

— Вы думаете, что это так? — пытливо спросила княжна Варвара Ивановна, неотводно смотря ему в глаза.

Это спокойствие, с которым он говорил о смерти отравленного им, если верить Капочке, человека, поразило ее. Что это? Комедия

или же перед нею сидит оклеветанный умирающей девушкой человек?

Княжна решилась добиться истины. Но как? Не спросить же его прямо, не он ли отравил князя Баратова. А если Капочка солгала, то за что же она, княжна, нанесет такое смертельное оскорбление другу ее отца и, наконец, человеку, к которому она относилась — и даже, надо сознаться, относится и теперь — почти с обожанием. Надо продолжать с ним разговор, быть может, он сам скажет что-нибудь такое, что или оправдает его в ее глазах совершенно, или же подтвердит Капочкину исповедь-обвинение.

Так решила княжна Варвара и задала Сигизмунду Нарцисовичу последний вопрос.

— А как же иначе... У князя были последние года припадки удушья. Я сам не раз присутствовал при переносимых им страданиях. Я несколько смыслю в медицине. Это грудная жаба, которая производит моментально разрыв сердца. Я не считал себя вправе говорить это ни вашему отцу, ни вам, когда князь сделал предложение, так как это была лишь моя догадка, которая, к несчастью, так сравни-

тельно скоро оправдалась. Для вас это, впрочем, повторяю, счастье.

— Счастье... — печально улыбнулась княжна.

— Лучше потерять жениха, нежели мужа. Вы этого еще не понимаете, но это, безусловно, верно. С женихом вы не так еще сроднились, он все же вам чужой.

— Но мне все-таки его жалко.

— Без сомнения... Иначе и не может быть, но это грусть проходящая.

— Пожалуй, вы правы, недаром мой отец находит вас всегда правым, — острая боль воспоминания о князе Владимире Яковлевиче почти прошла, мне больше жаль, пожалуй, Капочки.

Она положительно впиалась в него глазами при произнесении этого имени. На его лице не дрогнул ни один мускул.

— Она и умерла-то какою-то странною смертью. Точно их убила одна рука.

Громадного усилия воли стоило Сигизмунду Нарцисовичу сохранить спокойное и бесстрастное выражение лица под неподвижно-пытливым взглядом княжны Варвары, ко-

гда она произнесла последнюю фразу. Быть может, это была простая случайность, или же покойная Капочка в предсмертной агонии сделалась ясновидящей и открыла княжне Варваре тайну, которую не знала при жизни. Быть может, наконец, она подслушала? Но тогда зачем она сама приняла ядовитые пилюли?

Все это мгновенно пронеслось в уме пана Кржижановского. Ответов на эти вопросы он не нашел. Он понял лишь, что надо защищаться так, как бы было несомненно, что княжна Варвара знает все.

— Это вы верно сказали. Их убила одна рука.

Он остановился.

— Одна рука... — с испугом повторила княжна конец своей рассчитанной на смущение Сигизмунда Нарцисовича фразы.

— Да, одна рука... одна болезнь, и болезнь эта именуется худосочием. У князя Владимира Яковлевича она была приобретенная, а у Капитолины Андреевны наследственная. Да притом, ей лучше было умереть, чем оставаться жить в таком положении.

— В каком?

— Как, неужели, княжна, вы не заметили ничего?

— Нет, а что?

— Вы говорили с ней?

— Последнее время она была неразговорчива. Ходила такая печальная и отвечала на вопросы односложно.

— Теперь я понимаю. Вы могли и не заметить этого.

— Чего?

— Она была сумасшедшая.

— Что вы говорите?

Княжна даже привстала с кресла и опять села.

— Одну правду, княжна; началось это с ней еще в Баратове. Я встретил ее раз вечером в парке. Она бежала и наткнулась прямо на меня. Я спросил ее, что с ней. Она стала говорить несвязные речи.

— Какие же? — с тревогою спросила княжна.

— Простите, я буду повторять ее речи. Она говорила мне, что сейчас видела, что вы целовались с князем Баратовым.

Кржижановский остановился и в свою очередь посмотрел прямо в глаза княжне Варваре. Последняя густо покраснела, но молчала.

— Она говорила мне, что она любит князя, что она этого не перенесет, что все равно князь отравлен, что она также умрет и соединится с ним, на небе.

— А что же вы?

— Я старался успокоить ее как мог, и главная моя цель была не допустить какого-нибудь скандала. Я, было, пригрозил ей, что передам все князю Ивану Андреевичу, но даже сам испугался, что произошло. Она начала бранить и вас, и князя, вашего батюшку, и меня, она начала болтать еще больше вздора, что мы все отравили князя и ее, что мы все убийцы, которые ищут гибели двух любящих сердец, ее и князя Владимира Яковлевича.

Княжна слушала, затаив дыхание. Она припомнила, что действительно поведение Капочки за последнее время было очень странно... Для княжны теперь становилось ясно все. Эта предсмертная исповедь была бредом сумасшедшей.

— Тогда я начал с ней другую тактику, —

спокойно между тем продолжал повествовать Сигизмунд Нарцисович, — я стал с ней во всем соглашаться, даже в обвинении ею меня в намерении убить ее и князя, выгораживая лишь вас и князя Ивана Андреевича, и достиг этого. Сойдя с ума от любви к князю Баратову, она не вынесла его смерти, как будто подтвердившей ее опасения, хрупкая натура не выдержала этого удара, осложненного психическим расстройством, и бедное сердце ее разорвалось. Ее действительно жаль.

Кржижановский сделал вид, что смахнул несуществующую слезу.

— Она мне сказала, что она отравилась.

— Не думаю. Это создание ее расстроенного воображения. Да и где она могла найти яду и где, наконец, характерные признаки отравления? Отравленные мучаются очень долго. Неужели вы этого не знаете, княжна?

— Да, действительно, я читала.

Этот последний довод окончательно убедил княжну Варвару Ивановну Прозоровскую в том, что Капочка была действительно сумасшедшая. Это решение равнялось полному оправданию Сигизмунда Нарцисовича, в от-

ношении которого она даже почувствовала себя виноватой, как заподозрившая такого идеального человека в гнусном преступлении.

Вошедший в гостиную князь Иван Андреевич нарушил *tete-a-tete* пана Кржижановского и княжны, и разговор между ними прекратился.

Они оба, впрочем, остались довольны этой беседой. Все вопросы были исчерпаны.

Сигизмунд Нарцисович увидел, что княжна на него смотрит по-прежнему без испуганно-недоумевающего выражения, которое так пугало его.

Княжна Варвара в нем снова видела свой идеал.

XI

Невеста и сестра

Время шло. Зимний сезон, начавшийся в Москве ожиданием пышной великосветской свадьбы, внезапно неожиданно замененной похоронами жениха — князя Баратова, — окончился так же, впрочем, оживленно, как и начался.

Несчастья ближних не мешают общему веселью, и толпа на площади и в освещенной зале всегда останется той же толпою, равнодушным тысячеглазым зверем, с любопытством глядящим на эшафот в ожидании жертвы и равнодушно присутствующим при ее последней агонии и даже подчас облизывающим свои кровожадные губы.

Судьба, не тот ли же палач нередко. Ее удары, наносимые людям, — не то же ли интересное зрелище казни.

Общество — равнодушная толпа, наружно сочувствующая, но втайне радующаяся, что ей пришлось быть свидетельницей неожиданного зрелища. Так было и с несчастьем

княжеских семейств Баратовых и Прозоровских.

Кругом раздавались лицемерные оханья и соболезнования, а втайне многие ликовали, что княжна лишилась блестящей партии, миновавшей их дочерей и сестер.

«Не нам, так пусть лучше никому» — таков девиз завистливой толпы.

Никто искренне не пожалел князя Владимира Яковлевича, не исключая, как мы знаем, и его сестры.

Была поражена этой смертью княжна Варвара Ивановна, но именно поражена, так как то чувство, которое испытывала она, даже в первое время не могло быть названо горем в полном значении этого слова. Княжна после смерти своего жениха не почувствовала той пустоты, которую обыкновенно ощущают люди при потере близкого им человека.

Ей было жаль покойного Владимира Яковлевича, очень жаль. Она в течение почти двух недель не могла отделаться от впечатления, произведенного на нее мертвым князем, лежащим в кабинете, но... и только. Мысли ее почему-то вертелись более около нее самой,

нежели около человека, который через короткий промежуток времени должен был сделаться ее мужем.

Княжна думала о том, что говорят теперь в московских гостиных, думала, что на ее свадьбе было бы, пожалуй, более народа, чем на похоронах князя, что теперь ей летом не придется жить в Баратове, вспоминался ей мимоходом эпизод с китайской беседкой, даже — будем откровенны — ей не раз приходило на мысль, что ее подвенечное платье, которое так к ней шло, может устареть в смысле моды до тех пор, пока явится другой претендент на ее руку.

К чести Варвары Ивановны надо сказать, что она гнала подобные мысли, но тот факт, что они могли появляться в ее голове, уже красноречиво доказывал, что она не любила покойного князя Баратова.

Сигизмунд Нарцисович был прав — должность сердца молодой девушки исправляли пока светские мнения о приличии.

Баловство князя нравилось княжне — именно только как ребенку. В надежде дальнейшего баловства она согласилась быть его

женой. Баловник умер, и ребенок стал думать о том, будет ли у него другой баловник.

Капочку ей жаль было, больше. Особенно, как мы знаем, наполняла ум княжны ее предсмертная исповедь. Быть может, в силу этого она с таким сравнительным равнодушием думала о потере жениха, или же в ней сказывалась балованная дочка, которая с колыбели привыкла считать себя центром и для которой люди представлялись лишь исполнителями ее прихотей и капризов.

Княжна действительно была страшной, хотя пока еще бессознательной, эгоисткой. Добившись разрешения загадочных слов ее покойной подруги детства, княжна Варвара Ивановна еще более успокоилась.

Объяснение, данное ей Кржижановским, показалось ей совершенно удовлетворительным. Он даже недоумевала, как она сама ранее не догадалась, что Капочка была сумасшедшая. Припоминая теперь поведение покойной в последние месяцы, княжна находила в этих воспоминаниях полное подтверждение слов Сигизмунда Нарцисовича.

Предсмертные слова Капочки были, несо-

мненно, бредом сумасшедшей, оттого-то они так странны, так бессвязны. Для княжны это было более чем ясным.

Ее, кроме того, тяготило — она сама не знала почему — возникновение в ней, после слов покойной подруги, подозрение против Кржижановского, к которому, как мы знаем, княжна питала род восторженного обожания. Когда он оправдался, оправдался совершенно, — так, по крайней мере, решила княжна, — точно какой-то камень свалился с ее сердца. Она могла снова прямо смотреть на него, спокойно, с удовольствием слушать его, не стараясь найти в его лице следы смущения, а в его тоне неискренние, фальшивые ноты.

Таково было душевное состояние «невесты-вдовы», как прозвали княжну Варвару Ивановну в московском свете.

Князь Иван Андреевич был, конечно, немало огорчен внезапной переменой в предстоящей судьбе своей дочери, но, убежденный доводом Сигизмунда Нарцисовича, пришел к заключению, что в самом деле «нет худы без добра» и что «милосердный Бог в своих неисповедимых предначертаниях, конечно,

лучше ведает, что нужно человеку на земле, нежели сам человек, не знающий при постройке себе простого жилища, удастся ли ему положить второй камень его основания, так как смерть может настичь его в то время, когда он кладет первый».

Так говорил его религиозный и набожный друг пан Кржижановский. Князь Прозоровский преклонился перед волей Божьей. Видя к тому же, что его любимая дочь княжна Варвара хотя и грустна, но, видимо, с твердостью переносит посланное ей Богом испытание, старик еще более успокоился. Когда же после разговора княжны с Сигизмундом Нарцисовичем князь в первый раз увидел свою дочь улыбающейся, почти веселой, спокойствие окончательно посетило его душу.

«Он ей просто нравился, она не любила его, — мысленно решил он. — Бог знает, были этот брак счастливым. Скоро уедем в вотчину, оттуда она вернется совсем молодцом».

Таким образом, смерть князя Владимира Яковлевича Баратова хотя и была довольно сильным ударом для дома Прозоровских, но не оставила заметных и долгих следов в их

жизненном обиходе.

Княжна, конечно, прекратила выезды, но знакомые по-прежнему собирались к ним, а после сорока дней княжна Варвара Ивановна стала навещать более близких знакомых и подруг.

Не то произошло в великолепных палатах покойного князя Баратова. Смерть брата окончательно перевернула весь внутренний мир княжны Александры Яковлевны. Сознание пассивного, молчаливого участия в этой смерти — результат преступления — тяжелым гнетом легло ей на душу. Какого преступления — она не знала, но что это было преступление, для нее было несомненно.

Она припомнила во всех подробностях свой разговор с Сигизмундом Нарцисовичем и то, что он повторил и подчеркнул брошенную ей в горячности фразу: «Пусть лучше он умрет». Он сказал ей, что он желает иметь в своем распоряжении все средства и что это будет последним. Значит, это последнее средство понадобилось.

Цель княжны Баратовой была достигнута, но, увы, как ничтожна сравнительно с прине-

сенной жертвой оказывалась эта цель. Под этой жертвой княжна подразумевала не умершего брата, а свое душевное спокойствие. Возмездие уже началось.

Княжна Александра Яковлевна с ужасом вспоминала унижительную для нее сцену с графом Станиславом Владиславовичем Довудским. Он знает о ее сообщничестве с Кржижановским. Это все одна шайка, и она, княжна, в их руках.

С ужасом поняла это Александра Яковлевна, но изменить что-нибудь в дальнейшем течении этой позорной, подневольной жизни она была не в силах. Привыкшая играть людьми, она сделалась вдруг игрушкой негодаев. Она сама, собственными руками отдала им свое спокойствие, свою свободу.

Этот ее «почтительный», «падающий до ног» поверенный граф Довудский, не есть ли, в сущности, ее властелин. С какой неукротимой ненавистью, с какой бессильной злобой принуждена она выносить почти ежедневно присутствие около себя этой гадины.

Даже пан Кржижановский, с которым она виделась всего несколько раз, отнесся к ней,

так, по крайней мере, показалось мнительной княжне, с оскорбительной фамильярностью.

Предоставив княжну Александру Яковлевну Баратову в распоряжение своего сообщника «московского сердцеда» графа Станислава Владиславовича Довудского, Сигизмунд Нарцисович совершенно, впрочем, отдалился от княжны, и встречи их были только случайные.

Зато граф Довудский был в доме княжны Баратовой своим человеком, поверенным, главноуправляющим и даже казался, как совершенно ложно на этот раз злые языки московских кумушек, любовником княжны Александры. Граф посвящал все свое время лакому куску — состоянию княжны Баратовой и, свободно черпая золото из этой сокровищницы и для себя, и для конфедератской кассы, утешался этим, питая твердую надежду овладеть в будущем самой княжной, относившейся к нему не только с прежним презрением, но почти с нескрываемою гадливостью.

Странное дело, что именно это отношение к нему княжны Александры Яковлевны сде-

лало то, что она ему стала сперва только нравиться, а затем это чувство перешло в страстное желание обладать, во что бы то ни стало этой ненавидящей его женщиной. Привыкнув к легким победам над «московскими дамами», он в этой предстоящей борьбе находил своего рода не испытанное им сладострастие. Он даже не пробовал прибегать к решительным мерам, хотя в его руках, как мы знаем, было сильное оружие против княжны, перед которым она не устоит. Так, по крайней мере, думал граф.

Он находил особую прелесть именно в этом своем выжидательном положении и соглашался теперь в душе со своим другом паном Кржижановским, так же терпеливо выжидавшем обладания княжной Варварой Прозоровской. Посвятить себя всецело княжне Александре Яковлевне и ее капиталам и именьям граф Станислав Владиславович мог и потому, что вскоре после смерти князя Владимира Яковлевича Баратова умерла и графиня Казимира Сигизмундовна Олизар. Любвеобильная старушка почила вечным сном на руках графа Довудского, сделав его своим на-

следником по завещанию.

Станислав Владиславович выделил аккуратно из этого наследства, оказавшегося, впрочем, далеко не таким большим, как предполагал он и окружающие графиню, треть в конфедератскую кассу.

Сравнительная ничтожность наследства после графини Олизар объясняется широкой жизнью покойной за последние годы и большими жертвованиями на дело отчизны.

Доходы с дела княжны Баратовой выступали, таким образом, на первый план в «приходной книге» графа Довудского.

Не брезговал, впрочем, граф попутно и другими представительницами прекрасного пола Белокаменной, даже теми, которых он называл «мастодонтами» и уверял пана Кржижановского, что от них пахнет потом и луком. В будущем же ему улыбалась сладость обладания недоступной княжной.

Последняя между тем, как мы знаем, обратилась к Богу. Годичный траур давал ей возможность, не вызывая светских толков, прервать всякую связь с обществом и посещать только московские монастыри и соборы. Из-

редка она навещала бывшую невесту своего брата. Она чувствовала себя перед ней виноватой и ласками, даже не оскорбляющими самолюбия княжны Варвары подарками — этими маленькими доказательствами дружбы — старалась загладить свою вину.

Княжна Варвара Ивановна также изредка бывала у княжны, поселившейся в верхнем этаже дома. Нижний этаж, где находились апартаменты покойного князя и роковой кабинет, были по приказанию княжны Александры Яковлевны заперты наглухо.

Все, конечно, поняли это в смысле глубокой скорби о брате и тех тяжелых воспоминаний, которыми были полны для любящей сестры комнаты покойного. Истинную причину этого знали только граф Довудский и пан Кржижановский.

Вскоре после разговора с Сигизмундом Нарцисовичем княжна Варвара Ивановна передала своему другу княжне Александре Яковлевне предсмертные слова Капочки и объяснение их, сделанное Кржижановским. Княжна Баратова при начале этого рассказа страшно побледнела и чуть было не лишилась

чувств.

Только страшным усилием воли она постаралась показаться покойной и даже недрогнувшим голосом отвечала:

— Да, конечно же, она сумасшедшая...

— Теперь я это понимаю, но сколько времени заставила она меня помучиться... Ах, Капочка, Капочка, царство ей небесное.

Княжна Варвара перекрестилась. Княжна Александра Яковлевна машинально последовала ее примеру.

«Как могла она это узнать? Неужели он сам проболтался?.. Не может быть!» — мысленно недоумевала последняя.

Это было для нее новым подтверждением, что действительно князь отравлен. Иногда ей хотелось думать, что это простое совпадение, что князь умер разрывом сердца ранее, нежели пан Кржижановский прибег к последнему средству.

— А она не оставила никаких бумаг, записок?.. — спросила княжна Александра Яковлевна делано равнодушным тоном.

— Нет... Я подарила все ее вещи Поле.

— Какой Поле?..

— Моей горничной...

— А-а-а...

— На этом разговор окончился. Княжна Баратова умышленно не продолжала его, чтобы не навести на мысль княжну Варвару о возможности существования какой-нибудь записки, оставленной покойной Капитолиной Андреевной. Княжна Александра Яковлевна была убеждена, что такая записка есть. Она сделала этот вывод из того, что девушка, которая решилась открыть перед смертью свою тайну подруге детства, должна была готовиться к этому еще при жизни.

— Что к смерти Капочки был причастен Кржижановский, в этом княжна не сомневалась. Предсмертная исповедь покойной, оборванная на полуслове, давала возможность предполагать, что она хотела указать на существование записки, но смерть помешала ей. Княжна Александра Яковлевна решилась произвести следствие.

— Если эта записка есть — она должна быть в ее руках.

ХII

Дневник Капочки

— Княжна Варвара Ивановна совершенно не обратила внимания на вопрос княжны Баратовой о том, не осталось ли после Капочки каких-либо записок, и тотчас же забыла подробности разговора с Александрой Яковлевной об исповеди покойной. Она помнила лишь, что первая сказала: «Да, конечно же, она сумасшедшая».

— Несмотря на то, что княжна Прозоровская не только хотела верить, но теперь уже совершенно верила во все сказанное Сигизмундом Нарцисовичем относительно ее покойной подруги, подтверждение этого со стороны княжны Александры Яковлевны, которой она тоже доверяла, было для нее очень приятно.

— Она не заметила изменения в лице княжны Баратовой, когда та услышала то страшное обвинение, которое сделала покойная Капочка на Кржижановского, да если бы и заметила, она могла приписать его тяже-

лым воспоминаниям об умершем брате, в сороковой день смерти которого случилась внезапная смерть Капитолины Андреевны, объяснившей в той же своей предсмертной исповеди, что она любила князя.

— Потому-то княжна Варвара Ивановна и помнила из всего этого разговора лишь одну фразу княжны Баратовой: «Конечно же, она сумасшедшая».

Княжна Александра Яковлевна отнеслась к этому разговору, как мы знаем, несколько иначе. Тотчас же по отъезде княжны Варвары она позвала свою горничную Стешу. Это была вертлявая брюнетка лет двадцати двух, уже около четырех лет, по окончании учения в одном из лучших модных магазинов, состоявшая при княжне Александре Яковлевне в должности камеристки.

— Что прикажете, ваше сиятельство? — вошла она в будуар княжны, куда последняя прошла, проводив княжну Варвару.

— Вот что, Стеша... Ты знаешь всех слуг в доме князя Ивана Андреевича?

— Знаю-с, ваше сиятельство, да их там и не так чтобы много было... — отвечала Стеша,

произнесся окончание фразы презрительно-насмешливым тоном.

— А Полю, горничную княжны Варвары, знаешь? — продолжала княжна.

— Как не знать Пелагею, знаем-с... Стеша лукаво улыбнулась.

— Чего же ты смеешься? — удивилась княжна.

— Да Пелагея-то эта самая к нам часто шагает, под видом как бы ко мне, по дружбе...

— Я не понимаю...

— Амуры у них тут-с, ваше сиятельство, с Михаилом.

— С Михаилом... Это младший буфетчик?

— Так точно, ваше сиятельство.

— А-а-а... Это хорошо...

— Какой тут хорошо, ваше сиятельство, ничего хорошего, он крепостной, она крепостная, да еще разных господ, какая же тут судьба...

— Я не о том, это я так... — спохватилась княжна Александра Яковлевна, подумавшая вслух.

Стеша, надо заметить, наглядевшись на разных господ в магазине, держала себя со

своей барышней довольно независимо и с первых же шагов сумела поставить себя, как это бывает с молодыми приближенными горничными, на ногу полуподруги. Она свободно заговаривала с княжной, перебивала ее, выражала свои мнения, и так как вообще эти мнения были разумны, особенно по части туалета, то княжна привыкла к такой манере своей камеристки и даже подчас во время туалета пускалась с ней в долгие разговоры. Да и вообще, крепостная зависимость, что бы ни говорили псевдолибералы, делала отношения между господами и слугами в огромном большинстве случаев проще и сердечнее, нежели нынешний пресловутый вольнонаемный труд, создавший почти два вражеские лагеря — господ и слуг.

Стеша молчала, удивленно смотря на княжну.

— Это хорошо, что ты ее знаешь, хотела я сказать... — начала снова княжна. — Завтра утром сходи к Прозоровским и скажи Поле, чтобы она пришла завтра же ко мне...

— К вам, ваше сиятельство? — недоумевающим тоном спросила Стеша — Только вы,

ваше сиятельство, не извольте ей сказывать, что я про нее тут сболтнула... Я, может быть, и ошибаюсь, так, смекаю только, а она за то на меня осерчать может...

— Не беспокойся, не «осерчает»... — улыбнулась княжна, выговорив последнее слово в тон Стеше — Смотри же, устрой это, да так, чтобы остальная прислуга в доме князя не знала, что ты ее вызываешь ко мне... Поняла?

— Поняла, ваше сиятельство, я ее тайком позову, будьте без сумления.

— Тогда мое розовое платье можешь взять себе...

— Благодарствуйте, ваше сиятельство... — вспыхнула от удовольствия Стеша и, подскочив к княжне, схватила ее руку и поцеловала.

— Смотри, чтобы непременно завтра...

— Боюсь, забоится она, ваше сиятельство...

— Чего же она забоится? — снова в тон Стеше спросила княжна.

— Как чего-с? Начнет сумлеваться, зачем ваше сиятельство ее требуете...

— В таком случае ты ей можешь сказать, что ничего дурного от этого не будет, мне хочется только услышать от нее самой, продол-

жает ли все грустить по брату княжна Варвара Ивановна... Если она мне скажет правду, я ее награжу, я могу даже устроить ее судьбу... Понимаешь?..

— Понимаю, ваше сиятельство, беспрерывно так и скажу, а то ведь она дура дурищей, без всякой полировки.

Княжна невольно улыбнулась этому объяснению своей полированной горничной.

— Так завтра... — повторила она.

— Слушаю-с, ваше сиятельство...

Стеша вышла.

— И зачем это Палашка понадобилась княжне? — догадывалась она, идя в свою комнату — Узнать, грустит ли княжна по брату... Тоже тень наводит, так я ей и поверю... Впрочем, мне какое дело, благо шелковое розовое платье отдала, вот я защеголяю.

Стеша даже несколько шагов сделала вприпрыжку от охватившей ее радости.

На другой день, часа в два, в будуаре, где читала княжна, появилась Стеша с каким-то таинственным видом и остановилась у приоткрытой двери. Княжна подняла глаза от книги.

— Что тебе?

— Пелагея здесь, ваше сиятельство...

— А, Поля! — радостно произнесла княжна. — Зови ее сюда...

— Слушаю-с...

Стеша вышла и через несколько минут вернулась с маленькой, худенькой блондинкой, девушкой лет восемнадцати. Светленькое, миловидное личико освещалось большими серыми глазами, наивно-испуганное выражение, которых невольно подкупало в пользу их обладательницы; слегка вздернутый носик придавал этому личику особую пикантность.

«Однако у Михайлы есть вкус...» — мелькнуло в уме княжны, в первый раз внимательно посмотревшей на горничную княжны Варвары Ивановны, хотя она, без сомнения, много раз встречала ее в Баратове, когда семья князя Прозоровского гостила у них два лета.

Глядя на миниатюрную фигурку Поли, княжна поняла, что никому другому нельзя было подарить платья покойной Капочки. По сложению они были совершенно одинаковы. Стеша, введя девушку в будуар, быстро удали-

лась.

— Здравствуйте, ваше сиятельство! — приветствовала Поля княжну Александру Яковлевну.

— Здравствуй, милая, — отвечала княжна и, встав с кресла, подошла к двери будуара и, плотно затворив ее, опустила тяжелую портьеру.

Если бы даже Стеше пришло на ум поглядеть и послушать, что делается в будуаре, она была бы лишена этой возможности, вторая дверь вела в спальню княжны, дверь же из этой комнаты была всегда заперта на ключ и также закрыта портьерой.

Княжна Александра Яковлевна вернулась к своему креслу и села.

Поля стояла недалеко от входной двери и смущенно щипала правой рукой свой холщовый передник.

— Подойди сюда поближе, милая, — сказала княжна Баратова. Поля сделала несколько шагов.

— Ближе, ближе.

Совершенно смущенная, молодая девушка приблизилась к сидевшей княжне.

Несколько минут княжна Александра Яковлевна молчала, как бы собираясь с мыслями.

— Никто не должен знать того, о чем я буду говорить с тобой, — начала она, наконец. — Это первое, что я должна сказать тебе.

— Слушаю-с, ваше сиятельство.

— Только при таком условии ты можешь рассчитывать получить от меня хорошую награду.

— Благодарствуйте, ваше сиятельство, я и так не болтлива.

— Ты получила от княжны Варвары Ивановны в подарок все вещи покойной Капочки?

— Так точно, ваше сиятельство!

— Какие же эти вещи?

— Семь платьев, шубка, бурнус, белье, две шляпки, две пары серег, браслет, два кольца, — начала перечислять Поля и при последнем слове даже протянула княжне правую руку, на двух пальцах которой были надеты кольца.

— Это все хорошо, но не было ли в кармане платьев каких-нибудь записок?

— Никак нет-с, в кармане писем не было-с.

— Ну, где-нибудь? — нетерпеливо спросила княжна.

— Зеркальце я еще получила складное с ящичком, там в ящичке...

Поля остановилась.

— Ну? — даже привскочила княжна в кресле.

— В ящичке есть какие-то записки. Какие, я не знаю, я... я неграмотная.

«Слава богу», — произнеслось в голове княжны.

— Я все собиралась их выбросить, да за недосугом все забывала.

— И благодари за это Бога, — взволнованно сказала княжна. — Так как тебе эти записки не нужны, то принеси их сегодня ко мне.

— А если узнает ее сиятельство? — испуганно возразила Поля.

— Княжна ничего не узнает и не должна знать, — строго заметила княжна Александра Яковлевна, но тотчас же смягчила тон. — Я слышала, что тебе нравится Михайло?

Она в упор посмотрела на Полю. Та густо покраснела, но молчала.

— Отвечай же, не бойся, я ничего против

этого не имею.

— Нравится, — чуть слышно произнесла Поля.

— И ты ему нравишься? — продолжала допытываться княжна.

Поля низко опустила голову.

— Нравишься? — повторила вопрос Александра Яковлевна.

— Говорит, что любит. Только что же из этого? Нам не с руки, мы разных господ. Думала было, что их сиятельство возьмет замуж нашу княжну, и я перейду с ними. Тогда бы... Да не дал Господь жизни их сиятельству, царство им небесное, — тихо заговорила Поля и при последних словах перекрестилась.

— Так вот что, милая Поля, если ты доставишь мне записки, которые лежат у тебя в ящичке, то я тебя куплю у князя, для меня он это сделает, да и княжна, конечно, согласится уступить мне тебя, выдам замуж за Михаила и отпущу обоих на волю. В приданое тебе я дам пять тысяч рублей, вы можете заняться торговлей.

Все это княжна Александра Яковлевна выговорила залпом, видимо желая такую радуж-

ною будущностью окончательно заручиться согласием Поли. На последнюю это обещание произвело прямо ошеломляющее действие. Она сперва вся вспыхнула, затем побледнела как полотно и бросилась в ноги княжне.

— Благодетельница, кабы вы так все, ваше сиятельство, устроили, жизни, кажись бы, для вас не пожалела, а не то что какие-то записочки.

Княжна наклонилась к лежащей у ее ног молодой девушке.

— Встань, встань, принеси записки, так все и будет.

Поля приподняла с пола голову, поймала правую руку княжны и стала покрывать поцелуями, обливая слезами.

— Благодетельница, благодетельница, ваше сиятельство! — бормотала она.

— Встань, встань, — повторила княжна.

Поля встала.

— Только смотри, чтобы ни одна живая душа не знала о том, что ты мне передала записки.

— И что вы, ваше сиятельство, — проговорила Поля, утирая передником слезы. — На

духу не признаюсь.

— Тогда все будет так, как я сказала. Иди же и постарайся вырваться, скорее принести записки. Я целый день буду дома. Стеше, если будет спрашивать, скажи, что я расспрашивала тебя о том, грустит ли княжна Варвара Ивановна о своем женихе.

— Слушаю-с, ваше сиятельство, будьте покойны.

Поля вышла.

Княжна Александра Яковлевна осталась одна. Долги ей показались эти часы ожидания. Она взялась было снова за книгу, но тотчас же бросила ее. Строки прыгали у ней перед глазами, она не только понять, но даже связать ни одной фразы не могла. Записки, хранящиеся в ящике под зеркальцем, были центром всех ее дум.

Что заключалось в них? Быть может, загадка всего того, что хотела, но не успела сказать Капочка перед смертью, а быть может, это какие-нибудь хозяйственные записки. Но все равно, если есть записки, они не должны попасть ни в чьи руки, кроме рук ее, княжны.

А если, в самом деле, Кржижановский про-

болтался перед своей любовницей, а та могла пожелать сообщить все это своей подруге перед тем, как принять яд, если она на самом деле отравилась?

Княжна Александра Яковлевна имела более, чем княжна Варвара, оснований полагать, что все сказанное Капочкой в притворе храма Донского монастыря суцая правда. Эти мысли в различных вариациях затемняли голову княжны. Прошло уже несколько часов.

Княжна в нетерпении ожидания не могла сидеть на месте и нервно ходила по своему будуару. В дверях появилась Стеша.

— Там опять пришла Пелагея, — угрюмо сказала она.

Видимо, она была недовольна, что от нее что-то скрывают.

— Зови, зови скорей! — заторопилась княжна, потеряв от радости всякое самообладание.

Не успела Стеша выйти, как следом за ней вошла Поля и уже сама плотно затворила дверь и поправила портьеру.

— Вот, ваше сиятельство, — подала она княжне несколько мелко исписанных листов

бумаги.

— Это все? — быстро выхватила записки княжна.

— Все-с.

— Благодарю тебя. Я не забуду своего обещания.

— Мы, ваше сиятельство, недели через три уезжаем в деревню, — заметила Поля.

— Я устрою все раньше, не беспокойся. Ты можешь мне верить?

— Помилуйте, ваше сиятельство, как не верить. Княжна дала поцеловать Поле руку.

— Ступай и будь покойна.

Как только портьера опустилась за горничною княжны Прозоровской, княжна Александра Яковлевна принялась за чтение переданных ей Пелагеей листочков.

Выражение лица княжны, то вспыхивавшего ярким румянцем, то покрывавшегося смертельной бледностью, доказывало, что записки, которые она держала в руках, куплены ею недорого. Они оказались дневником несчастной Капочки, веденным с того рокового вечера, в который она подслушала разговор Кржижановского с графом Довудским.

Кроме излияния наболевшей души, в нем были сгруппированы подавляющие факты для обвинения Сигизмунда Нарцисовича. О княжне там не было даже намека. Александра Яковлевна вздохнула свободно и, бережно сложив листики, спрятала их в потайной, одной ей известный ящичек стоявшего в будуаре секретера.

Пусть она во власти этих двух негодяев, но в их молчании она уверена как в молчании сообщников, и, наконец, она от них покупает его, позволяя себя обкрадывать одному из них — графу Довудскому Она может, в конце концов, выделить им известную сумму и удалить от себя навсегда. Ее состояние все-таки останется огромным. Она еще может быть счастлива!

Счастлива! При этом снова за последнее время почему-то вспомнилось ей лицо юноши с устремленными на нее, полными восторженного обожания, прекрасными глазами. Этот юноша был армейский офицер Николай Петрович Лопухин, сын небогатого дворянина, товарищ ее детских игр, хотя он был моложе ее лет на пять.

Ей казалось теперь, что только один он любил ее за нее самое, а не за богатство, к которому она в глазах других ее поклонников — она чувствовала это — была каким-то ничтожным придатком.

Где-то он теперь?

Она помнит, что когда он ехал в Польшу, назначенный в действующую армию, он со слезами на глазах просил ее дать ему медальон с ее миниатюрой. Он говорил, что он будет ему талисманом, который охранит его в опасности. Она сама надела ему этот медальон на золотой цепочке на шею. Он поцеловал ее руку, и горячая слеза обожгла ее. Княжна почувствовала даже теперь этот ожог на своей руке. Потом она почти забыла его.

Теперь она вспомнила и, странно, вспомнила при слове «счастлива». Было ли это воспоминанием прошлого детского счастья или же это предвещание на будущее.

Княжна ходила по своему будуару и остановилась перед большим туалетом. Долго смотрела она на свое отражение. Улыбка озарила ее лицо.

Она еще молода и хороша! Она еще может

быть счастлива!

Вдруг ей показалось, что она видит за своими плечами лицо умершего брата. Она вздрогнула и быстро отошла от туалета.

— Граф Довудский, — доложила вошедшая Стеша.

Княжна Александра Яковлевна почти обрадовалась приходу даже этого ненавистного ей человека. Она была все-таки не одна.

XIII

Фитиль на пушке, Суворов в поле

Николай Петрович Лопухин, о котором начала вспоминать княжна Александра Яковлевна Баратова в наступившие после сплошных дней веселья тяжелые дни своей жизни, был тот самый молодой офицер, которого мы видели тяжело раненным в стычке с конфедератами и за которым с такой отцовской нежностью ухаживал Александр Васильевич Суворов.

Старик фельдшер был прав, сказав, что натура лучше врача. Недели через две молодой офицер был уже на ногах «молодец молод-

цом», как предсказал ему Суворов.

Александр Васильевич взял его в свои адъютанты. Ему уже давно понравился этот всегда грустный, мечтательный юноша, с редкой, однако, исполнительностью относившийся к своим обязанностям.

Молодой Лопухин прибыл с частью своего полка, расположенного в Москве и назначенной для соединения с корпусом, одной из бригад которого начальствовал Александр Васильевич Корпус этот в ноябре месяце 1768 года находился в Смоленской губернии, бывшей тогда пограничной. Суворов со своей бригадой должен был там перезимовать. Во всю зиму он держал свою бригаду в такой дисциплине и таком порядке, как будто бы он был в виду неприятеля.

Обучение солдат шло непрерывно. Часто в полночь, в самый жестокий мороз он приказывал бить тревогу, и полк его должен был собираться в несколько минут. Иногда тревога делалась как бы для отражения неприятеля, в другой раз для нечаянного нападения на него, и Суворов сам вел полк ночью через леса, в которых не было и следа дороги, застав-

для солдат в походе стрелять в цель, рассыпаться в разные стороны, нападать бегом и атаковать штыками в сомкнутом фронте.

Солдаты беспрекословно следовали за своим начальником и смотрели на него, как на существо сверхъестественное. Каждое слово его считалось законом: что сказано, то и сделано. Солдаты гордились тем, что они «суворовские».

Гордились своим командиром и офицеры. Особенно благоговел перед Александром Васильевичем Николай Петрович Лопухин. Он видел в нем свой идеал и старался не только исполнением, но даже предупреждением его распоряжении всецело понять их дух и целью приблизиться к этому идеалу.

Суворов при своей необычайной зоркости, конечно, не мог этого не заметить и приблизил к себе печального юношу и исполнительного служаку. Александр Васильевич, несмотря на свою наружную резкость, был человеком добрым, сердечным и отзывчивым к людскому горю. Это чувствовалось людьми, на сердце которых была истинная печаль.

Николай Петрович открыл ему рану своего

сердца. Он рассказал ему о своей безнадежной любви к подруге своего детства княжне Баратовой, описав ее Александру Васильевичу яркими красками влюбленного. Он перед ним излил свои опасения и надежды. Последние родились при прощании с княжной, когда она исполнила его просьбу и сама одела ему на шею медальон со своим миниатюрным портретом.

Эти-то надежды, как это ни странно, и отравляли существование молодого человека. В надеждах всегда неизвестность, а последняя, особенно продолжающаяся долго, хуже всякого горя.

Вскоре впрочем, началась война, вторая жизнь для воина, в волнах которой утопают все впечатления первой.

Мы знаем, что лишь тяжело раненный Николай Петрович судорожно ухватился слабеющей рукой за драгоценный для него медальон и перед его духовным взором рельефно восстало все прошлое.

Праздность во время болезни была тем тяжелей, что сопровождалась именно мукой воспоминаний и роковой неизвестностью.

Оправившись, он снова отдался весь своему долгу солдата.

Александр Васильевич Суворов, утвердившись между тем со своим полком в Люблине — городке, составлявшем средоточие между Польшею и Литвою, — начал свои действия против конфедератов. Подобно орлу высматривал он с вершины добычу и налетал на нее со всего размаху. Где только появлялись партии конфедератов, генерал Суворов — он получил генеральский чин в 1770 году, после двадцатичетырехлетней примерной службы — шел туда форсированным маршем и, не дав им опомниться, нападал, разбивал и возвращался в Люблин.

Случалось, что он делал по 700 верст в семнадцать дней (более 42 верст в сутки), сражаясь ежедневно.

В одном из этих походов Суворов едва не лишился жизни. В переправе через Вислу, на самом быстром месте, он в нетерпении соскочил с берега на паром, ударился грудью и упал в воду. За ним бросился бывший невдалеке от него Лопухин и спас его.

Это еще больше сблизило начальника и

подчиненного. Александр Васильевич проболел после этого три месяца, не оставляя, однако же, службы, и больной действовал с равной быстротой против неприятеля.

Одержав славные победы под Ландскроною и у Замостья, Суворов узнал, что вся Литва вспыхнула под предводительством польского гетмана Огинского.

При первой вести об этом восстании Александр Васильевич известил главнокомандующего войсками генерала Веймарна об угрожающей опасности и необходимости потушить мятеж в самом его начале.

Генерал Веймарн прислал Суворову ордер — ожидание дальнейших приказаний и не двигаться с места.

Между тем Александр Васильевич узнал, что войска Огинского ежедневно умножаются охотниками, что регулярные польские войска пристают к нему, что он уже рассеял и взял в плен несколько русских отрядов и намеревался двинуться к русской границе.

Суворов перекрестился и с 1000 человек в тот же день выступил из Люблина, сказав:

— Спасем наших, а там пусть делают со

мною, что хотят! Я ответчик.

Генералу Веймарну он написал:

«Фитиль на пушке. Суворов в поле!»

На четвертые сутки Александр Васильевич уже был в Слониме, пройдя более 200 верст. Человек полтораэта от усталости остались в тылу, но Суворову некогда было их дожидаться.

— Где войска Огинского? — спросил он, придя в Слоним.

— В пятидесяти верстах отсюда, в местечке Столовичах, — отвечали ему.

— Чудо-богатыри! — обратился Александр Васильевич к своим солдатам. — Даю вам два часа отдыха — и вперед, бить Огинского.

— У Огинского четыре тысячи человек войска и артиллерия, — заметил Суворову Лопухин.

— Помилуй бог! — воскликнул он. — Да ведь это только по пяти человек на одного нашего солдата, а они справлялись и с десятками.

На другой день в десять часов вечера Суворов уже был перед Столовичами.

Ночь была темная, небо покрыто тучами. Поляки и не помышляли о неприятеле, а он уже был тут как тут. Мигом были сняты неприятельские пикеты: часовые, стоявшие при входе в местечко, переколоты.

Но один из них спасся и, выбежав на улицу, закричал:

— К ружью! Неприятель!

В эту самую минуту русские ворвались в город с примкнутыми штыками.

«Ура» раскатилось подобно грому.

Началась ужасная резня. Поляки стреляли из домов и, собравшись густыми толпами, нападали на русских. Наша пехота колола их без пощады, конница рубила и топтала лошадьми — все бежало от русских в поле, за местечко, где большая часть отряда Огинского стояла на бивуаке. Русские, взятые Огинским в плен при Речице и запертые в одном из городских домов, бросились из окон и примкнули к своим.

Триста человек отборной гетманской стражи, называвшихся «янычарами», мужественно защищались в домах. Все они были переколоты — и к утру местечко очищено от

неприятеля.

Но это был не конец, а только начало героического подвига. Завязалась новая жестокая битва. Поляки, стоявшие за городом, сами напали на русских.

— Чудо-богатыри! — сказал Суворов. — Спаситесь некуда, или нам лечь здесь, или им! На штыки, ура!

Поляки, особенно литовцы, сражались отчаянно в открытом поле: штык против штыка, грудь против груди. Поле сражения было покрыто трупами. Наконец поляки уступили.

Вдруг во весь опор примчались польские уланы из отряда генерала Беляка, стоявшего с двумя полками поблизости Столович. Уланы окружили слабый отряд Суворова, и битва возобновилась с прежним ожесточением. Но при всех усилиях, при отчаянной храбрости неприятеля не было возможности сломить суворовского фронта. Люди его — каменные!

Козаки после продолжительной резни, наконец, прогнали польских улан. Колонна наша бросилась бегом на неприятеля и ударила в штыки. Неприятель дрогнул и побежал. Огинский скрылся еще ночью.

Польский отряд, оставшись без вождя, рассеялся, оставив половину своих на месте сражения. Число пленных превысило число победителей.

Вся-артиллерия Огинского (12 пушек), обоз, гетманские регалии, военная казна, раненые и множество лошадей достались победителям. Суворов потерял около ста человек убитыми, но освобожденные им русские пленники поступили на их места.

Дав отдохнуть своим храбрецам один только час, Александр Васильевич возвратился в Слоним и, оставив там пленных, раненых и тяжести, под малым прикрытием пошел немедленно к Пинску, где находилось остальное войско Огинского и где было собрание его приверженцев, разогнал их, рассеял, принудил к покорности и через Брест возвратился в Люблин, успокоив Литву и лишив конфедератов последней надежды на возмущение этой провинции.

И поляки, и русские едва верили этим неслыханным подвигам! Только и разговору было, что о Суворове.

Но Александр Васильевич должен был

тяжко отвечать за свою славу. Генерал Веймарн отнял у него команду и отдал его под военный суд за слушание. Он имел на то полное право.

Суворов сказал:

— Судите, казните, а все-таки Огинского нет и Литва спокойна! Я сделал свое дело, делайте вы свое.

Императрица Екатерина велела, однако, освободить победителя от суда и ответственности и прислала ему орден святого Александра Невского[14]. Незадолго перед тем он получил орден святой Анны.

— Матушка меня не забывает, — растроганным голосом произнес Суворов, утирая слезы, получив известие о милости мудрой монархини.

Поощренный с высоты престола, Александр Васильевич с новой энергией стал появляться с почти нечеловеческою быстротою перед конфедератскими полчищами со своими непобедимыми «чудо-богатырями».

При одном имени «Суворов» конфедераты уже падали духом, а это на войне всегда начало поражения. И действительно, неприятель

всегда бежал перед «каменными суворовцами».

Повсюду за Александром Васильевичем следовал и Николай Петрович Лопухин и среди этой боевой горячки находил забвение от мучительно-сладких дум о княжне Александре Яковлевне Баратовой. К нему не доходило о ней никаких известий.

— Жива ли она?.. Не вышла ли замуж? — это было для него равносильно ее смерти.

Вот вопросы, которые в часы отдыха от битв туманили ум молодого человека.

XIV

Краковский замок

Отдавший Суворова под суд Веймарн вскоре был сменен Бибиковым, оказавшимся человеком более мягким и яснее понимавшим достоинства Александра Васильевича.

Изменяя в декабре 1771 года распределение войск, Бибиков в предписании своем Суворову говорил:

«Оставляю, впрочем, вашему превосходительству на волю, как располагать»

и разделять войска, как за благо вы, по известному мне вашему искусству и знанию земли и, наконец, усердию к службе, рассудить изволите».

Далее он писал:

«Для занятия войсками нашими Замостья прошу подать мне мысли, каким образом оное достигнуть бы можно».

Таким образом, между Суворовым и Бибиковым установились добрые отношения, которые не изменились до конца совместной службы подчиненного и начальника в Польше и продолжались по отбытии Александра Васильевича на другой театр войны.

Наступил 1772 год.

На большом военном совете у русского посланника в Варшаве решено было покорить все укрепленные места, находившиеся во власти конфедератов.

Русские войска, состоявшие под начальством Бибикова, предполагалось разделить на три корпуса, из которых один должен был действовать в поле, а два другие непременно производить осадные работы. Для сбереже-

ния войск положено было не прибегать к штурмам. Королевско-польские войска под начальством Браницкого назначались в помощь русским.

Плану этому в самом начале нашлась помеха. Еще в сентябре месяце 1771 года прибыл из Франции через Вену, на смену Дюмурье, генерал-майор барон де Виомениль с несколькими офицерами и с порядочным числом одетых лакеями унтер-офицеров. Центр конфедератской агитации перешел из Эпериеша в Белиц, на самой границе, а Бяла, лежащая против самого Белица, избрана главным сборным пунктом.

Отсюда рассчитывал Виомениль препятствовать покорению конфедератских крепостей до весны и тогда, со вновь организованными и увеличенными силами, начать наступательные действия, дебютируя захватом краковского замка. Последний расположен на высоте, господствующей над городом; у подошвы холма протекает Висла. Внутри замка находился кафедральный собор, полуразрушенный королевский дворец и несколько десятков домов. Замок обнесен крепкою стеною

в 30 футов вышины и 7 футов толщины и окружен рвом; внешних укреплений он не имел. Выгодное его положение не давало надежды на успех штурма, без предварительного сильного обстреливания и пробитой брешы.

В Кракове начальствовал полковник Штакельберг, преемник Суворова по командованию Суздальским полком. Он был храбрый офицер, но слабохарактерный, больной и любящий покой человек. Александр Васильевич был очень недоволен, что его детище досталось лицу, которое, кроме личной храбрости, не имело с ним, Суворовым, ничего общего.

Неоднократно в записках и бумагах он делал насчет Штакельберга разные иронические замечания и еще недавно так аттестовал его за леность в обучении полка:

«Чего найти достойнее, правосуднее, умнее Штакельберга, только у него на морозе, на дожде, на ветре, на жаре болит грудь».

Штакельберг был уже человек немолодой, но еще чувствительный к женской красоте. Стараясь поддерживать с населением города

Кракова добрые отношения, в чем он и успевал, Штакельберг слишком уже сблизился с обывателями, особенно с монахами. В Краковском замке хранились полковой обоз, 4 пушки и там же содержались пленные конфедераты вопреки приказанию Суворова, требовавшего отправки их в Люблин.

Александрю Васильевичу доносили о беспечности Штакельберга, но он не обращал внимания, в чем и сознался Бибикову после катастрофы. По меткому выражению Суворова, Штакельберг «был обременен ксендзами и бабами». Рассказывали, что он велел снять часового с одного важного поста из угождения знатной красавице, которая, действуя в пользу заговорщиков, жаловалась, что ночной оклик часового не дает спать.

А когда таким образом беспечность замкового гарнизона доведена была до последнего предела, то барон Виомениль немедленно исполнил свой план.

В нескольких верстах от Кракова, в Тынце, командовал полковник французской службы Шуази. В ночь с 21 на 22 января 1772 года он посадил большую часть тынецкого гарнизона

на суда и переправился через Вислу к Кракову.

С величайшею осторожностью подошел он к стенам замка, отделил часть отряда для прохода в замок другим путем, а сам отправился к трубе для спуска нечистот, заблаговременно ему указанной. Добравшись в темноте с большим трудом до искомого отверстия, он с частью людей полез туда вперед всех; двигались стоя на коленях, по одному. Доползя до начала трубы в замке, Шуази с ужасом увидел, что внутреннее отверстие заделано камнями, тогда как ему было обещано, что ко времени атаки камни будут вытянуты. Сломать каменную преграду было невозможно. Шуази со своими людьми пополз и кое-как выбрался из этого грязного прохода. Он пошел с отрядом около города, высматривая своих и приглядываясь, нет ли каких признаков присутствия их в замке. Все было тихо.

Перед ним виселись темные, безмолвные стены и ничего больше. Бродить, таким образом, возле Кракова нельзя было долго. Русские, заметив неприятеля, могли отрезать ему путь отступления в Тынец и взять эту

крепость, так как в ней оставалось гарнизона всего сотни две человек.

Шуази с тяжелым чувством направился к Тыңцу, покидая на произвол судьбы капитанов Виомениля и Сальяна с частью отряда. Отойдя версты две или три, он вдруг услышал сильный ружейный огонь в Кракове, остановился и послал польского офицера на разведку. Офицер скоро вернулся и сообщил, что замок занят Виомением и Сальяном. Шуази повернул назад и быстро пошел к Кракову.

Дело было так.

В исходе третьего часа ночи Виомений и Сальян приблизились к замковым воротам. Перед тем выпал большой снег, и люди отряда имели на себе поверх платья ксендзовскую одежду, дабы не возбуждать внимания часовых. Невдалеке от ворот находилось внизу замковой стены отверстие для стока нечистот, заделанное железной решеткой; решетка оказалась, по условию, выломанной, часового при отверстии не было.

Французы пробрались внутрь замка без труда, кинулись на караул при воротах, закололи часового, захватили на платформе ру-

жья и без выстрела перевязали всех людей, а потом направились к главному караулу и сделали то же после беспорядочной стрельбы захваченных врасплох солдат. Замок был в их власти.

Вслед затем прибыл Шуази с отрядом. Тотчас были завалены изнутри ворота и оставлена свободною лишь низкая калитка.

Для отвлечения внимания военного начальства от замка в эту ночь в городе был назначен костюмированный бал, на котором находился и Штакельберг. Весть о занятии замка пришла к нему на балу, и он решил отнять замок тотчас же. Была произведена бессвязная атака, но отбита; за нею через полчаса другая, но также без успеха; потеряно 42 убитых и раненых. Отряд этот отбросил русских, и пехота пробралась в замок, кавалерия же была отогнана с потерей 15 человек.

Ночью на 24 января опять подошла подмога и тоже прорвалась в замок, потеряв много людей.

В таком виде представляется захват краковского замка по печатным источникам и частью по донесению Штакельберга и перво-

му расследованию Суворова.

По приказанию военной коллегии было вскоре произведено следствие, оно бросает сомнение на некоторые из рассказанных нами данных, сделавшихся ходячими.

Собственно перед захватом замка никаких послаблений в караульной службе Штакельберг не допускал, послабления существовали с самого прибытия его в Краков и, вследствие отсутствия всякого надзора, перешли мало-помалу в полную распущенность. Караул содержался с незаряженными ружьями, караульную службу никто никогда не проверял, дальние разъезды не посылались и сведения о неприятеле не проверялись, ближние конные патрули исполняли службу, когда и как вздумается их ближайшим начальникам, без проверки свыше, не было дано инструкций ни плац-майору, ни караульному офицеру, к отверстиям под стеной для стока нечистот часовые не становились и эти отверстия никогда не осматривались.

От такого систематического небрежения в ночь на 23 января караулы оказались спящими, конные патрули не показались в замке

ни разу, стоявший около паромы часовой казак самовольно отошел от своего поста за версту за сменой и, таким образом, не заметил прибывших от Тынца людей. Из следственного отдела также видно, что «скважин» под стеною было несколько и что через них неприятель и пробрался в замок.

Не представляется сомнения в том, что французам и конфедератам помогали некоторые из городских и замковых жителей, которые и подпилили или выломали заранее железные решетки в этих стенных отдушинах, так как за их состоянием никто не наблюдал.

В этом печальном происшествии был виноват отчасти и сам Александр Васильевич, не дав веры сделанным на Штакельберга доносам и не обратив внимания на секретное сообщение одного поляка, поставщика русских войск, который предупреждал его, что на краковский замок будет покушение, и в доказательство справедливости своих слов показывал письмо от брата-конфедерата.

Суворов в это время собирался снова на Литву. Подрядчик уверял, что на Литве задумана только демонстрация для отвлечения

русских от Кракова. Но Александр Васильевич этому не поверил, в чем потом и каялся.

По получении известий о занятии замка конфедератами Суворов с небольшим отрядом двинулся из Пинчова к Кракову, куда и прибыл 24 января в пять часов утра, соединившись с Браницким, командовавшим пятью польскими коронными кавалерийскими полками. Оба они произвели рекогносцировку и потом разделили между собою дело.

Браницкий принял на себя наблюдение и оборону от конфедератских шаек с той стороны Вислы, а Александр Васильевич — осаду замка. Мы уже знаем выгодное положение последнего и невозможность взять его без сильного обстреливания и пробития брешей. У Суворова между тем не было ни одного осадного орудия. Но по его приказанию втащили с чрезвычайными усилиями несколько полевых пушек в верхние этажи наиболее высоких домов и оттуда открыли по замку огонь, а королевско-польский военный инженер повел две минные галереи.

Город был разделен на четыре части, в каждую был назначен особый комендант. На

них возложены наблюдение за обывателями и ответственность за их верность. Еврейский квартал города поставлен на военную ногу. Обыватели-евреи получили вооружение и содержали городские караулы[15].

Началось поправление сделанных ошибок, снова стоившее жизни сотням людей. Началась осада краковского замка.

XV

Первый раздел Польши

Французы захватили краковский замок с порядочными, но не полными запасами, одних предметов было много, других же мало, а следовательно, в итоге они снабжены были худо. Попало в их руки много пороху, свинцу, хлеба в зерне, недоставало мяса, ядер, совсем не было огнивных кремней и врачебных пособий.

Недостатки эти скоро сказались, так как гарнизон состоял без малого из тысячи человек.

Что касается сил Суворова под Краковом, то они не могли быть велики. Всего в начале

года состояло под его командой 3246 человек, распределенных в пяти главных пунктах. Под Краковом едва ли можно было собрать больше половины, в том числе пехоты около 800 человек.

Через несколько дней по прибытии Суворова Шуази выслал парламентаря. Он просил взять из замка сотню пленных мастеровых, позволить выйти в город 80 духовным лицам и снабдить его лекарствами.

Во всем было отказано, так как в замке уже чувствовался недостаток в продовольствии, а лечение раненых офицеров Суворов брал на себя, если они дадут слово не действовать по выздоровлении против России и польского короля.

Несмотря на категоричность отказа, духовенство пыталось дважды выйти из замка. Первый раз его встретили безвредными выстрелами, во второй раз несколько человек было ранено. После этого попытки уйти из замка прекратились.

Осажденные, видя свое критическое положение и ожидая впереди еще худшего, несколько раз делали жестокие вылазки, ко-

торые, впрочем, приносили им самим больше вреда, чем русским, так как прибавлялось раненых.

При одной из таких вылазок командир суздальской роты, расположенной вблизи замка, капитан Лихарев оробел и бросил свой пост, а рота, оставшись без командира, в беспорядке побежала, горячо преследуемая. Это было около полудня. Александр Васильевич отдыхал. Разбуженный перестрелкой и криками, он вскочил и поскакал на выстрелы.

Встретив бегущих, он остановил их, устроил и скомандовал в атаку, в штыки. Вылазка ретировалась, но суздальская рота потеряла до 30 человек. Суворов арестовал Лихарева и продержал его под арестом около четырех месяцев. Этим взыскание и ограничилось.

В приказе об его освобождении он писал, что за такой поступок следовало бы отдать капитана под суд, но так как у него никакого дурного умысла не было, он находится давно под арестом, молод, в делах редко бывал, то выпустить. Это характерная черта Суворова. Он вообще был очень снисходителен в своих взысканиях за трусость к необстрелянным.

За неимением осадной артиллерии пробитие брешки подвигалось плохо. Видя, что, может быть, придется штурмовать замок и без брешки, Александр Васильевич решился утомить конфедератов и усыпить их бдительность ночными тревогами. С этой целью начиная с 1 февраля он произвел несколько ложных ночных тревог, и наконец, 18 числа решился штурмовать.

При сильном артиллерийском и ружейном огне три колонны двинулись в 2 часа ночи на штурм. Добравшись до главных ворот и прорубив их топорами (петарды не производили должного действия), штурмующие завязали через прорубленное отверстие перестрелку с осажденными, так как у начальника колонны не хватило решимости произвести удара. В другой колонне, добравшейся до калитки, не оказалось налицо начальника. Люди третьей колонны, приставив к стене лестницы, полезли с неустрашимостью на амбразуры, где стояли пушки, но встретили в своих противниках такую же храбрость.

Четыре часа продолжались бесплодные усилия, в 6 часов утра русские отступали, по-

теряв до 150 человек. Этот неудачный штурм убедил Александра Васильевича, что первоначально задуманный им план блокады замка был лучше, а потому и ограничился ею. В замке к тому же уже ели конину и ворон.

По временам Суворову приходилось отправлять партии в окрестности, полные конфедератами, которые задались целью заставить русских снять блокаду. Этим обстоятельством отчасти и извиняется предшествовавшая попытка к штурму.

Сам Александр Васильевич находился некоторым образом в осаде и иногда лично должен был выступать против наиболее дерзких бандитов. Раз он отправился против Косаковского. В разгаре завязавшегося дела на него наскочил конфедератский офицер, выстрелил из двух пистолетов, но мимо и бросился с саблей. Суворов отпарировал удар, но противник продолжал настойчиво нападать, пока не подоспел случайно один карабинер и не выручил своего начальника, положив конфедерата выстрелом в голову.

В начале апреля прибыли к Суворову орудия большого калибра и была возведена

скрытно от неприятеля брешь-батарея. Она обрушила часть стены у ворот, пробила брешь и произвела в замке несколько пожаров; польский инженер окончил тем временем минные галереи.

В замке сильно голодали, число больных возрастало, дезертирство развелось до громадных размеров, и в довершение всего составилась между солдатами заговор — сдать замок русским. Шуази расстрелял виновных, но этим не избежал острой опасности и положение дела оставалось по-прежнему в высшей степени критическим. Шуази донес об этом Виоменилю и послал письмо с надежным унтер-офицером.

Последний вышел из замка ночью, но на переправе через Вислу был захвачен русскими. Письмо расшифровали и прочли. Александр Васильевич убедился в безнадежном положении гарнизона.

Завладеть замком значило нанести смертельный удар конфедерации, а потому Суворов, сознавая, что храброму гарнизону трудно было сделать первый шаг к сдаче геройски защищаемой крепости, решил взять почин на

себя. По прочтении перехваченного письма он послал капитана Веймарна в замок с объявлением, что все готово к штурму и что если гарнизон не сдастся теперь, то будет весь истреблен.

8 апреля явился из замка один из офицеров, Галибер, и с завязанными глазами был приведен к Суворову. Александр Васильевич принял его ласково, посадил около себя и продиктовал главные статьи капитуляции. Предложенные условия были очень выгодны, потому что Суворов желал скорой сдачи, но эта выгодность условий дала Шуази надежду на еще большую снисходительность русских.

На следующий день утром Галибер явился снова, был угощен хорошим завтраком, но когда перешла речь на капитуляцию, то стал заявлять возражения. Александр Васильевич решился сразу положить конец пустым надеждам и бесплодным затяжкам. Он объявил Галиберу новые условия, несколько строже прежних, прибавив, что если он, Галибер, явится еще раз без полномочий на принятие предложенных пунктов, то получит условия еще более суровые. Сроком для получения от-

вета Суворов назначил следующий день. Шуази понял свою ошибку, и Галибер прибыл в русский блокадный отряд раньше срока, с полным согласием.

Сущность заключенной 12 апреля капитуляции состояла в следующем:

Сдача происходит через три дня, люди гарнизона сохраняют свое частное достояние, все же остальное имущество, имеющееся в замке, сдают. Французы сдаются не военнопленными, а просто пленными, так как войны между Россией и Францией нет и обмен невозможен.

На этом пункте особенно настоял Александр Васильевич.

Французы Виомениля будут перевезены во Львов. Французы Дюмурье в Бялу, в Литву; польские конфедераты в Смоленск. Люди невоенные отправляются куда хотят; больные пленные, которые в состоянии выдержать дальний путь, получают надлежащую помощь. Накануне дня, назначенного для сдачи, русские провели всю ночь под ружьем.

Рано утром 15 апреля обезоруженный гарнизон стал выступать из замка частями по

сто человек и был принимаем вооруженными русскими войсками. Шуази подал свою шпагу Суворову. Его примеру последовали и остальные восемь французских офицеров.

Александр Васильевич шпаг не принял, обнял Шуази и поцеловал его. Затем офицеры были угощены завтраком, а Браницкий пригласил их к обеду.

Всего взято до 700 пленных, которых следовало отправить по назначению. Начальнику эскорта, полковнику Шепелеву, Суворов дал 17 апреля предписание содержать их весьма любезно.

Императрица Екатерина наградила Александра Васильевича за взятие Кракова 1000 червонных, а на подчиненных его, участников в этом деле, пожаловала 10 000 рублей.

Некоторые утверждали, что Суворов заставил французов выйти из краковского замка той же подземной трубой для стока нечистот, которою они вошли туда. Даже Екатерина II в одном из своих писем 1795 года упоминает про это обстоятельство, хотя по давности времени несколько его перепутывает и вместо Шуази говорит про Дюмурье. Это следует при-

нять за чистую выдумку, одну из многих, народившихся впоследствии, — говорит биограф Суворова А. Петрушевский.

Мы видели, что Александр Васильевич отказался принять от французов шпаги, что во все не гармонирует с приведенным анекдотом. И теперь, и после Александр Васильевич всегда чтит в лице пленных превратность военного счастья.

Не выходя из Кракова, Суворов принялся оканчивать разные в окрестностях дела. Он захватил небольшой укрепленный городок Затор, принял капитуляции от нескольких конфедератских начальников, оставивших конфедерацию, предпринял осаду Тынца и Ланцкороны.

В это же время вступили в Краковское воеводство австрийские войска. Еще в начале 1769 года австрийские войска окружили кордоном часть польской территории, а пруссаки стояли по польским границам под предлогом охранения прусских земель от конфедератов и от занесения из Польши заразной болезни.

В конце 1770 года Австрия заняла герцог-

ство Ципское; Пруссия подвинула вперед свои кордоны.

У обеих держав, очевидно, были насчет Польши свои намерения, но они маскировали их приличною внешностью. Австрия, кроме того, по своим традициям делала одною рукою совсем не то, что другою, оказывала покровительство конфедератам, позволяла им собираться на своей территории, допускала их партиям укрываться от русских войск.

Первая, подав повод к разделу Польши, о чем шли уже переговоры между тремя державами, она показывала вид, что приступает к разделу неохотно.

А между тем переговоры затягивались именно потому, что Австрия предъявила непомерные требования. Не дождавшись ответа, она двинула в Польшу два сильных корпуса, вслед затем придвинулись дальше и прусские войска.

В начале мая 1772 года до 40 000 австрийцев были уже в движении к Кракову. 20 000 пруссаков заняли северную часть Польши и столько же русских приблизилось к границам Польши со стороны Литвы.

Наконец был подписан между Австрией, Пруссией и Россией договор о первом разделе Польши. В нее вступили два русские корпуса, один из них, из Эльмпта, остановился в Литве. Суворов был переведен в этот корпус и в октябре выступил с ним для следования в Финляндию, так как в шведском короле предполагались враждебные замыслы по отношению к России. Об этой цели движения корпуса Суворов не знал во время похода. Он узнал об этом лишь в Петербурге, из уст самой императрицы.

XVI

Монаршее слово

Прибыв вместе с войсками в Петербург, Александр Васильевич Суворов остался некоторое время в столице.

Придворная жизнь в царствование императрицы Екатерины была рядом балов, спектаклей и празднеств, сменявшихся друг за другом в каком-то волшебном калейдоскопе. Страница истории екатерининского царствования не только по придворной жизни, но и

по течению государственных дел представляется потомству какой-то сказкой Шехерезады.

Суворов, как мы знаем, не любил придворные сферы. Самолюбивый до крайности, он рисковал затеряться между блестящими «екатерининскими орлами», а потому был в своей среде лишь на полях битв, где ему уже и в описываемое нами время не было равных.

Но его положение «непобедимого» обязывало его являться на эти празднества по желанию самой государыни, а отсутствие на них «знаменитого Суворова», как уже тогда именовали его в Петербурге, было бы заметно.

Волей-неволей Александр Васильевич должен был подчиниться. К этому-то времени и относится начало его чудачеств. Ими он хотел выделиться среди современников и благодаря «славе воина», его окружившей, достиг этого.

«Чудак Суворов» стоял в одном ряду с «великолепным Потемкиным» в глазах придворных сфер. Он сам впоследствии следующим образом объяснял самого себя:

— Хотите ли меня знать? Я вам себя раскрою: меня хвалили ли цари, любили воины,

друзья мои удивлялись, ненавистники меня поносили, придворные надо мною смеялись, я шутками говорил правду, подобно Балакиреву, который был при Петре Великом и благодетельствовал России. Я пел петухом, пробуждал сонливых, угомонял буйных врагов отечества. Если бы я был Цезарь, то старался бы иметь всю благородную гордость души его, но всегда чуждался бы его пороков.

Таковы были причины чудачеств Александра Васильевича, с одной стороны, скрытые, с другой — открыто высказываемые им.

Вернувшись после войны с конфедератами, увенчанный первыми серьезными лаврами, Суворов был предоставлен императрице Екатерине, и, обласканный ею, он должен был волей-неволей на некоторое время возвращаться при дворе и принять участие в торжествах.

На одном из придворных балов он со своим обычным простодушным видом расхаживал по великолепно убранному и освещенному залу Зимнего дворца и повторял вслух:

— Помилуй бог, как хорошо, помилуй бог, как хорошо!

Толпа в пух, и прах разряженных придворных почтительно расступалась перед ним, зная расположение к нему государыни. Многие подходили представляться «славному генералу». Между последними подошел к Александру Васильевичу совершенно еще молодой человек, одетый, по моде того времени, в шелковый камзол, бархатный французский кафтан, шитый шелками, с кружевными манжетами, в шелковых чулках и туфлях с золотыми пряжками, в напудренной затейливой прическе. Он ловко расшаркался пред иронически осмотревшим его с головы до ног Суворовым.

— Генерал, ваша слава, облетевшая весь мир, возбудила во мне страстное желание представиться вам, я был бы крайне счастлив, если бы заслужил ваше расположение, — сказал он на чистейшем французском диалекте, картавя на букву «р».

— Вы слишком добры, — отвечал Александр Васильевич тоже по-французски, — вы делаете мне большую честь... С кем я имею удовольствие говорить?

Молодой человек назвал одну из древних

русских княжеских фамилий.

— Помилуй бог, — воскликнул Суворов, — да вы русский!..

— Точно так... генерал... моя фамилия одна из древнейших на Руси...

— Помилуй бог, как это странно... А я ведь вас принял за француза...

Лицо молодого человека озарилось довольной улыбкой.

— Вы мне делаете большую честь...

— Какая тут, батенька, честь... Ужели быть лучше французом, чем русским князем?

— Французы — образованнейшая нация в мире! — воскликнул фронт.

— Пусть так... Но все же человек не должен желать казаться не тем, что он есть, а в особенности не должен отказываться от своей родины... Да и перенимать от других тоже надо с толком, что подходит. А то мы то перенимаем, что у этих французов самое худшее: болтовню о пустяках, складное вранье да пляску — это сорочье прыганье... Да и все это почти мы берем с уличных французских франтов да со здешних французов... А они все пустомели, вдали, глупцы...

— Помилуйте, генерал, вы уже чересчур строги... Всему миру известно, что Франция...

— Славны бубны за горами... А наша-то молодежь от Франции без души... да и отцы хороши... без француза-учителя и компаньона стал дом не дом; а француз-то иной был там, у себя, кучером или лакеем, а у нас стал во всем учителем... Тут, какой же прок! Держи карман шире.

Молодой человек сделал презрительную гримасу и уж хотел отойти, но вокруг собралось несколько человек придворных, а Суворов между тем с серьезным видом начал обходить кругом него, говоря:

— Помилуй бог, как у вас все это хорошо пригнано. Все сидит, как влитое... И кафтан, и камзол, и чулки, и ботинки, и прическа — восторг. И все, чай, французы вам смастерили?

— Вы шутите, генерал, — с дурно скрываемым раздражением заметил молодой человек, — вы сами же, я слышал, говорите: «Ученье свет, а неученье — тьма...» Как же вы хотите, чтобы мы пренебрегали французами, нашими учителями во всем.

— Полно, так ли, — возразил Александр Васильевич, — вы, батенька, как я вижу, не поняли меня... Точно, я сам всегда говорю: «Учение — свет, а неучение — тьма», но тут же и прибавляю: «Дело мастера боится...» Наука и познания нужны, необходимы, но какие познания, какие науки?.. Правила веры в Бога милостивого: люби Бога, царя, отечество, ближнего и исполняй Божеские и царские законы не криводушно; это — изволите видеть — первая и самая главная наука, а к ней должно еще знать: историю отечества, всемирную историю, географию, статистику, математику, рисование, черчение планов, инженерное и артиллерийское искусство и понимать для одной необходимости иностранные языки... Все это нужно, помилуй бог, как нужно!

— Но раз французы не учат нас всему этому в совершенстве?..

— Нет, не учат, и по очень простой причине, что сами этого не знают... Они наемники и самый лучший из них не знает нас, не знает нашего характера, не знает России, а образовывает детей по-своему, по-заграничному. И

вот, выросши, барчук становится не то русским, не то иностранцем, не разберешь. Своего отечества не знает... Какой же он верный сын своей матери — России?

— Александр Васильевич разгорячился и не заметил, как к кружку слушавших его придворных, все увеличивавшемся, подошла сама государыня. Придворные сделали движение, чтобы расступиться и пропустить вперед императрицу, но последняя жестом заставила их оставаться на своих местах и с улыбкой слушала речь Александра Васильевича.

— Последний между тем продолжал:

— Поверьте, батенька, что из таких барчуков не будет проку. Вот я вам приведу пример. Это случилось в Варшаве, в прошедшем году. Раз явился ко мне француз-коробейник с разными безделушками: с духами, эссенциями, мылом и ваксой, — и убедительно просит у него купить чего-нибудь... «Я, — говорит, — бедный человек, купите хоть ваксу!» — и для большей убедительности намазывает себе ваксой по башмаку, трет щеткой — и башмак его стал словно стекло на солнышке! Хороша, думаю я, вакса; взял да и купил три банки и

заплатил что-то очень дорого. Прощка мой никак не хотел ее брать. «Барин, говорит, не бери; вакса своя хороша, а эта, с позволения сказать, дрянь даром что блестит; от нее упадут сапоги; не верь некрещеному, барин! Эта вакса годится на ихнюю кожу, а на нашу русскую не годится!» Я не послушал его, взял-таки и тотчас же велел вычистить новые сапоги, вышло загляденье! Так вот и блестят... Вот я и велел и все свои сапоги перечистить этой ваксой, да и щеголять на диво! Даже польские пань смотрелись в мои сапоги, как в зеркало!.. Прошел день, другой, третий — глядь! У одного сапога лопнул перед, потом у другого, у третьего, а недели через три все три пары полопались!.. И пропали мои сапоги, и вышло по-Прошкиному, что вакса-то годилась только на французскую кожу.

— Слушатели рассмеялись. Франтик молчал.

— Вот так-то, сударь мой, и наука, преподаваемая французами детям русских бояр, она, как вакса, съест всю доброту и крепость души русского человека: он не будет знать ни Бога, ни святой православной Руси, не будет иметь

чистой любви к царю и отечеству, не станет любить и уважать своих родителей, не будет годен ни на что и никуда... точно так же, как стали негодны мои сапоги.

С этими словами Суворов низко поклонился молодому человеку и хотел уже удалиться, но в это время заиграли ритурнель нового танца.

Александр Васильевич быстро обернулся, подскочил к молодому щеголю и сказал:

— Вот это, сударь, по вашей части... Помилуй бог! Мы с вами будем танцевать!.. Казачка, что ли?

Молодой человек сначала нахмурился, но потом, рассудив, вероятно, что в танцах он в свою очередь может подурочить Суворова, согласился с принужденною улыбкою. Стали на места. Юный князь легко выделявал необыкновенные па и антраша.

— Помилуй бог, как хорошо, помилуй бог, какой искусник! — говорил Суворов и когда танцор приближался к нему, то, подтопывая в такт ногою, повертывался кругом.

Окончив танец, франт с насмешливой улыбкой обратился к Александру Васильевичу.

чу:

— Теперь, генерал, ваша очередь. Покажите ваше искусство.

— Помилуй бог. Куда уж мне против вас. А вот вам парочка.

Суворов взял за руку и подвел его к нарядно и модно одетой даме и уж хотел удалиться, как среди расступившихся смеющихся придворных появилась императрица.

Улыбаясь, подошла она к чудаку-генералу и, ласково улыбаясь, сказала:

— Спасибо вам, Александр Васильевич, что проучили молодчика.

— Помилуй бог, матушка-государыня, где мне других учить, я и сам ничего не знаю.

Он упал перед ней на колени. Императрица подала ему руку. Суворов, стоя на коленях, поцеловал руку монархини.

— Встаньте, мне надо поговорить с вами...

Александр Васильевич быстро вскочил. Они пошли по зале.

— Кстати, я должна вам сказать, что вы мне будете очень нужны в Финляндии, — обратилась она к нему.

— Слушаю, матушка-государыня.

Они подошли к дверям второй залы, и Суворов откланялся, а вскоре и уехал из дворца.

Таков был этот «кумир солдат», непобедимый воин, народный герой. Он любил все русское, внушая любовь к родине и часто повторял:

— Горжусь, что я россиянин!

Франтов, подобных молодому князю, подражавшим французам, он обыкновенно спрашивал:

— Давно ли изволили получить письмо из Парижа от ваших родных?

Еще до конфедератской войны один возвратившийся из заграничного путешествия офицер привез из Парижа башмаки с красными каблуками и явился в них на бал, где был и Александр Васильевич. Последний не отходил от него и все любовался башмаками.

— Одну пару вывезти изволили? — вкрадчиво спросил он его.

— Нет, я привез три пары.

— Пожалуй, пришлите мне одну... вместе с изданным в Париже вновь военным сочинением Гюберта.

Последним, однако, этот офицер не запасся

и вследствие этого стал избегать встречи с Суворовым.

В другой раз об одном русском вельможе говорили, что он не умеет писать по-русски.

— Стыдно, — сказал Александр Васильевич, — но пусть он пишет по-французски, лишь бы думал по-русски.

Таков был, повторяем, Суворов — этот истинный патриот-полководец.

Выбравшись из наполненных нарядной толпой придворных дворцовых зал, он прямо поехал домой. Он жил недалеко, в одном из домов на набережной Мойки, занимая небольшую, просто меблированную квартирку. Штат его прислуги состоял из камердинера Прошки, или Прохора Степановича, сына старого дядьки Александра Васильевича — Степана и повара Митьки.

Задумчиво прошел Александр Васильевич прямо к себе в спальню. Убранство этой комнаты было более чем просто. На полу было положено сено, покрытое простыней и теплым одеялом; у изголовья лежали две подушки. У окна стоял стол для письма и два кресла. В одном углу маленький столик с рукомошни-

ком, в другом еще стол с чайным прибором.

— Прощка! — закричал Александр Васильевич.

Прощка немедленно явился.

XVII

Победителей не судят

— Кибитку починили? — спросил Суворов.
— Починили, Александр Васильевич, — отвечал Прощка.

— Ну, так помоги мне раздеться.

С наслаждением сбросил с себя Суворов ненавистное ему бальное платье. Раздевшись, он вздохнул свободно и потянулся.

— Ну, теперь давай одеваться, — сказал он.

Прощка с изумлением вытаращил на него глаза.

— Что ты стоишь? — закричал Александр Васильевич. — Помилуй бог, как ты глуп, Прощка. Нешто ты не слышишь, что я тебе сказал?

— Слышал, Александр Васильевич, — отвечал Прощка, почесывая затылок, — да только...

— Что только? Коли слышал, так и исполняй! Живей, доставай платье.

Прошка вышел и вернулся, бережно неся на правой руке платье. Через несколько минут Суворов уже был одет.

— Вот так! — сказал он. — Помилуй бог, как теперь хорошо! Ступай, Прошка, вели закладывать кибитку.

— Куда это вы собираетесь, Александр Васильевич, в такую пору?

— Много будешь знать, скоро состаришься, — отвечал Суворов. — Скорым шагом марш!

Прошка исчез. Александр Васильевич между тем отворил шкаф, пересмотрел заглавия некоторых книг, вынул одну из них и, сев к письменному столу, стал переписывать ее. Прошка вернулся.

— Не прикажете ли чего покушать, Александр Васильевич? — спросил он.

— Покушать? — повторил Суворов, продолжая перелистывать книгу, — Как же, как же, покушать бы не худо!

— Чего прикажете?

— А что есть, что есть?

— Митька сказывал, что есть холодное из солонины, с квасом, с хреном.

— Не хочу.

— Есть еще сырая кислая капуста с квасом.

— Капуста хорошее дело, да теперь не хочу.

— Редька с конопляным маслом.

— Вот это славно! Принеси-ка мне редечки с конопляным маслом да с солью. Это русскому здорово, помилуй бог, как здорово, — заметил Александр Васильевич. — А чай у тебя есть?

— Есть.

— Ну, так сперва редечки, а потом чайку! Это, помилуй бог, как здорово!

Прошка принес Александру Васильевичу поужинать. Суворов с особенным аппетитом ел редьку и приговаривал:

— Вкусно и здорово, помилуй бог, как вкусно и здорово!

Полчаса спустя Прошка явился в дорожном платье и доложил:

— Кибитка подана.

Александр Васильевич вскочил, спрятал в карман книгу, которую читал, перекрестился,

накинул шинель на плечи и пошел вниз.

Прошка, не говоря ни слова, последовал за ним.

— Куда прикажете? — спросил он, усадив своего барина в простую дорожную кибитку и садясь сам на облучок.

— Знаешь, где Чухляндия живет? — спросил Суворов.

Прошка уже так привык к своему господину, что понимал его с полуслова и, обратившись к ямщику, скомандовал:

— Пошел к Самсонью, а оттуда все прямо, куда глаза глядят.

Ямщик дернул вожжами, крикнул на лошадей, и они помчались. Так исполнял верно-подданный Суворов малейшее желание своей государыни. Едва императрица успела выговорить, что он будет нужен ей в Финляндии, как Александр Васильевич уже летел туда.

Прибыв в Выборг, он писал к императрице:

*«Всемилоостивейшая государыня!
Я здесь и ожидаю высочайших ваших
повелений!»*

Государыня была страшно изумлена, получив этот рапорт.

— С ним, однако, надо говорить осторожно, — улыбнулась она.

В тот же день она послала Александру Васильевичу собственноручный рескрипт, повелев осмотреть финляндскую границу и привести ее вновь в оборонительное положение.

Это было в начале февраля 1773 года.

Осмотрев Выборг, Кексгольм, Нейшлот и составив на месте план всех новых построек и починок, Александр Васильевич отправился тайно на шведскую границу, чтобы узнать расположение умов тамошних жителей, а затем донес обо всем императрице. Государыня осталась очень довольна его распоряжениями и расторопностью.

Но политические отношения к Швеции переменились, и Суворов по собственной просьбе был отправлен в действующую армию в Турцию, где в 1773 году возобновились прерванные было военные действия.

Он прибыл в Яссы весной 1773 года и представился главнокомандующему Говорят, будто бы Румянцев, огорчаемый неблагоприят-

ными событиями войны, находясь в натянутых отношениях с Потемкиным и считая Суворова выскочкою, который хотел отличиться, принял Александра Васильевича холодно и поручил ему незначительное наблюдение за Туртукаем, городом, укрепленным турками и оберегаемым 4000 человек, с значительной артиллерией и флотилией.

Александр Васильевич отправился на место назначения и находился несколько времени в тягостном для него бездействии. С разных сторон доходили до него слухи о победах русских, и кровь война сильно кипела в его сердце. Наконец он не выдержал.

Не дождавшись разрешения начальства, он пошел на Туртукай. Зная малое число русских, турки никак не ожидали нападения, а потому смешались, полагая, что к Суворову подоспела помощь. Завязалась отчаянная битва.

Александр Васильевич, по своему обыкновению, был всегда впереди и дорого поплатился бы за свою неустрашимость. Его окружили несколько турок, и он погиб бы непременно, если бы несколько казаков и гренадер

не подоспели к нему на помощь. Турки были частью убиты, частью обращены в бегство, но Суворов, сильно раненный в ногу, упал на землю.

Гренадеры окружили его с беспокойством, но Александр Васильевич, видя, что солдаты его приходят в замешательство, вскочил и крикнул:

— За мной, чудо-богатыри! С нами Бог.

Во главе отряда он устремился снова на неприятеля.

Туртукай был взят, и Суворов во время общей суматохи, сидя на барабане, написал следующий рапорт фельдмаршалу Румянцеву:

«Слава Богу, слава вам!

Туртукай взят, и я там!»

Только по окончании дела Александр Васильевич по настоятельной просьбе офицеров и солдат позволил осмотреть и перевязать свою рану, оказавшуюся, к общей радости, неопасною.

Но Румянцев, питавший уже неудовольствие против Суворова, не шутил и, рассердившись еще более за произвольный посту-

пок, отдал его под военный суд.

Военная комиссия признала Суворова виновным, но императрица Екатерина умела ценить Александра Васильевича и своим зорким царственным взором провидела в нем будущего великого полководца, а потому решила суд следующими словами:

«Победителей не судят».

Кроме того, она прислала ему орден Георгия 2-й степени.

Вот как говорил об этом событии в одном из писем сам Суворов:

«Рим меня бы казнил. Военная коллегия поднесла доклад, в котором секретарь коллегии не выпустил ни одного закона на мою погибель. Но милосердие великой государыни меня спасает. Екатерина пишет: „Победителей судить не должно“. Я опять в армии на служении моей спасительницы».

Румянцев скрыл досаду и поручил Суворову защиту Гирсова — крепости, оставшейся во власти русских за Дунаем.

Против турок Александр Васильевич ре-

шился вести войну иначе, чем в Польше, где он, усмиряя неприятеля, охранял его жилища. На мусульман он хотел навести такой страх, чтобы одно имя его заставляло их трепетать, в чем и успел.

Прибыв в Гирсово, он увидел всю опасность своего положения, по это нимало его не беспокоило. Суворов сам говаривал, что был чрезвычайно счастлив тем, что ему поручали всегда самые опасные дела, за которые никто не хотел браться, а поэтому волей-неволей представляли ему случай к отличию. Несмотря на всю невыгодность положения, Александру Васильевичу удалось отразить сильное нападение турок на Гирсово и удержать эту крепость во власти русских.

Неприятные отношения к Суворову со стороны фельдмаршала, несмотря на доблестные подвиги первого, между тем продолжались, и Александр Васильевич, утомившись и военными действиями, и особенно бесцельною перепиской, полною придинок со стороны начальства, отпросился в отпуск в Москву, где жил его отец, который призывал его к себе «по семейному делу».

Это было подлинное выражение письма Василия Ивановича. Александр Васильевич отчасти догадывался, что подразумевает его отец под этим «семейным делом». Он знал, что мечтою Василия Ивановича было видеть сына женатым. Из переписки его с отцом он знал также, что отец приглядывает ему невесту в Москве — этом городе невест.

Александр Васильевич не прочь был жениться, и в этом случае сыновнее повиновение, которое Суворов считал первейшею обязанностью гражданина, не расходилось с его желанием. Он взял отпуск и отправился в Белокаменную. Это было в конце 1773 года.

XVIII

Сватовство

Время — этот всеисцеляющий бальзам людского горя — сделало свое дело.

Прошло около трех лет со дня неожиданных смертей князя Владимира Яковлевича и Капочки. Они спали вечным, тихим сном на кладбище Симонова монастыря, сохранив в своих холодных могилах тайну их смерти. Они были спокойны и бесстрастны и, конечно, не в пример счастливее тех, которые еще влачили тяжелую земную юдоль.

Оставшиеся в живых не разделяли, однако, этого мнения, они хлопотали о чем-то, к чему-то стремились, на что-то надеялись, рассчитывали — словом, жили и хотели быть счастливыми, во что бы то ни стало.

Счастье, понимаемое по-своему, было целью всех. Им даже не приходило в голову, что земное счастье только кажущееся, что все их планы, расчеты, надежды только карточные домики, построенные детскими руками и рассыпающиеся от одного дуновения легкого ве-

терка. Это дуновение — смерть.

Люди уносят в свои могилы не только тайны своих ближних, но и свои собственные, а среди них главную тайну — тайну смерти. Если бы живые могли проникнуть в нее, насколько было бы меньше в мире зла, преступлений, коварства и лжи, а быть может, тогда не было бы и жизни. Могилы были забыты — жизнь кипела ключом, и более всего там, где на поверхности, казалось, была гладь без малейшей зыби.

Именно так было в доме генерал-аншефа князя Ивана Андреевича Прозоровского. Казалось, в нем ничего не изменилось. Жизнь катилась по той же колее, в какой шла до дня, в который покойный князь Баратов сделал предложение княжне Варваре. Дней приготовления к свадьбе, сменившейся похоронами, почти не существовало.

Княжна Варвара Ивановна по-прежнему царила в доме своего отца и, казалось, даже не думала о замужестве. Только старик князь иногда при взгляде на любимую дочку затуманивался, и невеселые думы роились в его голове. Он все еще надеялся на вторую бле-

стящую партию для своего кумира — Вари, но, увы, время шло, а партии не представлялось.

Точно тень мертвого князя Баратова стояла между ней и другими женихами. Достойных не выискалось, а если они были, то ими овладевали другие. Княжна продолжала «сидеть в девках», как выражались в то время в Москве даже в «большом свете».

Сигизмунд Нарцисович Кржижановский по-прежнему жил в доме Прозоровских и также по-прежнему, если не больше, держал в подчинении своему авторитету старого князя.

Стоял октябрь 1773 года, был воскресный день.

Прозоровские только недели две как вернулись в Москву из деревни. Иван Андреевич в том же своем стареньком халате, в котором принимал князя Баратова, когда тот приехал делать предложение его дочери, мелкими шажками ходил по кабинету и не переставал на ходу вертеть двумя пальцами правой руки золотой перстень, надетый на указательный палец левой. Это упражнение с перстнем слу-

жило признаком необычайного волнения
Ивана Андреевича.

Сигизмунд Нарцисович сидел на диване и
бесстрастно наблюдал за мелькавшим перед
его глазами князем.

— Ведь вы знаете старика Суворова?

— Знаю, — односложно ответил Кржижа-
новский.

— Ну конечно знаете, у меня встречались...
Мы хоть и близкие соседи, а видимся редко,
он домоседом, да оно и всегда так бывает...
чем ближе живешь, тем реже видишься, вся-
кий думает: к нему успею, два шага, а эти
два шага дальше двух верст выходят.

Иван Андреевич нервно засмеялся.

Кржижановский стал внимательно к нему
прислушиваться. Он хорошо изучил князя и
сразу понял, что старик хочет сообщить ему
что-нибудь очень важное, а теперь болтает
так, что взбредет на ум, для того, чтобы в это
время обдумать, как приступить к настояще-
му разговору.

— Так вот, извольте видеть, этот Суворов
Василий Иванович — отец его мне тезкой
был...

Князь опять захихикал. Сигизмунд Нарцисович молчал.

— Хороший старик, умный, обстоятельный, послужил тоже на своем веку, был членом военной коллегии, сенатором, генерал-аншеф теперь, как и я... Сама матушка-государыня, как мне доподлинно известно, хвалила его за службу, называла «честным человеком», «праведным судьей», а матушка наша даром никого не похвалила, так-то... Всего лет пять как вышел в отставку и поселился здесь поблизости, свой дом — полная чаша...

Князь остановился.

— Говорят, он очень богат... — вставил Сигизмунд Нарцисович.

— Водятся у старика деньжонки, водятся, имений несколько в разных губерниях... Дочерей обеих выдал замуж, славные девушки. Анну Васильевну за князя Горчакова, а Марию Васильевну за Олешева, по семнадцати тысяч приданого дал, и партии сделали обе хорошие... Так-то...

Князь Иван Андреевич замолчал и участил походку. Молчал и Кржижановский.

— А сынок-то его, сынок... — снова начал

князь, — в генеральском чине, не нынче завтра генерал-поручик... Знаменитость, как ваших-то сорванцов он усмирил... Хе, хе, хе...

— Н-да-а... — издал неопределенный звук Сигизмунд Нарцисович.

— В Петербурге, говорят, его на руках носили, сама императрица подолгу с ним беседовала... У Григория Александровича Потемкина, говорят, в большом фаворе...

— Н-да-а... — снова прогнусил Кржижановский.

— А главное, сам до всего добился... От отца получил самую безделицу; сколько лет солдатскую ляжку тянул, хочу, говорит, быть фельдмаршалом, и будет... Помяните мое слово, что будет!

Князь Иван Васильевич остановился и вопросительно посмотрел на Кржижановского.

— Будет, отчего не быть!.. — согласился тот. — Уж теперь из конца в конец, даже за границую, о нем знают, какой-то необыкновенный...

— Истинно необыкновенный... герой! — с пафосом воскликнул князь. Прозоровский.

— Н-да-а... герой, — согласился Кржижа-

НОВСКИЙ.

— Карьера, батенька, у него впереди такая, что голова закружится... К нам, в Москву, на побывку скоро приедет...

— А-а-а...

— Я нынче, после обедни, зашел к старику Василию Ивановичу... чайку попить... От него и узнал... Жду, говорит, сына дня через два... Да тут же и одолжил меня словечком... Ума не приложу...

Князь вдруг замолчал и еще быстрее стал ходить по кабинету.

— Чем же это он вас одолжил?.. Каким словечком?.. — спросил делано равнодушным тоном Сигизмунд Нарцисович.

Иван Андреевич ответил не вдруг, видимо собираясь с мыслями.

— Да уж таким, батенька, Сигизмунд Нарцисович, что в себя не приду... Как и рассудить?..

— Что же именно рассудить?.. Или, быть может, секрет?

— Какой, батенька, от вас секрет... Сами, чай, знаете — ум хорошо, а два лучше... Вот мы с вами, двумя-то умами, и пораскинем.

— Пораскинем...

— Заговорил это Василий Иванович, сперва-наперво, о том, что сын его уже в летах, сорок три года, а до сих пор бобыль... А я ему на это говорю, что вот приедет на побывку в Москву — невест-де здесь много, а он на линии жениха, какого не надо лучше... Может-де выберет... Куда ему, говорит, он у меня, что красная девушка, да и ум не тем занят... Сам я ему невесту-то присматриваю... Вот оно что...

— Вот как...

— Что же, спрашиваю, присмотрели, ваше превосходительство?.. Присмотрел, говорит, уже с полгода как присмотрел, даже и ему отписал, коли, конечно, пишу, согласие родительское будет, а с родителем-де я еще не говорил... Вы кстати пришли, ваше сиятельство... Это он мне-то говорит, поняли?

— Понял...

— Ну, а я, нечего греха таить, спервоначалу не понял... Я-то, спрашиваю, почему кстати... А потому, говорит, нечего делать-то в долгий ящик откладывал, у вас товар, а у меня купец... Имею честь за сына своего Алек-

сандра просить руки вашей дочери, княжны Варвары... Меня в жар бросило от неожиданности...

Князь Иван Андреевич и теперь вынул из кармана халата фуляровый платок и отер выступившие от волнения на лбу крупные капли пота.

— Что же вы ему на это ответили?.. — спросил Кржижановский.

— Я, что же, не обдумав, да не обсудив, ответить сразу нельзя... Поблагодарил за честь... Надо, говорю, подумать, поговорить с дочерью... Я ее не неволю...

— А он что?..

— Зачем, говорит, неволить, но вы, ваше сиятельство, все же отец, лучше своего дитяти ее пользу или счастье видите, так сами и рассудите... Сын мой в летах уже, а пишет мне: из вашего, батюшка, повиновения не выйду, на какой невесте благословите, на той и женюсь... Уповаю, дурную не выберете... Пошел к себе в конторку старик, достал письмо, прочел... Именно так и сказано...

— Что же, это хорошо, что он такой покорный, княжна Варвара Ивановна тоже не лю-

бит противоречий...

— Хе, хе, хе... — засмеялся князь. — Водится этот грешок за Варей, самовластна. Но шутики в сторону, как тут быть?

— Да вам как, по душе этот жених-то? — спросил Сигизмунд Нарцисович.

— Что же, по-моему, партия хорошая, человек известный, на виду, богатый, сестры выделены... Отец с собой в могилу богатства не унесет...

— Староват, пожалуй, для княжны Варвары Ивановны...

— Какой староват, мужчина в самой поре, солдат, крепыш... Бабами не избалован...

— Некрасив, может быть?

— С лица не воду пить.

— Варваре Ивановне как взглянется.

— Вот то-то и оно-то. Как тут и придумать, не знаю... Сразу можно все испортить. Характерна она очень, не знаю уж и в кого... Разве в покойного моего батюшку, тот был, царство ему небесное, кремень, а не человек.

— Значит, вы бы хотели, чтобы эта свадьба устроилась?

— Хотел бы... Ведь что же, год, другой

пройдет, перестарком будет, — со вздохом сказал Иван Андреевич.

— Тогда надо действовать умеючи.

— Да как?..

— Поручите мне.

— Вам!

— Да, мне... Я, бог даст, сумею...

— А как же?

— Не секрет, скажу... Надо воспламенить ее воображение рассказом о нем как о герое и знаменитости, исподволь, умело, заставить ее заочно влюбиться в него... Слава мужчины для женщины имеет притягательное свойство, за нее она простит и лета, и отсутствие красоты. Вспомните Матрену Кочубей и Мазепу. Чем успел увлечь этот старик молодую красавицу? Только ореолом воинской славы...

— Так, так, — даже потер от удовольствия руки князь Прозоровский. — Уж и умница вы у меня, Сигизмунд Нарцисович, уж и умница!

Кржижановский сделал сконфуженный вид.

— Не хвалите заранее, еще, может, и не удастся.

— Ну, вам, кажется, все удастся.

— Так благословите действовать?

— Обеими руками.

— Начнем сегодня же.

— С Богом. Вот у меня теперь точно камень с души свалился. А где теперь Варя?

— Она уехала кататься с Эрнестиной Ивановной.

Князь Иван Андреевич на самом деле совершенно успокоился и с наслаждением уселся на диван.

— А где теперь молодой Суворов? — спросил Сигизмунд Нарцисович.

— Отец мне говорил, что он писал ему из взятого им города Туртукая.

— А-а-а...

— Он ранен, но, слава Создателю, не опасно, в ногу, без повреждения костей.

— Как бы не искалечили его там перед свадьбой.

— Избави Бог. Храни его Бог для России.

— И для княжны Варвары Ивановны, — добавил шутливым тоном Кржижановский.

— Шутник, — потрепал его по плечу князь, — век не забуду услуги, если все это устроится.

Сигизмунд Нарцисович молчал, как-то загадочно улыбаясь.

— А не сыграть ли нам партию пока до обеда, — предложил он после некоторой паузы.

— А что же, сыграем, — радостно принял предложение князь.

Кржижановский достал шашечницу, поставил ее на стол и стал разглядывать шашки, пересев на стул против князя Ивана Андреевича. Игра началась. Слышны были лишь относящиеся до нее замечания:

— Ишь, в дамки пробирается. Не раненько ли?

— А ну-ка я сюда пойду.

— А я так две штучки возьму.

— Пробралась-таки в дамки, и я недоглядел.

— Что толку в дамке, когда ей ходу нет.

— Дамка везде ходит, гуляй себе.

Князь и Кржижановский начали уже четвертую партию, как в передней раздался звонок.

— Это наши, — сказал князь.

Он не ошибся.

Вскоре в кабинет легкой походкой вошла

княжна Варвара Ивановна.

За истекшие два года она пополнила и возмужала и положительно могла бы служить моделью художнику для русской красавицы.

Она поцеловала у отца руку и церемонно присела Кржижановскому.

Выражение их встретившихся взглядов далеко, однако, не гармонировало с этой церемонностью.

ХІХ

Под властью «змия»

В странном положении очутилась княжна Варвара Ивановна Прозоровская относительно Сигизмунда Нарцисовича. С того самого дня, когда она беседовала с ним с глазу на глаз и с радостным чувством убедилась, что пошатнувшийся было пьедестал ее героя стоит незыблемо, она, сама не замечая этого, подпала под власть этого героя.

Кржижановский поставил при этом разговоре на карту свою упроченную в доме ее отца репутацию и будущую возможность обладания ею, но как только увидал, что в его ру-

как козыри, сумел этим воспользоваться.

Княжна, и без того увлеченная его нравственным, да к тому же и физическим обликом, считала себя после возникшего в ее уме страшного подозрения виноватой перед ним и сама шла навстречу этому подчинению железной воле этого человека, подчинению, скоро обратившемуся почти в рабство.

Женщина, даже самая властная, самая своевольная, самая капризная, всегда готова преклониться перед силой и, кажется, в подчинении ей находит больше наслаждения, нежели на свободе. Последняя делает ее ответственной за ее поступки, а женщина более всего не любит этой ответственности и даже, не найдя властелина, старается все ею содеянное объяснить посторонним влиянием. Роль жертвы, большей частью мнимой, любимая роль женщины.

Женщина никогда не виновата. Уголовная статистика всех народов подтверждает, что сознавшихся преступниц наименьший процент. Если же такие преступницы и сознаются, то это самое сознание непременно рисует их жертвами. Это свойство общее для всех

женщин.

Княжна Варвара Ивановна, как мы знаем, почти с малолетства не знала над собой власти и была домашним деспотом, а потому привыкла к свободе и подчинение было для нее новинкой, имеющей свою привлекательность неизведанного.

Путы, надеваемые на нее любимым человеком, казались ей легки и приятны, и скоро она была ими связана по рукам и ногам. Сигизмунд Нарцисович, как искусный паук, ткал свою паутину около нравящейся ему мухи. Люди, подобные ему, обладающие не только сильным характером, но и хладнокровием злодея, действуют неотразимо на женщину. Библейское сказание красноречиво доказывает ее склонность поддаваться обаянию зла.

Мужчина, чтобы быть ее кумиром, должен обладать качествами библейского змия — злобной мудростью, убедительным красноречием и вкрадчивою ласкою. Нет женщины, которая может устоять перед ним и не последовать примеру своей прародительницы, нарушившей заповедь Бога.

Таким змием явился перед княжной Вар-

варой Ивановной Прозоровской Сигизмунд Нарцисович Кржижановский.

Она не устояла, и всецело, повторяем, подпала под его власть. Он мог взять ее каждую минуту, взять всю, безраздельно, по мановению его руки она пошла бы за ним на край света, ни разу не оглянувшись назад. Но он не брал ее, он медлил, он вел ее к какой-то, если не неведомой, то не совсем понятной для нее цели.

Она чувствовала где-то в глубине своей души, что то, на что надеется, что предполагает этот человек, идет вразрез с тем понятием о нравственном и безнравственном, которое ей внушили с детства и о чем не раз повторяла ей Эрнестина Ивановна, но сила над ней этого человека была выше ее самой и заученной ею морали. Великосветское общество Москвы того времени, по распущенности нравов, не давало для Варвары Ивановны почвы, о которую она могла бы опереться, чтобы противостоять планам Кржижановского.

Он с торжеством указывал ей на тех и других представительниц московского света и говорил:

— Смотрите... Так поступают все...

«Так поступают все...» — фраза, которую женщины зачастую кладут в основу своей своеобразной морали.

В устах же любимого и любящего человека она была почти закон.

Сигизмунд Нарцисович, после первой беседы с княжной Варварой Ивановной с глазу на глаз, старался всеми силами повторять такие свидания. Это ему тем более удавалось, что Эрнестина Ивановна Лагранж стала сильно прихварывать и иногда по несколько дней не вставала с постели или не выходила из своей комнаты.

При первом же представившемся случае к подобной беседе он снова завел разговор о смерти князя Баратова. Этим он хотел, с одной стороны, совершенно очистить себя от подозрений, а с другой, как мы увидим далее, имел и иную личную цель.

— Я в одном виноват перед памятью князя! — со вздохом сказал он.

— В чем же? — удивленно спросила княжна, опустив на колени работу, с которой сидела в той же гостиной, в том же кресле как то-

гда, при первом разговоре.

— Меня совсем не огорчила его смерть...
Совсем... Даже напротив.

Он сделал вид, что смутился, и замолчал.

— Напротив? — повторила княжна. — Почему?

Он ответил не сразу. Княжна тревожно смотрела на него. Наконец он начал:

— Нехорошо устроен свет... Счастье одного всегда несчастье другого. Человек возвышается непременно по спинам своих ближних... Если вы видите горе одного, то оно почти всегда составляет радость другого и наоборот... Это тяжело, это прямо страшно возмутительно, но, увы, этого не переделаешь...

— Я вас не понимаю, но при чем же тут князь... и вы...

— Не понимаете? — загадочно спросил Кржижановский.

— Разве то, что он жил счастливый, довольный... делало вас несчастным, недовольным?..

— Нет...

— Так что же вас побуждает не жалеть его?..

— Он должен был жениться на вас, княжна... — после некоторой паузы как бы с трудом произнес он.

— Что же из этого? — начала, было княжна, но вдруг оборвала фразу и вся вспыхнула.

Она поняла.

— Не видеть вас, хотя издали, не жить под одной кровлей с вами, не дышать тем воздухом, которым дышите вы... Это, простите, княжна, для меня невозможно... Лучше смерть...

Он взглянул на княжну, желая проверить действие своих слов. Она сидела, опустив низко голову, бледная как полотно.

— Княжна, ваше сиятельство, простите, я оскорбил вас... Я не скажу более ни слова... Прогоните меня отсюда, даже из дома... О, я несчастный, я оскорбил вас...

Сигизмунд Нарцисович встал и схватился руками за голову. Княжна Варвара Ивановна быстро подняла голову.

— Успокойтесь... Вы ничем не оскорбили меня... но это так неожиданно... так...

Княжна не договорила. Кржижановский несколько раз прошелся по гостиной.

— Как вы добры, княжна! Вы ангел... Вас не обидело, что я, бездомный, ничтожный человек, осмелился поднять полные любви взоры на вас, от которой меня отделяет целая пропасть... О, как мне благодарить вас, княжна.

Она подошла к нему и протянула свои руки. Сигизмунд Нарцисович наклонился и стал покрывать их горячими поцелуями. Она не отнимала их несколько минут, затем тихо высвободила, прошептав:

— Довольно, могут войти...

Этим было сказано все. Они ограничились этим своеобразным объяснением в любви. Он понял, что она любит его и что признание взволновало ее, как давно ожидаемая неожиданность. Она вся трепетала от охватившего ее сладкого чувства сознаний себя любимой любимым человеком.

Их второй роковой для княжны tete-a-tete был прерван вбежавшим учеником Кржижановского.

По тем немым, но красноречивым взглядам, которыми они незаметно для других, стали обмениваться друг с другом, было видно,

что они совершенно поняли друг друга и что княжна бесповоротно нравственно принадлежала Сигизмунду Нарцисовичу. В последующие свидания они даже незаметно перешли на «ТЫ».

— Папа так ценит тебя, так любит... Он согласится, он не пойдет наперекор нашему счастью... — заговорила княжна первая о браке.

— Это невозможно... — вздохнул Кржижановский.

— Что невозможно? Я так хочу! Я настаю на этом... Если же он не согласится, так обойдемся и без его согласия. Я совершеннолетняя. У меня есть состояние моей матери... — продолжала, волнуясь, княжна Варвара.

— Это невозможно...

— То есть что же невозможно? Я не понимаю, — уставилась она на Сигизмунда Нарцисовича.

— В мужья я тебе не гожусь!.. Мы не пара...

— Почему?

— А потому, что всякий бриллиант требует достойной оправы, а я дать тебе такой оправы не могу... Ты должна выйти за богато-

го, за знатного человека.

— А ты?..

— Я, я буду любить тебя!..

— Но как же ты говорил, что почти радовался, что князь Владимир умер? Ведь теперь будет другой...

— Князь не был из таких людей, которые бы приобретали жену для света. Он хотел тебя для себя. Тебе, наконец, князь нравился, ведь нравился?

— Да, немного... — тоном виноватой пролепетала княжна. — Да, я ведь тогда не знала, что ты любишь меня, — сочла она долгом добавить, как бы в свое оправдание.

— Вот, видишь ли... Если же жених нравится, любовь к мужу приходит... Ты должна выйти за того, кто тебе не нравится. Этот брак будет для света. Ты будешь свободна и будешь моей!

— Это ужасно! — воскликнула княжна.

— Что ужасно? — удивленно посмотрел на нее Сигизмунд Нарцисович.

— Что ты говоришь!

— Ничего нет ужасного! Допустим даже, что князь Иван Андреевич согласится на наш

брак. Что из этого будет?

— Будет все хорошо.

— Нимало! Ты не имеешь понятия о жизни. То, что имеет твой отец и ты, разделенное на два дома — почти нищета.

— Мы будем жить вместе.

— Какую роль ты хочешь заставить меня играть в свете?

— Я откажусь от света.

— Это было бы безумием. Ты молода, прекрасна! Ты еще будешь царицей балов. Ты должна вращаться при дворе, в Петербурге! — Он говорил с расстановкой, неотводно смотря ей в глаза.

Он видел, что последний аргумент подействовал. Княжна Варвара Ивановна самовольно улыбнулась.

— Ты думаешь?

— Я в этом убежден...

— Но это безнравственно...

— Какие пустяки... Прописная мораль... Разве ты не видишь, как живут с мужьями твои же подруги...

— Д-а-а-а... — протянула княжна.

— Так живут все...

Княжна возражала слабо. Она была подавлена авторитетом Кржижановского.

Если бы князь Иван Андреевич знал, к чему приведет его дочь это узаконенное им подчинение самого себя и всего дома авторитету Кржижановского, он бы горько раскаялся в своем почти благоговейном доверии к коварному другу.

В дальнейшие свидания Сигизмунд Нарцисович сумел совершенно подготовить княжну к давно намеченному им плану овладеть ею после свадьбы и таким образом быть безответственно счастливым.

Но где сыскать подходящего жениха?

Вот вопрос, который занимал ум Кржижановского, когда князь Иван Андреевич Прозоровский рассказал ему о сделанном предложении за сына со стороны Василия Ивановича Суворова. Подходящий жених был найден.

Что могло быть удобнее для сладострастных целей Сигизмунда Нарцисовича, как муж, отдавшийся всецело службе, которая составляла всю его жизнь. Самое сватовство Александра Васильевича Суворова через его отца указывало, что он смотрит на брак как

на непрременную обязанность гражданина, как на акт рассудка, а не сердца.

Невзрачный и некрасивый, он даст своей жене имя и положение, предоставив ему, Сигизмунду Нарцисовичу, обонять розы брачного венка, не чувствуя их шипов.

Чего же было больше желать ему?

Александр Васильевич Суворов был, таким образом, желательным для Кржижановского претендентом на руку так сильно нравящейся ему княжны Варвары Ивановны. Потому-то он с такой готовностью предложил князю Ивану Андреевичу свое посредничество в этом деле, обещая употребить для этого все свое красноречие и нравственное влияние. Он знал заранее, что почва была подготовлена и что ему не будет особого труда уговорить княжну Варвару принять предложение «знаменитого» Суворова.

Эпитет «знаменитый» хотя в глазах женщин и играет подчас решающую роль, и известность человека, даже независимо от качеств этой известности, часто заменяет для женщины все остальные его физические и нравственные качества, но в данном случае

«знаменитость» жениха княжны Прозоровской в ее глазах не играла почти никакой роли.

Он был для нее только тем ожидаемым мужем, который должен был сделать ее свободной, свободной для любви к ее герою. Право свое на такую свободу она, уже совершенно глядевшая на все глазами своего учителя жизни Кржижановского, считала совершенно естественным, почти законным.

Разрешение, данное Сигизмунду Нарцисовичу князем Прозоровским, влиять на его дочь в смысле склонения ее на брак с Александром Васильевичем Суворовым дало Кржижановскому более частую возможность вести беседы с княжной с глазу на глаз и еще более подчинять ее своему тлетворному влиянию.

О сватовстве имеющего прибыть в Москву молодого Суворова он сказал ей как-то вскользь, небрежно, предполагая как бы заранее, что она ответить отказом не может.

— Это для нас с тобой очень подходящая партия, — заметил он.

— Он молод?

— Нет, ему уже за сорок Он некрасив, говорят, груб, совсем солдат. Но зато...

— Что зато?..

— Он знаменит, и уже теперь его имя гремит по России.

— Меня это не прельщает.

— И я не буду ревновать тебя к нему... — цинично пошутил он.

Княжна одно мгновение брезгливо повела плечами, но Сигизмунд Нарцисович с такою неподдельною страстью посмотрел на нее, что она самодовольно улыбнулась.

— Так ты согласна?

— Хорошо, хорошо, ведь ты знаешь, мне все равно.

Сигизмунд Нарцисович не преминул торжественно объявить князю Ивану Андреевичу о согласии его дочери быть женой сына Василия Ивановича Суворова.

— Да вы просто маг и волшебник! — воскликнул обрадованный отец.

XX

Накануне

В то время, когда Сигизмунд Нарцисович Кржижановский лелеял в своей черной душе гнусную надежду на обладание княжной Варварой Ивановной Прозоровской по выходе ее замуж и, как мы видели, постепенно приводил этот план в исполнение, его достойный друг и товарищ граф Станислав Владиславович Довудский с той же энергией и почти в том же смысле работал около княжны Александры Яковлевны Баратовой.

Дело последнего, впрочем, шло не так успешно, и препятствия только разжигали в нем страсть, заставляя придумывать всякого рода ухищрения для достижения цели — обладания княжной Александрой.

Последняя, получив в руки дневник Капочки, стала еще более в оборонительное положение от своего «поверенного по неволе», оставляя до поры до времени, как она сама думала, в его руках управление делами.

Верная своему слову, она купила у князя

Прозоровского его дворовую девку Пелагею, выдала ее замуж за буфетчика Михайлу, была даже на их свадьбе посаженою матерью и отпустила счастливых супругов на волю, наградив их, как обещала, пятью тысячами рублей.

То счастье, какое она видела на молодых лицах сперва жениха и невесты, а затем мужа и жены, доставляло княжне Александре то еще не испытанное ею удовольствие — удовольствие доброго дела.

Молодые открыли булочную на Тверской улице и зажили. припеваючи, оба благословляя княжну, а Поля внутренне, искренне молилась за упокой рабы Капитолины, ни единым словом, впрочем, даже своему мужу не обмолвившись об истинной виновнице их счастья.

Она даже придумала целую историю, которую и рассказала жениху на его весьма естественные вопросы о том, почему княжна Александра Яковлевна так вдруг, ни с того ни с сего полюбила ее и отвалила ей такой громадный куш в приданое.

— Это все князь Владимир Яковлевич, царство ему небесное.

— Что князь?.. — спросил Михайло, и в его глазах на мгновенье сверкнул ревнивый огонек.

Это не укрылось от Поли.

— Дурак ты, дурак, совсем дурак, посмотрю я на тебя... — спокойно заметила она. — Я покойника-князя только издали и видала, он со мной, голубчик, двух слов не сказал, а ты сейчас невесть что мекать стал...

— Ничего я мекать не стал... — сконфузился сперва Михайло, но потом, несколько оправившись, добавил: — За вами тоже, за девками, да за бабами, надо смотреть в оба.

— Смотри, смотри, авось тогда просмотришь, это всегда с такими случается...

— Ой, не дразни, Пелагея... Знаешь ты мое сердце... — упавшим голосом сказал Михайло.

— Я и не дразню, а на глупые слова отвечаю...

Поля замолчала и надулась. Разговор происходил в отведенной ей княжной маленькой комнате, куда, по праву жениха, имел доступ Михайло.

— Так при чем же тут князь, говоришь, ко-

ли он, может, тебя и не заметил?.. — после некоторой паузы вкрадчиво спросил Михайло.

— Я с тобой после речей твоих и говорить не хочу... — отрезала Поля.

— Ну, виноват, не сердись, Поленька, я так, сдуру... — подошел к ней Михайло и нежно обнял.

Та освободилась от его объятий.

— То-то сдуру... Коли теперь женихом невесть что несешь, что же ты залопочешь, как мужем будешь...

— Женихом-то чай впотьмах, а мужем, коли все по-хорошему, так во как ласкать буду, в глаза не нагляжусь, не надышусь на мою лапушку.

— По-хорошему, — повторила Поля, — а ты думаешь по-дурному... Я тоже Бога имею... А он вон что...

Поля заплакала. Михайло заволновался.

— Поля, Поленька, прости меня, окаянного, невесть что горожу... Потому очень ты мне дорога да желанна...

— Не видать что-то... Коли была бы дорога и желанна, не говорил бы пустых речей.

— Прости, прости меня, ни в жизнь не буду... Помышлять не посмею.

Он обнял ее и стал целовать заплаканные глаза. Примирение состоялось. Поля вытерла глаза от слез, и на губах ее появилась снова улыбка.

— Так расскажи же, касаточка; при чем в нашем счастье князь-то покойный, царство ему небесное?..

— Ох, не стоил бы ты, но уж так, и быть, слушай...

Михайло сел.

— Поклялась я барышне, что люблю тебя и кручинюсь. Думала-де я, ваше сиятельство, что пойду за вами в приданое к князю Владимиру Яковлевичу и тогда поклонюсь вам в ножки, упрошу выдать меня за Михаила, оставить его в буфетчиках, а меня в горничных, а теперь-де, как умер князь-то, батюшка, все мои мысли сладкие распались. Княжна, голубушка, приняла к сердцу горе-то мое... «Я, — говорит, — с княжной Александрой посоветуюсь, ты не плачь, может, судьба твоя и устроится...» Тут, вскорости это произошло, позвала меня ваша княжна и рассказала, что

как княжна Варвара Ивановна ей про любовь нашу поведала, в ту же ночь приснился ей, вашей-то княжне, покойный князь Владимир Яковлевич и наказал поженить нас, отпустить на волю и пять тысяч выдать мне в приданое. Княжна-то Александра Яковлевна на первый сон большого внимания не обратила, но только на другую ночь опять то же ей видится и на третью, тут уж она за мной и послала... За гробом князь-батюшка о нас позаботился.

— Вот оно что... — заметил Михайло, которого этот рассказ, видимо, взволновал. — Истинные чудеса... Царство небесное покойнику, и при жизни не человек, а ангел был, так, видно, и там остался.

Михайло снова перекрестился. Таким придуманным рассказом Поля удовлетворила любопытство своего жениха, и до самой свадьбы, как и после нее, их жизнь не омрачалась уже размолвками даже вроде описанной нами.

Михайло, действительно, не мог наглядеться и надышаться на свою молодую жену. Они были счастливы совершенно, Радовались

за них и другие дворовые люди, как дома княжны Баратовой, так и князя Прозоровского.

Не радовалась только одна Стеша, камеристка княжны Александры Яковлевны. Злобная и завистливая, она отказалась даже присутствовать на свадьбе, под предлогом нездоровья, и не могла простить княжне Александре Яковлевне никакого щедрого благодеяния, оказанного совершенно посторонней девушке.

— Пять тыщ в приданое отвалила, а меня тряпками пичкает, нет чтобы о своей верной рабе позаботиться, на ветер деньги швыряет... Исполать[16] графу Станиславу Владиславовичу, что чистит ее, урода кривобокого, — злобствовала молодая девушка.

Поля рассказала и ей историю снов княжны Баратовой, но она не была так доверчива, как Михайло.

— Ишь, дуру нашла, так я и поверю, тут не сны, а шашни какие-нибудь завелись, которые Пелагея знает, рот ей пятью тыщами, да волей и замазала, — говорила себе под нос Стеша.

Это озлобление горничной к барыне, не замеченное последней, не ускользнуло от зоркого глаза графа Довудского. Подобное настроение Стеши было ему на руку. Он искал себе в союзники близких лиц к княжне Александре Яковлевне, а на что ближе к ней была ее камеристка, которой, как знал Станислав Владиславович, княжна всецело доверяла.

Граф стал заигрывать со Стешей, и заигрыванья его имели успех, подкрепленный подарками, деньгами и разного рода безделушками. Однажды он ей сунул, уходя из дома, в руку крупную ассигнацию. Стеша догнала его.

— Ваше сиятельство... ваше сиятельство... уж очень много пожаловали, не ошиблись ли...

Граф пристально поглядел на Стешу и на ассигнацию, которую она держала в руке.

— Ошибся-то ошибся, ну да твое счастье... не назад же брать, владей... Может, ко мне забежишь когда, если тебе эта бумажка понравилась... Найдется и другая...

Стеша не замедлила прибежать. Между ней и графом Довудским завязались, таким образом, уже более тесные отношения... Он

перестал скрывать от нее свои виды на княжну...

— И на что она вам, ведь кривобокая, еще разрядится — туда-сюда, а то посмотрели бы...

— Не она нужна мне, на что она, когда у меня есть такая, как ты, кралечка... Назло я хочу, унижить ее, чтобы понимала, не смела, швыряться такими людьми, как я... Чтобы век помнила, — объяснял Стеше граф.

— Проучить-то ее следует. Ох, как следует, — согласилась Стеша, которую граф Довудский сумел поставить относительно себя в отношение, исключающее возможность ревности.

— Она знала, что между графом и ею лежит целая пропасть, что граф меняет женщин как перчатки, что для него это — одно баловство. Она была довольна тем, что граф давал ей деньги без счета и вскоре ей не придется завидовать какой-нибудь Пелагее. За помощь относительно княжны Станислав Владиславович обещал ей пять тысяч — именно ту сумму, которую получила в приданое Поля.

— «Получив эти деньги, я будет побогаче

ее», — думала со злобной радостью камеристка княжны Баратовой.

— Последняя и не подозревала, что ненавистный ей граф Довудский нашел себе союзницу в лице Стешы, с которой княжна обращалась как с подругой и которую она поминутно одаривала старыми платьями и другими принадлежностями туалета. Княжна считала Стешу самой преданной себе девушкой и даже подумывала дать ей вольную, оставив у себя на жалованье.

— Я сделаю это тогда, когда он приедет, когда все устроится, — рассуждала сама с собою Александра Яковлевна.

— Этот «он» был Николай Петрович Лопухин, это «все» — был брак ее, княжны, с этим избранником ее уставшего от житейских тревожений сердца. Это была любовь по воспоминаниям.

— Когда Лопухин был здесь, она, окруженная поклонниками, с которыми она играла как кошка с мышкою, почти не замечала его, хотя знала, что он любит ее с самого детства, любит любовью, исключаящею мысль о ее состоянии, но он был для нее слишком мелок,

она еще тогда мечтала о выдающейся партии, о титуле и даже о мужнином колоссальном богатстве.

— Когда же, после трагической смерти брата, она осталась одна, под гнетом угрызений совести, когда все люди вокруг сделались ей противны, она вспомнила о Коле Лопухине и вспомнила, как, вероятно, не забыл читатель, задумавшись о будущем, быть может ожидающем ее счастье, этом луче дивного утра, который должен был рассеять густой мрак окружавшей ее долгой ночи.

— Уединившись в своем московском доме, не уезжая даже летом в Баратово, она стала жить воспоминаниями, и при этих воспоминаниях светлый образ Лопухина все более и более выделялся. Княжна не на шутку полюбила его. Он должен был приехать на днях.

— Война с конфедератами была окончена, и Николай Петрович написал матери, что приедет к ней на побывку.

Все это узнала княжна Александра Яковлевна от старушки Елизаветы Сергеевны Лопухиной, к которой стала заезжать очень часто после того, как мысль о ее сыне стала гос-

подствующей в мозгу княжны. Старушка жила одна, окруженная небольшим штатом прислуги, в маленьком деревянном домике в одном из переулков, прилегающих к Тверской улице. Она была вдова, и Николай Петрович был ее единственным сыном. Люди они были далеко не богатые, имели маленькое именье в Тамбовской губернии, приносящее доход, едва хватавший на скромное существование.

Княжна не удержалась и намекнула старушке, что она также ждет ее сына и если чувства его к ней не изменились, она готова сделаться его женой. Елизавета Сергеевна была в восторге. К чести ее надо сказать, что главною причиною такого восторга было не богатство княжны, а то, что она знала по письмам сына, как последний до сих пор безумно любит княжну Александру Яковлевну. Добрая старушка не удержалась, чтобы не успокоить в этом смысле дорогую гостью. Надежда на счастье в душе княжны Баратовой укрепилась.

Она еще чаще стала навещать Лопухину и еще дольше и откровеннее говорить с ней о ее сыне. Что может быть приятнее беседы

двух любящих людей о третьем и любимом? Мать и невеста стали считать не только дни, но часы, оставшиеся до приезда сына и жениха.

Наконец наступил канун того дня, в который, по их расчету, он должен был приехать. Княжна Александра Яковлевна, напившись кофе, показавшийся ей в этот день какого-то странного, но приятного вкуса, села с книжкой в своем будуаре, решив после обеда ехать к Лопухиной и провести с ней последний день разлуки с сыном. Вошедшая Стеша как-то особенно мрачно доложила о приходе графа Довудского.

— Что ему от меня нужно?

— Их сиятельство говорит, что по очень важному, не терпящему отлагательств делу, — проговорила Стеша.

— Проси сюда... — сказала княжна, так как ей почему-то не хотелось встать с кресла, на котором она так, по ее мнению, удобно усе-лась.

Она чувствовала во всем теле какую-то сладкую истому. Обыкновенно же она принимала графа в гостиной. Стеша удалилась, и

через минуту в будуар вошел Станислав Владиславович, плотно притворив за собою дверь и опустив портьеру. Княжна не обратила и на это внимания. Она была в каком-то полусне. Ей даже показалось, что вошел не граф, а «он», Николай.

Когда на другой день, в два часа, действительно приехал прибывший в Москву утром Николай Петрович Лопухин, княжна Александра Яковлевна не могла принять его. Она лежала в сильнейшей нервной горячке.

XXI

Женитьба

Весть о прибытии в Москву Александра Васильевича Суворова еще за несколько недель до его приезда распространилась по первопрестольной столице. Говорили об этом не только в московском обществе, вообще любившем и любящем чествовать «героев».

Причина этой любви кроется не столько в патриотизме, сколько в общительном нраве москвичей, готовых придраться к каждому случаю, чтобы поест и выпить.

Весть эта проникла и в народную массу, среди которой отставные солдаты, иные даже бывшие под командой Александра Васильевича/распространяли о нем чуть не легенды, воспламенявшие народное воображение и делавшие Суворова новым богатырем земли Русской.

А Василий Иванович, которому князь Иван Андреевич Прозоровский через довольно, впрочем, продолжительное время, как то требовало, по его мнению, его княжеское достоинство, сообщил о вероятном согласии своей дочери на брак с его сыном, ходил положительно «гоголем».

Москва, в ожидании сына, окружала почетом его отца. Старик Суворов даже несколько раз — нельзя скрыть этого — подумал, не поспешил ли он со сватовством сына за княжну Варвару Ивановну?

Он, как и все близкие, с выдающимся деятелем люди, меньше всех ценил именно их деятельность — он любил в Александре почтительного сына, хорошего служаку, не игрока, не мота и не пьяницу, но понятия о «герое» и «гении» не укладывались в его голове с

понятием о «Саше».

Когда же он увидал, как смотрит на него все московское общество, всегда имевшее, впрочем, склонность к некоторым преувеличениям, какие дифирамбы оно курит отцу по адресу «непобедимого», ставя его чуть ли не наряду с первыми государственными деятелям того времени, голова старика отца пошла кругом.

Он уже не сомневался, что предложение самой княжной Варварой Ивановной будет принято непременно, и его мучила мысль, не прогадал ли он в этом случае. Его сын, как оказывается, имеет в России такую известность, что может положительно считаться удочкой для невест, особенно в Москве, княжна же Прозоровская имела в глазах расчетливого Василия Ивановича один существенный недостаток — она была бесприданница. Конечно, приданое в смысле платья и вещей было соответственное ее титулу, но деньгами за ней давали лишь тысяч пять-шесть рублей. Но зато имелся и противовес скромным средствам невесты: она принадлежала по своему рождению к первостатейной московской зна-

ти.

Одно другого стоило, особенно для Василия Ивановича, который был хотя из старой и почтенной, но не знатной фамилии, сам собою вышел в люди и потому не прочь был от именитого родства. Сверх того, невеста, кроме связей, имела преимущество выдающейся чисто русской красоты и молодости. Ей шел двадцать первый год, но она выглядела моложе. На всем этом легко было примириться и успокоиться.

Василий Иванович, после нескольких разновременных минутных колебаний, так и сделал. Он, кроме того, отписал уже сыну о полученном вероятном согласии невесты, и, таким образом, сын должен был приехать в Москву уже в качестве жениха. Отступить было невозможно, да, по зрелому размышлению, не было и надобности. В послушании сына старик был более чем уверен.

Василий Иванович был отец строгий, что, конечно, не имело прямого значения в то время, когда он решился женить сына, но память об отцовской строгости остается в детях и в зрелом возрасте, иногда оказывая на них

некоторое влияние.

В данном случае и другие обстоятельства сложились так, чтобы не разочаровать старика отца в безусловном повиновении ему взрослого и заслуженного сына.

Александр Васильевич был действительно почтительным сыном и любил своего отца искренне. Позже, когда ему приходила на ум мысль об оставлении службы, он говорил, что удалится поближе к «мощам» своего отца. Он должен был признать отцовские доводы относительно женитьбы уважительными; его человеческая натура подсказывала ему то же самое.

Хотя предначертанный путь жизненной деятельности расстилался перед ним еще очень длинным, очень далеким до цели, но Суворов не мог в то же время не чувствовать сухости пройденной жизни, некоторого нравственного утомления от чрезмерного однообразия влечений и дел. Увлечение Глашей, почти мимолетное, — этот роман далекой юности, хотя и не изгладился из памяти Александра Васильевича, но лишь в том смысле, что он стал смотреть на отношения к женщи-

не с необычною осторожностью, почти исключаящую повторения даже подобного романа.

Теперь же он был старый холостяк, человек, как он сам признавал это, способный обманываться в известном направлении скорее и легче, чем юноша, тем более что после клятвы, данной им над гробом Глаши, вел жизнь строго нравственную, женщин не знал, в тайны женского сердца никогда не вникал и несколько этим не интересовался, а потому беспрекословно предоставил отцу выбор своей будущей подруги жизни. Он полагал, что этот выбор будет менее опрометчив. К несчастью, это далеко не оправдалось.

Оговоримся, однако, что от влияния женской красоты не был совершенно защищен «герой-постник». В прощальном письме к Бибикову после войны с конфедератами Александр Васильевич, между прочим, писал:

«Правда, я не входил в сношения с женщинами, но когда забавлялся в их обществе, соблюдал всегда уважение. Мне недоставало времени заниматься ими, я боялся их; они-то и управляют

страною здесь, как и везде; я не чувствовал в себе довольно твердости, чтобы защищаться от их прелестей».

С дамами, действительно, Александр Васильевич был забавно учтив. Он следовал наставлению лорда Честерфильда своему сыну: хвалить прелести каждой дамы без изъятия. И Суворов, беседуя с ними, уменьшал всегда года их. Так, однажды одна молодая барыня представила ему свою двенадцатилетнюю дочь.

— Помилуйте, сударыня, — сказал он, — вы еще сами молоденькая прелестная девушка.

Когда она сказала ему, что она с мужем в разводе, он с неподдельным ужасом воскликнул:

— Пожалуйста, покажите мне его, я никогда еще не видел на свете чудовища.

Другой даме, обладавшей прекрасными глазами, Александр Васильевич при первом же знакомстве сказал:

— Что вижу я! О чудо из чудес! На прекраснейшем небе два солнца!

При этом он протянул два пальца к ее гла-

зам. Все это заставляло думать, что Александр Васильевич не остался равнодушным к описанию красоты Варвары Ивановны Прозоровской, которому с неподдельным восторженным красноречием посвящал его отец целые страницы своих писем.

Молодой Суворов знал, что у его отца есть вкус. Понятно, что он не стал противиться его просьбам и это важное в жизни каждого человека дело завершил с обычной своею решимостью и с быстротою.

И действительно, Александр Васильевич прибыл в Москву в половине декабря 1773 года, помолвка состоялась 18-го, а обручение 22 декабря. Восторженные описания отца не расхолодили впечатления, произведенного на Александра Васильевича красотой невесты, ему показалось даже, что они чересчур сдержанны.

Суворов-сын охотно, вследствие этого, подчинился желанию отца и уже во второй визит сделал предложение и получил согласие, к великому неудовольствию московских маменок, из которых многие прочили его еще до его приезда в женихи их дочкам.

Мы знаем грустную причину согласия на этот брак со стороны невесты, но и со стороны жениха, несмотря на произведенное княжной Варварой Ивановной на него впечатление, не было не только любви, но и влюбленности в романическом смысле. Годы увлечения женщинами для Александра Васильевича прошли, или, лучше сказать, он увлекся женщиной, которая не имеет соперниц, — славой.

В одном из писем к Румянцеву, относящихся к тому времени, а именно от 23 декабря 1773 года, он пишет:

«Вчера имел я не ожидаемое мною благополучие — быть обрученным с Варварой Ивановной Прозоровскою»

— и просит извинения, если должен будет замешкаться в отпуске больше данного ему термина.

Официальная холодность этой фразы в сообщении о предстоящем супружестве не может быть объяснена тем, что письмо писано к начальнику, и лишь указывает на почти чисто официальное, без серьезного участия

сердца, отношение Александра Васильевича к браку. Он на самом деле смотрел на брачный союз как на обязанность каждого человека:

«Меня родил отец, и я должен родить, чтобы отблагодарить отца за мое рождение».

Свадьба была отпразднована 16 января 1774 года. Все это могло совершиться так быстро, как и требовалось непродолжительным отпуском жениха, вследствие того, что приданое и даже подвенечное платье невесты было, как мы знаем, готово.

Венчание происходило в церкви Феодора Студита, что на Никитской, а бал был дан в доме князя Ивана Андреевича Прозоровского, перебравшегося во флигель, где было еще несколько свободных комнат, и отдавшего дом в распоряжение молодых супругов. Весь великосветский московский бомонд присутствовал на этой свадьбе «непобедимого Суворова» и бывшей невесты князя Баратова.

И жених и невеста окружены были ореолом — один воинской, а другая романической

славы. Сигизмунд Нарцисович Кржижановский, успевший понравиться и старику Василию Ивановичу, и даже Александру Васильевичу Суворову, был одним из шаферов невесты. Был в числе приглашенных и граф Станислав Владиславович Довудский, самодовольный, красивый и изящный.

Княжна Александра Яковлевна не присутствовала на свадьбе, так как несколько месяцев тому назад, после перенесенной ею тяжелой болезни, совершенно неожиданно уехала из Москвы неизвестно куда. Даже московские кумушки не могли доискаться причин этого отъезда, не знали также и места, куда удалась красавица княжна.

Отзывался неведением на этот вопрос и граф Довудский, не занимавшийся более, по его словам, делами княжны Баратовой.

Молодые, как мы уже сказали, поселились в доме князя Ивана Андреевича. Это произошло потому, что Александру Васильевичу необходимо было спешить на театр войны, а старик отец не хотел жить врозь с дочерью, которая, как было решено самим Суворовым, должна была остаться в Москве.

По прошествии медового месяца, во второй половине февраля, Александр Васильевич выехал в армию, так как должен был спешить к началу кампании. Молодая Варвара Ивановна Суворова осталась во власти своего искусителя.

Готовилось новое торжество «змия».

Часть третья

Опальный фельдмаршал

I

В Нейшлоте

Было великолепное утро первых чисел мая 1791 года. Крепость Нейшлот, считавшаяся в то время одним из важнейших пограничных укреплений в северной части русской Финляндии, была вся на ногах. Ожидали приезда его сиятельства графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского, имя которого в то время гремело не только на всю Россию, но далеко за ее рубежом.

Только что окончившаяся турецкая война увенчала его неувядаемыми воинскими лаврами: победитель при Кинбурне, Очакове, Фокшанах и Рымнике, совершивший беспрецедентный в истории войн подвиг — взятие Измаила, генерал-поручик Суворов был взыскан с высоты престола мудрой монархиней и награжден: за Кинбурн орденом Святого Андрея Первозванного и бриллиантовым пером на

каску с изображением буквы К., за победу при Рымнике — знаками того же ордена, осыпанными бриллиантами, и шпагой, украшенной бриллиантами и лаврами с надписью «Победителю Великого Визиря», дипломом на графское достоинство, с наименованием «Рымникского» и орденом Георгия первого класса. Император Иосиф пожаловал Суворова графом Римской империи.

После взятия Измаила Александр Васильевич имел неприятное столкновение с всемогущим Потемкиным, причем затронул самую чуткую струну его сердца — гордость.

Григорий Александрович не мог простить этого герою Измаила. Суворов был отозван в Петербург, где государыня, желая наградить победителя, велела спросить его: где он желает быть наместником?

— Я знаю, — отвечал Александр Васильевич, — что матушка-царица слишком любит своих подданных, чтобы мною наказать какую-либо провинцию. Я размеряю, силы с бременем, какое могу поднять. Для другого не вмоготу и фельдмаршальский мундир.

Несмотря на этот прозрачный намек, зва-

ние фельдмаршала, по проискам Потемкина, Суворову дано не было, и великолепный князь Тавриды не хотел даже пригласить увенчанного лаврами последней войны героя на пир, данный им в его новом Таврическом дворце, по случаю побед, одержанных в эту войну над неверными.

За два дня до этого празднества Александр Васильевич был послан в Финляндию с поручением заняться укреплением границы. Для того-то он, основав свою главную квартиру в Фридрихсгаме, должен был приехать в Нейшлот, начальствующие лица и все жители которого, как мы видели, ожидали его.

С рассветом в городе начались приготовления к приему дорогого гостя. Небольшой деревянный домик, в котором помещались нейшлотские присутственные места, был убран цветными коврами и флагами. На пристани перед крепостью стоял большой девятивесельный катер, покрытый красным сукном. В зале городского дома собрались бургомистр, комендант крепости, офицеры, чиновники и почетные жители.

Все улицы были покрыты народом. Все по-

смаатривали на Михельскую дорогу, куда отправлен был крестьянин верхом с приказанием дать немедленно знать, как только покажется экипаж графа.

Суворова знали во всей старой Финляндии еще с 1773 года, когда он, по поручению императрицы, обзиревал этот край. Нейшлотский бургомистр был в то время при какой-то депутации и видел его не один раз, а комендант крепости служил прежде под начальством графа.

Прошло часа три в ожидании знаменитого гостя. Между тем небольшая двухвесельная лодка подошла к пристани. В ней сидели два финна в простых крестьянских одеждах, больших и широкополых шляпах, опущенных, по обыкновению, на самые глаза. Один усердно работал веслами, другой управлял рулем. Лодку не пустили на пристань, и она должна была подойти к берегу несколько подалее. Старик, сидевший у руля, вышел на берег и начал пробираться к городскому дому.

В это время на другом конце улицы, у Михельского въезда, показался крестьянин на

бойкой шведской лошади; он скакал во весь опор и махал рукою. Все пришло в движение. Бургомистр, комендант, депутаты вышли из залы и расположились поперек улицы с хлебом-солью. Все глаза обратились на Михельскую дорогу в нетерпеливом ожидании.

Старик с трудом пробрался среди толпы к дверям городского дома. У входа его остановил полицейский солдат.

— Куда, куда ты? — закричал он.

— К господину бургомистру, — сказал старик.

— Нельзя.

— Я по делу.

— Какие теперь дела... ступай прочь!

— Бургомистра, по закону, всякий может видеть, — продолжал старик с обычной финской настойчивостью.

— Сегодня нельзя.

— Отчего же?

— Ждут царского большого генерала, убирайся.

Старик смиренно выбрался из толпы.

В это время народ заволновался. Вдали показалась коляска. Городские власти и депута-

ты выровнялись, народ стал снимать шляпы. Коляска подъехала, и из нее вышло трое военных.

Бургомистр и комендант двинулись навстречу, но с удивлением заметили, что Суворова между ними не было. Поздравив прибывших с благополучным приездом, комендант справился о графе.

— А разве его сиятельство не приехал? — спросил один из прибывших.

— Никак нет! — ответил озадаченный комендант.

— Он выехал водою прежде нас и, верно, сейчас будет.

Городские власти засуетились. Депутаты вместе с прибывшими отправились на пристань. Посадили на лодку гребцов и послали ее на озеро, на ту сторону, откуда надобно было ждать графа. Толпы народа хлынули на возвышение, с которого открывается вид на юго-восточную часть Саймы.

Прошло с полчаса. Нетерпеливое ожидание выразалось на всех лицах. Вдруг за проливом из стен крепости пронесся стройный гул сотни голосов и одним громовым криком

пролетел по тихой поверхности озера.

— Не проехал ли граф прямо в крепость? — спросил один из прибывших генералов.

— У нас везде часовые, — ответил комендант.

Несмотря на это, в крепость тотчас же послали офицера, узнать, что там делается.

Между тем все с нетерпением посматривали то на озеро, то на крепостные стены. Вдруг гром пушечного выстрела потряс все сердца, гул прокатился по окрестным горам и густое облако взвилось над одной из крепостных башен. За ним грянул другой, третий выстрел. Народ бросился к крепостному валу.

— Граф в крепости! — решили в один голос все.

В эту минуту от крепостной пристани показалась лодка с посланным офицером. Через минуту он был уже на берегу.

— Граф Суворов, — сказал он, подходя к коменданту, — осмотрел крепость и просит к себе вас и всех желающих ему представиться.

Все остолбенели. Комендант, бургомистр, приезжие генералы, депутаты и городские чиновники поспешно сели на катер и лодки

и переправились в крепость.

Гарнизон выстроен был под ружьем на крепостном плаце, канониры стояли при орудиях, а Суворов со священниками и двумя старшими офицерами был на юго-западной башне. Унтер-офицер прибежал оттуда и объявил, что граф просит всех наверх. Тут узнали, что Александр Васильевич уже с час находится в крепости, что он приехал в крестьянской лодке с одним гребцом, в чухонском кафтане, строго приказав молчать о своем приезде, пошел прямо в церковь, приложился к кресту, осмотрел гарнизон, арсенал, лазарет, казармы и приказал сделать три выстрела из пушек.

Озадаченные такой неожиданной развязкою, нейшлотские сановники поспешно поднимались по узким каменным лестницам на высокую угольную башню. В самом верхнем ярусе они остановились на площадке, едва переводя дух от усталости, и увидели бодрого худощавого старика в огромной шляпе и сером чухонском балахоне, под которым виднелся мундир Преображенского полка с широкой георгиевской лентой через плечо.

Это был Суворов. Приставя к левому глазу обе руки, он обозревал в эту импровизированную трубу окрестности замка и, не замечая, по-видимому, присутствия нейшлотских чинов, говорил вслух:

— Знатная крепость! Помилуй бог, хороша, рвы глубоки, валы высоки, через стены и лягушке не перепрыгнуть!.. Сильна, очень сильна! С одним взводом не возьмешь... Был бы хлеб да вода, сиди да отсиживайся! Пули не долетят, ядра отскочат... Неприятель посидит, зубов не поточить... Фашинник[17] не поможет, лестницы не нужны... Помилуй бог, хорошая крепость!..

Вдруг он опустил руки, быстро повернулся на одной ноге и с важным видом остановился перед нейшлотскими властями, которые не успели еще отдохнуть от восхождения своего на вершину высокой башни.

Командир выступил вперед и подал рапорт. Не развертывая его, Александр Васильевич быстро спросил:

— Сколько гарнизона?

— Семьсот двадцать человек, ваше сиятельство... — отвечал командир, знакомый с

лаконизмом своего бывшего начальника.

— Больные есть?

— Шестеро.

— А здоровые здоровы?

— Все до одного.

— Муки много? Крысы не голодны?

— Разжирели все.

— Хорошо! Помилуй бог, хорошо! А я успел у вас помолиться, и крепость посмотрел, и солдатиков поучил. Есть чухонская похлебка?

Бургомистр объяснил графу, что обед приготовлен в городском доме. Суворов быстро повернулся и скорыми шагами пошел с башни. Все отправились за ним почти бегом. Он еще раз обошел ряды солдат и, оборотясь к коменданту, приказал им выдать по чарке водки. Заметно было, что Александр Васильевич в хорошем расположении духа и всем доволен.

Наконец он напомнил еще раз, что пора обедать, и сел на катер. Между тем бургомистр уехал вперед и сделал все нужные распоряжения, так что обед в городском доме был уже совершенно готов и водка стояла на особом столике.

Знаменитый гость не хотел сесть в приготовленную для него коляску. От пристани до самого городского дома он шел пешком, в своем сером балахоне, и на приветствия народа приподнимал обеими руками свою широкополую шляпу. Костюм его возбудил в городе всеобщий восторг.

При входе в городской дом он спросил полицейского солдата, который не хотел пустить его к бургомистру. Солдата отыскали. Он был полумертв от страха.

Суворов весело мигнул ему и сказал по-чухонски:

— Можно видеть господина бургомистра? Я по делу.

Солдат молчал, с трепетом ожидая решения своей участи.

— У, какой строгий! — сказал Александр Васильевич, обращаясь к свите. — Помилуй бог, строгий! Не пустил чухонца, да и только!.. А?.. Можно видеть господина бургомистра?

Бедняга молчал по-прежнему. Суворов опять подмигнул ему, вынул из кармана серебряный рубль и отдал солдату.

Обед прошел очень оживленно. Александр

Васильевич шутил и смеялся. Он, между прочим, рассказал, что недавно ехал в простой телеге по узким финляндским дорогам и не успел своротить, как встретившийся с ним курьер ударил его плетью. Ехавший с ним адъютант хотел было закричать, что это едет граф, но он, Александр Васильевич, зажал ему рот.

— Тише, тише, курьер, помилуй бог, дело великое!

По прибытии в Выборг адъютант его узнал, что курьер был повар генерал-поручика Германа, отправившийся с курьерскою по дорожной за провизией в Петербург, о чем и доложил ему — Суворову.

— Что же вы, ваше сиятельство?

— Что же я... Я сказал адъютанту, что мы оба, курьер и я, потеряли право на сатисфакцию, потому что оба ехали инкогнито.

Разговор перешел на только что осмотренную Александром Васильевичем Нейшлотскую крепость.

— Можно ли взять ее? — спросил Суворов коменданта.

— Какой крепости нельзя взять, — отвечал

тот, — когда взят Измаил.

Александр Васильевич замолчал и, подумав несколько минут, сказал с необычайной серьезностью:

— На такой штурм, как Измаильский, можно пускаться только один раз в жизни.

Обед затянулся на довольно продолжительное время. После обеда Суворов пожелал возвратиться в крепость, хотя помещение для него было отведено в городском доме.

— Мне много не надо, охапку сена да угол, — сказал он.

Комендант распорядился отвести помещение, и Александр Васильевич в течение трех дней пробыл в крепости, изучив ее, и набросал план необходимых исправлений, к которым приказал приступить тотчас же. Сам же возвратился в Фридрихсгам.

II

На свадьбе

В Фридрихсгаме Александр Васильевич жил в доме госпожи Грин, вдовы местного штаб-лекаря, лучшем во всем городе. Граф занимал верхний этаж, а хозяйка помещалась внизу. Она была женщина умная, ловкая, пользовалась общим уважением в городе, хорошо говорила по-русски и вполне умела угодить своему знаменитому жильцу.

Суворов благоволил к ней, приходил к ней в свободные минуты от своих занятий на чашку чая, любил говорить с нею по-шведски и обыкновенно называл ее «маменькой».

У госпожи Грин была дочь и племянница, обе молодые девушки, и обе невесты. Одна стоворена была за доктора, родом итальянца, другая — за голштинского уроженца, бывшего во Фридрихсгаме учителем. Госпожа Грин желала, чтобы обе свадьбы совершились в одно время, и сама назначила день — 16 июля.

В доме, когда Александр Васильевич вернулся из Нейшлота, уже шли приготовления.

За день до свадьбы штаб-лекарша пришла к своему жильцу. Суворов был очень весел, бегал по комнате и, увидев свою «маменьку», сам подал ей стул.

Хозяйка сказала ему о наступающем дне свадьбы дочери и племянницы и просила графа осчастливить ее, быть посаженным отцом у ее дочери. Александр Васильевич согласился и, сверх того, вызвался быть посаженным отцом и у племянницы, заявив, что любит обеих невест и желает познакомиться с их будущими мужьями. Госпожа Грин поблагодарила графа за честь.

— Не за что, не за что! — закричал он. — Я вас люблю, маменька; прямо, по-солдатски, говорю: люблю. Я солдат прямик, не двуличка, где мысли, тут и язык! Смотрите же, маменька, — прибавил он, прищуриваясь и грозя пальцем, — чтобы не был у вас за ужином голодным; я русский солдат, люблю щи да кашу.

— Позвольте мне, граф, посоветоваться с вашим поваром?

— Да, посоветуйтесь; мой Митька славный повар, помилуй бог, какой мастер, на свете

другого нет...

Обрадованная ласковым приемом графа, госпожа Грин откровенно призналась, что беспокоится о тесноте квартиры. Суворов предложил ей свою половину.

— Но я буду в отчаянии, если обеспокою вас, — сказала штаб-лекарша.

— Помилуй бог! — вскричал Александр Васильевич. — Обеспокоить солдата, русского солдата! Разве он неженка, какой? Дайте мне чердачок либо чуланчик да охапochку сенца, я засну, захраплю, разве вот он разбудит!

Тут он хлопнул руками и запел петухом. В тот же день граф перебрался в одну небольшую комнатку и предоставил свою квартиру в распоряжение хозяйки.

Свадебный обряд, по желанию госпожи Грин, должен был свершиться у нее на дому. Комнаты устали мебелью, но во всей квартире не было ни одного зеркала, из уважения к Суворову, который не мог терпеть зеркал. Если ему случалось увидеть незакрытое, то он тотчас отвертывался и во всю прыть проскакивал мимо, чтобы не увидеть себя.

Наступил вечер. Дом осветили. Начали

съезжаться гости, приехали и женихи. Доктор, человек лет тридцати, скромно одетый, имел характер хитрый, вкрадчивый, настоящий итальянский.

Учитель был моложе его несколькими годами, веселого характера и большой щеголь. Он был одет со всею изысканностью последней моды: во французском фраке, нарочно выписанном в Петербурге, белый, туго накрахмаленный галстук высоко подпирал его голову, причесанную по последней, только что явившейся тогда моде *a` la Brutus*, со множеством кудрей, завитых и взбитых кверху; духи и помада разливали благоухание на несколько шагов. Все было готово. Ждали посаженного отца.

Наконец явился Суворов, в мундире, в орденках. Хозяйка представила ему обоих женихов. Граф подал им руки, но при первом взгляде на учителя сделал гримасу, и на лице его появилась насмешливая улыбка.

Пастор начал обряд. Сначала венчали дочь госпожи Грин, потом племянницу. Во время венчанья Александр Васильевич то и дело поглядывал на учителя, нахмутив брови, при-

щуриваясь, глядел на его прическу, выстав-
ляя нос, нюхал воздух и поплевывал в сторо-
ну. Видно было, что модный фрак, духи и, в
особенности, огромная прическа молодого
щеголя произвели на него неприятное впе-
чатление.

Сперва он молчал, потом начал шептать:

— Щеголь! Помилуй бог, щеголь! Голова с
походный котел! Прыгунчик, пахучка!

Он вынул платок и зажал нос.

По окончании венчанья Суворов поздра-
вил молодых. Доктор успел ему понравиться.
Граф обходился с ним очень благосклонно,
почти дружески, с участием расспрашивал о
его делах и называл попросту Карлом Карло-
вичем. Но лишь только подходил бедный
учитель, Александр Васильевич затыкал
платком нос, посматривая с насмешкой на
его прическу.

Заиграла музыка. Граф открыл бал полоне-
зом с дочерью хозяйки, затем с другой моло-
дою. По какому-то странному ослеплению
учитель не замечал дурного впечатления,
произведенного им на своего посаженного от-
ца, танцевал, веселился, перебегая с одного

конца комнаты на другой и вполне высказывая беззаботность своего характера.

По окончании одного танца, отводя на место даму, он был так неосторожен, что наступил Суворову на ногу в то время, когда тот проходил по комнате. Александр Васильевич сморщился, сделал гримасу и, схватившись рукою за конец ступни, закричал:

— Ай, ай, ай, ходить не могу! Господи помилуй, хромаю, калекой стал.

Гости встревожились. Испуганная хозяйка не знала, что делать. Бедный учитель походил на статую. Его молодая жена готова была плакать. Наконец госпожа Грин приказала подать кресло и, обращаясь к Суворову, умоляла его сесть.

Александр Васильевич не слушал, продолжая говорить скороговоркой:

— Ох, кургузый щеголь! Без ноги сделал! Голова с хохлом, с пребольшим хохлом! Ой, помилуй бог, калекой стал! Ох, красноголовка! Большеголовка! Пахучка!

Хозяйка совершенно растерялась. Все гости с недоумением смотрели на эту странную сцену. Вдруг Суворов подошел к госпоже

Грин.

— Маменька! — сказал он. — Маменька, где та щетка, которою перед свадьбой обметали у нас потолки, круглая такая, вот как голова этого щеголя.

Он показал на неподвижного учителя.

— На дворе, граф! — прошептала штаб-лекарша.

— Покажи мне ее!

Надо было повиноваться. Принесли щетку с длинной палкой. Суворов поднял голову.

— Славная щетка, — сказал он, посматривая искоса на бедного учителя, который в отчаянии пробирался к стене, — точно парикмахерский болван!.. Брутова голова! Важно причесана, помилуй бог, как гладко; только что стены обметать! Бруты, Цезари, патриоты на козьих ножках, двуличники, экивоки! Языком города берут, ногами пыль пускают... а голова — пуф!

Щетка, ей-богу щетка!

Тут он повернулся на одной ноге и заговорил с хозяйкой о московских блинах и о том, как должно их готовить. Щетку убрали, и мало-помалу все успокоились, начали гово-

рить, шутить, смеяться и скоро все, кроме несчастного учителя, забыли приключения со щеткой. Только несчастный фридрихсгамский щеголь не мог возвратить своей прежней веселости и не только не смел подойти к Александру Васильевичу, но избегал даже его взгляда.

За ужином Суворов сел между двумя новобрачными дамами и выпил за их здоровье стакан вина. Перед ним поставили два горшка, со щами и кашею.

На другой, день он прислал хозяйской дочери богатый серебряный сервиз. Бедный учитель не получил ничего. На свадьбе было много гостей, и потому приключение со щеткой на другой же день распространилось по всему городу.

Впрочем, о чудачествах графа Александра Васильевича знали уже в Фридрихсгаме. По городу ходило о нем множество рассказов. Говорили, что однажды, среди разговора с одним из высших лиц города, Александр Васильевич вдруг остановился и запел петухом.

— Как это можно! — с негодованием воскликнул собеседник.

— Доживи с мое — запоешь и курицей, — ответил Суворов.

Занимаясь устройством крепостей, однажды Александр Васильевич поручил одному полковнику надзирать за работой новых укреплений. За недосугом или за леностью полковник сдал это поручение младшему по себе. Приехав осматривать работу и найдя неисправность, Суворов стал выговаривать полковнику, который в свое оправдание обвинял подчиненного.

— Ни вы, ни он не виноваты, — отвечал Александр Васильевич. Сказав это, он потребовал прут и начал сечь свои сапоги, приговаривая: — Не ленитесь, не ленитесь! Вы во всем виноваты. Если бы сами ходили по работам, то этого бы не случилось.

Помощником Суворова при постройке крепостей в Финляндии был инженер генерал-майор Прево де Люмиан. Александр же Васильевич, если кого любил, то непременно называл по имени и отчеству, так и этот иностранец получил от Александра Васильевича прозвище Ивана Ивановича, хотя ни он сам, и никто из его предков имени Ивана не носи-

ли, но это имя так усвоилось генералу Преводе Люмиану, что он до самой кончины своей всем известен был и иначе не назывался, как Иваном Ивановичем.

Рассказывали, что, принимая у себя одного чванного господина, Александр Васильевич встретил его, кланяясь чуть не в ноги, и бегал по комнате, крича:

— Куда мне посадить такого великого, такого знатного человека! Прощка! Стул, другой, третий.

И при помощи Прощки Суворов ставил стулья один на другой, кланяясь и прося садиться выше других.

— Туда, туда, туда, садись, милости прошу, а уж свалишься, не моя вина, — говорил Александр Васильевич, улыбаясь.

Один из ближайших к Фридрихсгаму помещиков-баронов приехал познакомиться к Суворову в огромном экипаже на восьми лошадях и просил графа посетить его. Александр Васильевич обещал и даже назначил день. Барон пригласил к себе все местное общество, рассказывая всем, что у него будет сам граф Суворов.

Александр Васильевич приказал запрячь в свой экипаж восемьдесят лошадей, собрав их со всего города. Лошади были запряжены по одной в ряд, и таким церемониалом он ехал двадцать верст от города. Когда первая лошадь была уже у подъездного дома, куда все присутствовавшие вышли встретить его сиятельство, сам он был чуть не за целую версту от подъезда. Сидевший верхом на первой лошади, соскочив с нее, начал кружить лошадей в клубок, и таким образом через полчаса и сам граф прибыл к давно ожидавшей его публике. Все поняли злую насмешку. Обратного Александр Васильевич поехал, по обыкновению, на одной лошади.

На городских, даваемых в честь его балах и вечерах Александр Васильевич проказничал, но при этом был всегда серьезен и никогда не улыбался, как будто бы все это было в порядке вещей. На одном балу он пустился в танцы. Люди вправо, а он влево: такую затеял кутерьму, суматоху, свалку, что все скакали, прыгали и сами не зная куда.

По окончании танцев он подбежал к своему адъютанту и с важностью сказал:

— Видишь ли ты, как я восстановил порядок, а то были танцы не в танцы.

— Как же, видел, ваше сиятельство!.. Отлично, это будет называться танцем Суворова.

— То есть танцем от души, — заметил граф.

История с учителем на свадьбе госпожи Грин не была, таким образом, неожиданно для жителей Фридрихсгама.

Александр Васильевич, впрочем, вскоре сменил гнев на милость и, встретив учителя у своей хозяйки одетым и причесанным просто и скромно, сам заговорил с ним и обласкал.

— Вот так-то лучше, а то придет человеку на ум нарядиться половой щеткой.

Мир был заключен, и Александр Васильевич даже некоторое время спустя послал молодым столовый фарфоровый сервиз.

III

Семейные неурядицы

Ко всем этим странным выходкам и чудачествам Александра Васильевича жители Фридрихстама относились более чем благодушно, главным образом не потому, что он был «большой царский генерал», как назвал его полицейский солдат в Нейшлоте, а вследствие того, что знали его семейное несчастье, сочувствовали ему как оскорбленному мужу и даже все его дурачества приписывали желанию заглушить внутреннюю боль уязвленного коварной изменой жены самолюбия супруга.

Неурядицы семейной жизни «знаменитого Суворова» не были ни для кого тайной. Сам Александр Васильевич охотно всем и каждому рассказывал о своей женитьбе, совместной жизни с женой и разрыве, вдаваясь при этом в малейшие подробности.

Окончательный разрыв относится к 1784 году. Приехав в этом году в Петербург, Суворов только и говорил о своих семейных

неприятностях, не маскировался искусственным спокойствием, а напротив, нисколько не сдерживал себя и доходил до бешенства.

Впрочем, справедливость требует пояснить, что Александр Васильевич имел очень строгий взгляд на брак. Логическим последствием такого взгляда являлось понятие о неразрывности освященного Богом союза, а потому если брак разрывался, то для стороны невиноватой было непременно делом чести и долга очистить себя от обвинения в таком беззаконии. Поэтому Александр Васильевич считал своею обязанностью снять с себя вину в отношении если не брака, то совместной с женою жизни, требуемой браком. По этой причине он не скрывал и от других этого дела со всеми обстоятельствами.

Через семь лет, когда мы застаем его в Фридрихсгаме, обостренное состояние его духа прошло, но желание оправдаться перед людьми в своей одинокой жизни семейного человека осталось, и Суворов при каждом удобном случае подробно рассказывал свою «семейную историю».

По этим рассказам и по замечаниям лиц,

знавших жену Александра Васильевича, урожденную княжну Прозоровскую, первые годы супруги жили в согласии, или, по крайней мере, никаких крупных неприятностей между ними не было. Разлучались они часто по свойству службы мужа, но при первой возможности снова соединялись.

Варвара Ивановна была с Александром Васильевичем в Таганроге, в крепости святого Димитрия, в Астрахани, в Полтаве, в Крыму — везде, где Суворов мог доставить ей некоторую оседлость и необходимейшие удобства. Не было ее лишь в Турции и в Заволжье, во время погони за Пугачевым, но ни тут, ни там ей и не могло быть места при муже.

Было бы, однако же, дивом, если бы они ужились до конца. В муже и жене ничего не было однородного. Он был стар, она молода. Он был неказист и худ, она полная, румяная, русская красавица. Он ума глубокого и обширного, просвещенного и громадной начитанности; она — недалека, неразвита, полуобразованна. Он — чудака, развившийся на грубой солдатской основе, обязанный всем самому себе, она — из знатного семейства, воспи-

танная на внешних приличиях и чувстве фамильного достоинства. Он — богат, но весьма бережлив, ненавистник роскоши, малознакомый даже с требованиями комфорта, она — таровата[18] и охотница пожить открыто, с наклонностями к мотовству.

Не обладали супруги и самым главным условием для счастливой семейной жизни — характерами, которые бы делали одного не противоречием другого, а его дополнением.

Александр Васильевич был нрава нетерпеливого, горячего, до вспышек бешенства, неуступчив, деспотичен и нетерпим. Он много и постоянно работал над обузданием своей чрезмерной пылкости, но мог только умерить себя, а не переделать, и в домашней жизни неуживчивые качества его характера становились вдвойне чувствительными и тяжелыми.

Варвара Ивановна также не обладала мягкостью и уступчивостью, то есть качествами, с помощью которых могла бы сделать ручным такого мужа, как Суворов.

Вся эта нескладица должна была привести рано или поздно к плачевному исходу, а ко-

гда ко всему этому присоединилось еще и легкомысленное поведение Варвары Ивановны, то разрыв сделался неизбежным.

Что он был, обманут, Александр Васильевич, как и все мужья, узнал последний, через пять лет после свадьбы. Это открытие произвело на него ошеломляющее действие, тем более что измена жены началась, чуть ли не с первых месяцев супружества, когда он после медового месяца отправился из Москвы на театр военных действий.

Произошло это в Херсоне, где он, случайно зайдя в комнату жены, застал ее с бывшим губернатором ее двоюродных братьев Сигизмундом Нарцисовичем Кржижановским, которому сам же Александр Васильевич доверил ведение своих дел по некоторым имениям и вызвал по этим делам в Херсон. Преступность нарушенного мужем свидания была настолько очевидна, что Варваре Ивановне ничего не оставалось делать, как сознаться во всем и в тот же день уехать в Москву. Успевший, с присущей полякам юркостью, выскочить из комнаты и тем избежать справедливого гнева мужа, Сигизмунд Нарцисович тоже быстро

отбыл в Белокаменную.

Александр Васильевич в сентябре 1779 года подал в славянскую консисторию прошение о разводе, но ему было отказано за недостаточностью доводов. Суворов апеллировал в Синод, который и приказал архиепископу славянскому и херсонскому пересмотреть дело.

Варвара Ивановна между тем по совету отца, князя Ивана Андреевича Прозоровского, а главным образом и самого Кржижановского, которому, видимо, далеко не улыбалась обуза в виде разведенной жены, готовящаяся связать его по рукам и ногам, возвратилась к мужу и упросила его помириться. В январе 1780 года Суворов подал в этом смысле заявление, и дело осталось без дальнейшего движения.

Неудовольствия, однако, возникли вскоре. Александр Васильевич, как человек религиозный, прибегнул к посредничеству церкви. В то время он находился на службе в Астрахани. По ранее сделанному соглашению он явился в церковь одного из пригородных сел, одетый в простой солдатский мундир; жена его в самом простом платье; находилось тут и

несколько близких лиц.

В церкви произошло нечто вроде публичного покаяния; муж и жена обливались слезами, священник прочитал им разрешительную молитву и вслед за тем отслужил литургию, во время которой покаявшиеся причащались Святой Тайне. Мир опять восстановился, только внешний.

Супруги жили вместе до начала 1784 года, когда из перехваченного письма жены Александр Васильевич убедился, что ее чувство к Кржижановскому не было «безумной шалостью скучающей женщины», как объяснила она мужу, прося у него прощения. Они расстались окончательно.

Александр Васильевич уехал в одно из своих имений и подал оттуда новое прошение, прямо в Синод, опять о разводе.

Синод отвечал, что не может дать делу хода, потому что «подано доношение, а не челобитная, как требуется законом, что для развода не имеется крепких доводов», что Варвара Ивановна живет в Москве, следовательно, и просить надо московское епархиальное начальство, а не Синод.

На этом и окончилась попытка Суворова развестись с женой.

Иван Андреевич Прозоровский начал со своей стороны хлопоты о примирении своей дочери с мужем. Слухи об этом дошли до Александра Васильевича и сильно его встревожили. Он вступил в переписку с одним из своих поверенных, которому даже поручил переговорить лично с московским митрополитом, который, по тем же слухам, стоял за примирение супругов и по просьбе князя Прозоровского взялся быть посредником в этом деле.

«Скажи, — писал Суворов своему поверенному, дворовому человеку Михеичу, — что третичного брака уже не быть и что я тебе велел объявить ему это на духу».

Под вторичным браком Александр Васильевич, видимо, подразумевал примирение близ Астрахани.

«А если владыка скажет, — продолжал в письме Суворов, — что впредь того не будет, то отвечай: „Ожегшишь на молоке, станешь и на воду дуть“.

Если он заметит: „Могут жить в одном доме розно“, ты скажи: „Злой ее нрав всем известен, а он не придворный человек“».

Особенно беспокоил Александра Васильевича вопрос о приданом, ему хотелось вернуть его, а тесть, желавший, чтобы супруги жили вместе, уклонялся от принятия.

Все эти подробности знал не только весь Петербург, но и все те города, где Суворову приходилось проживать, хотя самое короткое время.

Вместо того, повторяем, чтобы замкнуться в самом себе и не допускать не только посторонних рук, но и глаз до своего семейного несчастья, он сделал свидетелем и участником его целую массу людей.

После первой попытки получить развод в 1779 году Александр Васильевич пишет Потемкину письмо, излагает в общих чертах сущность дела, убеждает его, что другого исхода, кроме развода, он иметь не может, просит Григория Александровича удостоить его, Суворова, высоким своим вниманием и предстательством у престола:

«К изъявлению моей невинности и к освобождению меня в вечность от уз бывшего союза».

Прося вторично развода в 1784 году, Александр Васильевич входит в переписку об этом со множеством лиц, преимущественно из своих подчиненных, пускаясь в подробности и не заботясь об ограничении участников и сферы огласки.

Немудрено, что семейные неурядицы героя Суворова были известны всей России, как известно, было и его славное имя. Семейные неприятности усложнились еще тем, что у супругов Суворовых были дети.

Детей было двое. Старшая дочь, Наталья, родилась 1 августа 1775 года. Отец очень любил ее. О первых годах ее жизни и воспитании в доме родительском почти ничего не известно.

В октябре 1777 года Александр Васильевич писал из Полтавы одному из своих знакомых, что дочь вся в него и в холод бегаёт босиком по грязи.

После этого Варвара Ивановна была трижды беременна, но два раза разрешение от

бремени было преждевременно, третий раз, 4 августа 1784 года, родился сын, Аркадий.

Как только Суворов разошелся с женой, он отправил свою дочь в Петербург, к начальнице Смольного монастыря госпоже Лафонь.

Что же касается новорожденного сына Аркадия, то он оставался при матери и лишь через несколько лет перешел к отцу.

Жители Фридрихсгама были почти правы, приписывая чудачества, странности и причуды Александра Васильевича его разбитой семейной жизни.

Действительно, именно после того времени, когда Александр Васильевич разошелся с женой и остался одиноким, он приобретает громкую известность своими чудаческими выходками, некоторые из которых мы уже описали, а с выдающимися из остальных познакомим читателя впоследствии.

Нельзя, конечно, давать разлуке его с женой значения события, от которого ведется летоисчисление этих чудачеств и выходок, но внимательное изучение Суворова, — говорит биограф его А. Петрушевский, — не позволяет и отвергать влияния на него этого обстоя-

тельства. Оно, это влияние, только не укладывается в точную фактическую форму; больше понимается само собой, чем доказывается. Нет ежедневной, ежечасной сдерживающей силы — и человек свободнее отдается своему влечению. А велика ли сдерживающая сила или мала — от этого зависит лишь степень ее успеха.

Таков был Александр Васильевич в 1791 году.

IV

Почти опала

Продолжительная командировка Суворова в Финляндию для наблюдения за постройкой укреплений была своего рода опалой, вызванной, как мы знаем, неприятным столкновением, его с всемогущим Потемкиным.

Шла война с Турцией, в которой один лишь Александр Васильевич обнаружил до сей поры блестящее дарование и решительным ударом подвинул войну к исходу, если бы его победами сумели воспользоваться. Англия, Пруссия и Польша вооружились и угро-

жали другой войной, более вероятной, чем шведская.

Предстояла практическая военная деятельность в обширном размере, а лучшего боевого генерала посылали строить крепости Суворов, по своему обыкновению, весь отдался делу, на него возложенному, хотя и неприятному, и лишь изредка наезжал в Петербург, находя, впрочем, и эти кратковременные отлучки неудобными.

Вернувшись однажды из такой отлучки, он нашел значительную прибыль больных.

«Нашему брату с поста не отлучаться; держитесь сего, коли вздумаете донкишотить, — писал он по этому поводу Турчанинову. — Бегите праздности: коли нельзя играть в кегли, играйте в бабки».

Следуя этому правилу, Александр Васильевич и играл в Финляндии «в бабки», возводя форты, проводя каналы. И эта скромная деятельность, может статься, и удовлетворила бы его если бы в то же время в других местах другие люди не играли бы в «кегли». Но они играли, а философские афоризмы Суворова

оказывались для него самого в применении пустыми знаками.

Кампания 1791 года в Турции велась довольно деятельно, потому что Потемкин проживал в Петербурге, сдав войска во временное начальствование князя Репнина. Она ознаменовалась несколькими крупными делами: взятием штурмом Анапы, разбитием турецкого флота при Калакрии, победою князя Репнина при Мачине.

Все это, вместе взятое, особенно Мачинская победа, где легло на месте свыше четырех тысяч турок, побудило, наконец, султана искать мира. Репнин вступил в переговоры, и по прошествии нескольких дней были подписаны, 31 июля, предварительные условия.

Победы Репнина сильно уязвили Потемкина, который хотел стоять на высоте одиноким и еще в прежнее время опасался возвышения Репнина, как потом Суворова. Он поспешил из Петербурга в Турцию, но опоздал — предварительные условия мира уже были подписаны.

Вскоре, как известно, Григорий Александрович умер. После его смерти переговоры о

мире пошли очень быстро, и в последних числах декабря 1791 года мир был подписан в Яссах.

С горячным чувством следил за этими событиями Суворов. В нем кипела буря, и, чтобы ее утишить, ему приходилось прибегать к самообольщению, к отысканию тени на светлых местах — ко всему тому, что обыкновенно диктует оскорбленное самолюбие.

Конец одной войны миновал его, рожденного для войны. Без него кончилась и другая.

Вскоре после мира с Турцией открылась война с Польшей. Падение Польши, как мы уже имели случай заметить, назревало давно, оно было намечено ходом истории, как в собственном, так и в соседних государствах, и во второй половине XVIII века исход зависел уже только от группировки внешних обстоятельств. Польша сделалась ареной борьбы иностранных государств за преобладание, и правящий класс сам разделался на соответствующие партии.

В конце 1788 года Пруссия, весьма неприязненная России, сделала в Варшаве искусный дипломатический ход и достигла полно-

го успеха. Прусская партия усилилась и подняла голову. Началась задирабельная относительно России политика, оскорбления русского имени и чувства — создано новое для России затруднение в ее тогдашнем и без того затруднительном положении.

Издавна русские войска ходили по Польше по всем направлениям, учреждали магазины и оставались в ней. С началом второй турецкой войны, по предварительном сношении русского правительства с польским, они прошли ближайшим путем, через южные польские земли, в турецкие пределы.

В Польше стали говорить, кричать и писать в виде протеста, что она независимая, самостоятельная держава. С наступлением новой зимы Екатерина велела войскам очистить Польшу и вывезти оттуда магазины. Но этим дело не окончилось.

Подозрительность поляков, при наущениях Пруссии и неразумной ревности господствующей партии, дошла до своего апогея. Опять начались гонения на диссидентов, притеснения их, наказания и даже казни. Екатерина терпела и это, выжидая лучшего време-

ни.

Поляки как будто не видели, что Польша была самостоятельной и независимой только благодаря соперничеству своих соседей и что она не могла выдержать напора любого из них, если другие ему не помешают. Польша не хотела понять, что обращаться таким образом ей, слабому государству, с Россией, государством сильным, значило наносить оскорбления, которые не прощаются. Однако это было очевидно всякому, — даже отдаленный от европейского востока французский двор предостерегал польское правительство и советовал ему быть осторожнее с соседями, особенно с Россией.

Но ослепление господствовавшей партии было слишком велико. Она действовала, конечно, не без исторической основы, припоминая грабительства русских войск в конфедератскую войну, дерзкие поступки некоторых русских начальников, бесцеремонное пребывание в Польше русских посланников, вроде князя Репнина, наконец, раздел части польских земель, который русофобы всецело приписывали России.

Но все это, вместе взятое, доказывало наглядно, что такое есть независимость и самостоятельность Польши, которою она так кичилась.

К несчастью Польши, развивающаяся французская революция представлялась настолько страшной монархическим правительствам, что в состоянии была соединить разъединенных, угрожая принципу первостепенной важности, перед которым другие интересы казались мелкими.

Между Пруссией и Австрией состоялся в начале 1792 года тайный союз, направленный преимущественно против Франции, а летом в этом же году с каждой из этих держав в отдельности Россия заключила оборонительный договор, которым, между прочим, обоюдно гарантировались владения, особенно приобретенные по первому разделу Польши.

Тем временем окончательно состоялся Ясский договор с Турцией — Россия сделалась свободной для сведения счетов с Польшей. Поляки стали думать об обороне, в апреле решено расширить королевскую власть, сделать заграничный заем и прочее. Но было

уже поздно, и через месяц Россия начала военные действия.

Поляки обратились к Австрии и Пруссии. Обе они отказали в помощи и советовали восстановить прежнюю конституцию, измененную 3 мая 1791 года. Тогда только поляки убедились, что должны рассчитывать единственно на самих себя и что Пруссия заигрывает с Польшей, как кошка с мышью.

После усилия многих лет Польше удалось сформировать к этому времени регулярную армию, силою в 60 000 человек.

Русская императрица, чтобы покончить дело как можно скорее, решилась двинуть стотысячные силы. Большая часть этих войск, приблизительно две трети, должна была под начальством генерала Каховского наступать с юга, остальные, под командой генерала Кречетникова, действовать с севера и востока.

Противники господствовавшей в Польше партии примкнули к России и в Тарговицах образовали конфедерацию.

Силы были слишком неравны, а поляки вдобавок еще растянули свою оборонительную линию. Она была вскоре прорвана и Ка-

ховским, и Кречетниковым. Поляки дрались храбро. Местами успех доставался русским дорого, но результат все-таки не подлежал сомнению.

Русские с двух сторон подошли к Варшаве на несколько миль. Король, согласясь с большинством своих советников, отказался от дальнейшей борьбы и со всей армией присоединился к тарговицкой конфедерации.

Военные действия прекратились, господствующая партия сменилась другой.

Александр Васильевич был все это время поистине несчастным человеком. Одна война окончилась без него; другая подготавливалась, велась и завершилась тоже без него, а между тем оба театра войны он знал близко и заслужил на них блестящее боевое имя. Суворов рвался, как лев из клетки, подозревая всех в зложелательстве, интригах, подвохах.

«Постыдно мне там не быть»,

— писал он своему родственнику Хвостову, следившему по его поручению за всем, что происходило в официальных сферах в Петербурге.

В другом письме к Турчанинову Александр Васильевич говорил, что не может «сидеть у платья».

Стараясь выследить интригу, которая удерживала его в Финляндии, он пишет Хвостову, делая разного рода намеки и предположения. А между тем существовали резоны, по которым Александра Васильевича не приходилось посылать из Финляндии на польскую войну.

Во-первых, разделаться с поляками считалось делом немудреным, что и сбылось.

Во-вторых, в марте 1792 года шведский король Густав, смертельно раненный на маскараде одним шведским офицером, умер, а регент, герцог Зюдерманландский, был соседом ненадежным, особенно вследствие доброго его расположения к Франции.

В Финляндии требовалось усиленно продолжать оборонительные работы и держать наготове искусного и опытного инженера. Хвостов так и писал Суворову:

«По могущим случиться в Швеции переменам надеются на вас, как на стену».

Но Александр Васильевич не давал этому резону большой цены. Тут, на севере, только предполагалась возможность войны, а на западе она уже была решена; наконец, в случае надобности, его можно сюда из Польши во всякое время вызвать. По крайней мере, несмотря на шведские обстоятельства, он настойчиво, косвенным образом, напрашивался в Польшу.

«Пора меня употребить, — писал он Хвостову, — я не спрашиваю ни выгод, ни малейших награждений, — полно с меня, но отправления службы... Сомнения я не заслужил. Разве мне оставить службу, чтобы избежать разных постыдностей и отойти с честью без всяких буйных требований».

Однако назначения в Польшу не последовало, и «буйные требования» дошли до того, что Александр Васильевич обратился через Турчанинова к самой императрице.

Государыня поручила Турчанинову отвечать, что польские дела не стоят Суворова, что «употребление его требует важнейших предметов», и для полнейшего успокоения

просителя написала записку, которую и велела к нему отослать. Записка была короткая:

«Польские дела не требуют графа Суворова; поляки уже просят перемирия, дабы уложить, как впредь быть. Екатерина»[19].

Суворов утомился, однако, не сразу и вынес за это время немало душевной муки. Недовольство его настоящим положением не держалось на одном уровне, а увеличивалось, уменьшалось, видоизменялось, смотря по напору обстоятельств и по внушению темперамента.

«Баталия мне лучше, чем лопата извести и пирамида кирпича»,

— пишет он Хвостову.

«Мне лучше — 2000 человек в поле, чем — 20 000 в гарнизоне!»

— жалуется он также и Турчанинову.

Последний указывает ему и ту выгодную сторону, что жизнь его, по крайней мере, спокойна.

Александр Васильевич возражает:

«Я не могу оставить 50-летнюю привычку к беспокойной жизни и моих солдатских приобретенных талантов... Я привык быть действующим непрерывно, тем и питается мой дух... Пред сим в реляциях видел я себя, нынче же их слушать стыдно, кроме патриотства... О мне нигде ни слова, как о погребенном. Пятьдесят лет практики обратили меня в класс захребетников; стерли меня клеветы, ведая, что я всех старше службой и возрастом, но не предками и не камердинерством у знатных. Я жгу извести и обжигаю кирпичи, чем ярыги со стоголавою скотиною (публикой) меня в Петербурге освистывают... Царь жалует, псарь не жалует... Страдал я при концах войны: Прусской — проиграл старшинство, Польша — без шпицрутенный, прежней Турецкой — ссылка с гонорари, Крым и Кубань — проскрипция... Сего 22 октября (1792) я 50 лет на службе; тогда не лучше ли кончить мне непорочно карьеру? Бежать от мира в какую деревню, готовить душу на переселение... Чужая служба абшид, смерть — все равно, только не захре-

бетник...»

*Стремись, душа моя, в восторге к
небесам
Или препобеждай от козней стыд
и срам.*

Наконец 10 ноября 1792 года финляндская ссылка Суворова кончилась. Рескриптом императрицы Екатерины от 10 ноября под начальство Александра Васильевича отдавались войска в Екатеринославской губернии, в Крыму и во вновь присоединяемых землях, и приказано немедленно приводить в исполнение по проектам инженер-майора де Волана укрепление границ.

«Ку-ка-ре-ку»

Полученное назначение далеко не соответствовало стремлениям Александра Васильевича. Ему предстояло променять одни постройки на другие, да еще свои на чужие. Правда, это доказывало доверие к нему государыни и одобрение всего им сделанного, но смысл деятельности все-таки не изменялся.

Первое время Суворов даже думал отказаться. Но там, на юге, у него были шансы на боевую службу, ввиду турецких военных приготовлений, а тут, на севере, никаких. Это соображение его успокоило и ободрило.

В ноябре он выехал как бы обновленным, с радостью и надеждой. Надежде этой суждено было осуществиться не там, где он предполагал.

Около двух лет прошло, а Александру Васильевичу все приходилось возиться с «лопатами извести и пирамидами кирпича» и тщетно дожидаться «баталии». Он волновался, выходил из себя, подавал несколько раз проше-

ния о дозволении поступить на иностранную службу, но все было тщетно.

Наконец судьба улыбнулась ему.

В Польше произошли важные и неожиданные события. В то время как весь цивилизованный мир был потрясен ужасами французской революции, Польша, ведомая к гибели самим Провидением, с жадностью прислушивалась к кровавым известиям о парижских зверствах и, видимо, нашла их достойными подражания.

В 1794 году Польша заволновалась. Вековечным позором покрыла себя несчастная нация выполнением гнусного заговора, результатом которого было нападение на сонных и беззащитных находившихся в Варшаве русских людей.

Эта страшная резня произошла в ночь на 7 апреля, с четверга на пятницу Страстной недели. Священные для христиан дни были осквернены братоубийством. Выстрелы, раздавшиеся у арсенала, были сигналом кровавого дела.

Злодеи высыпали на площадь, а из окон домов бросали им оружие, хозяева же домов,

где жили русские, еще накануне любезные до приторности, напали на своих постояльцев сонных, раздетых... Жены и дети польских панов бросали камнями из окон в бежавших, застигнутых врасплох несчастных. Из 8000 русских половина была перебита или изувечена.

Этот бесчеловечный подлый поступок требовал страшного возмездия. Екатерина приказала двинуть войска и начальство над частью их, по совету Румянцева, поручила Александру Васильевичу.

— Я посылаю в Польшу двойную силу, — сказала она, — войска и Суворова.

И действительно, его имя, еще грозное в Польше, навело панику на мятежников и наполнило радостью сердца боготворивших его солдат. С нетерпением ждали его войска с того момента, как весть о его назначении с быстротою молнии разнеслась по России.

Наконец 22 августа отряд Суворова прибыл в Варковичи, где уже находились войска, вверенные его команде.

— Приехал, приехал... — раздалось по лагерю.

— Здесь он, отец наш... — слышались радостные возгласы солдат.

— Где, где?

— Там, на лугу, в сеннике.

И действительно, Александр Васильевич прибыл в простой повозке, со своей неизменной скромной свитой, камердинером Прошкой, поваром Митькой и казаком и расположился в сеннике.

Одет он был в белом кителе, в коротких полотняных панталонах, сапогах, с короткими мечом, подвязанным к поясу портупеей. На голове была шляпа.

Собравшимся явиться по начальству генералам и офицерам он коротко объяснил волю императрицы.

— Надо пораспугать беспокойный народ, — сказал он. — Необходимо их успокоить, мирных — миром, буйных — штыками, коли честью нельзя.

Он замолчал и, по обыкновению, зажмурил глаза.

— Войскам выступать, когда пропоет петух, идти — быстро, полк за полком... Голова хвоста не дожидается... Жителей не обижать,

с бабами не воевать, подростков не трогать.

Он ограничился этим словесным приказанием и, отпустив всех, сел за свой скромный обед, состоящий неизменно из щей и каши. После обеда Александр Васильевич лег отдохнуть. Постелью ему служило душистое сено, покрытое плащом из синего сукна, который сделал себе Суворов в Херсоне, получив первое жалованье.

Лагерь между тем совершенно ожил. Солдаты усиленно готовились к выступлению, чистили оружие, осматривали патроны, точили штыки и сабли.

Александр Васильевич отдыхал недолго. Он вскоре уже сидел на сене перед разложенной картой и обдумывал план будущих военных действий.

Он вскочил, захлопал в ладоши, и по лагерю, среди вечерней тишины, пронеслось «ку-ка-ре-ку!». В это же мгновение барабанщики ударили в барабаны, трубачи заиграли в трубы.

Вмиг палатки слетели с мест, и не прошло четверти часа, как корпус в четырнадцать тысяч человек быстро двинулся вперед, неся в

сердцах убеждение в несомненной победе над неприятелем: с ними был Суворов. В полночь давали роздых, но с первым лучом зари снова слышалось из стана Александра Васильевича громкое «ку-ка-ре-ку».

Эта с первого взгляда странная причуда имела глубокий смысл — замаскировать расчет времени для предстоящих действий не только от населения, но и от своих войск, в предосторожность от шпионов, так как в рядах находилось некоторое число офицеров и солдат бывших польских войск.

Александр Васильевич во все время похода не слезал со своей казацкой лошади. Суворов любил своего донца. Когда после взятия Измаила ему подвели редкую лошадь, которой не было цены, и просили принять ее в память знаменитого дела, он отказался, сказав:

— Нет, мне она не нужна. Я прискакал сюда на донском коне, с одним казаком; на нем и с ним ускачу обратно.

Тогда один из генералов заметил ему, что теперь он поскачет с тяжестью новых лавров. На это Суворов отвечал:

— Донец всегда выносил меня и мое сча-

стве.

На этом-то донце Александр Васильевич объезжал быстро движущиеся полки. То тут, то там слышались раскатистые приветствия:

— Здравия желаем, ваше сиятельство!

— Здорово, чудо-богатыри! Здорово, братцы... Помилуй бог, молодцы...

— Ребята, — обратился в одном месте Александр Васильевич к солдатам, — ведь злодеев-то, слышно, много, силища, ну, да мы их поколотим, ведь поколотим, чудо-богатыри?

— Как пить дать поколотим, — в один голос ответили из первого ряда два рослых гренадера, — ведь штык-то наш молодец... по пяти на него мало, по десяти упрячем...

— Пулю-дуру тоже зря не пустим... виноватого найдет...

— Знатно, хорошо, помилуй бог! Знатно молвил... Тебя как зовут? — обратился он к одному из гренадеров.

— Воробьевым, ваше сиятельство...

— Воробьевым? Какой же ты воробей, ты будь Соколом. А тебя как?..

— Голубевым.

— Тоже голубь — птица нежная, ты будь

Орлом.

— Слушаю-с, ваше сиятельство, — ответил бравый солдат.

Эти прозвища, данные великим Суворовым, остались за ними на всю жизнь.

— А что, — спросил в другом месте Александр Васильевич у одного из ротных командиров, — старички у тебя есть крымские, кинбурнские, ырымникские?

— Есть, ваше сиятельство... Эй, Михайло Огнев! Высокий, статный гренадер выступил вперед.

— Здравия желаю, ваше сиятельство! — гаркнул он. Александр Васильевич несколько времени всматривался в солдата, затем зажмурил на мгновенье глаза и снова открыл их.

— Помилуй бог, я тебя помню, знаю, видал... только где, не могу припомнить.

— В кинбурнском сражении, ваше сиятельство, — отвечал Огнев.

— А, помню, помню, как ты колошматил турок, одного, другого, третьего. Вот тут мне турецкая пуля сделала дырочку, — Суворов указал на левую руку, — ты с другим товари-

цем свели меня к морю, вымыли рану морскою водой и перевязали... А ты помнишь, как ты за мною следом бегал во все время сражения?

— Помню вашу ко мне милость, отец наш, ваше сиятельство.

— А, каков? — воскликнул Суворов.

— Молодец, одно слово... ваше сиятельство! — гаркнули все солдаты, думая, что Александр Васильевич обращался к ним.

— Огонь, чудо-богатырь... Прощай, Огонь... Прощай, чудо-богатырь... Прощайте и вы все, чудо-богатыри, все вы молодцы, все русские.

И Суворов уехал под гром возгласов.

— Счастливо оставаться, ваше сиятельство... Счастливо оставаться, отец наш родной!..

Объехав, таким образом, весь корпус, здороваясь со всеми, приветствуя по-своему каждую роту и эскадрон, Суворов к вечеру стал посреди войска, слез с коня и сказал:

— К заре!

Пробили на молитву. Он снял шляпу и, вытянувшись, громко, внятно прочел вместо «Отче наш» следующую молитву:

«Всемогущий Боже! Сподобившись святым Твоим промыслом достигнуть сего часа, за все благодеяния, в сей день от Тебя полученные, приносим благодарное и за прегрешения наши, — кающееся сердце, молим Тя, ко сну нас отходящих покрой святым Твоим осенением. Аминь»[20].

Перекрестившись, он надел шляпу, сел на лошадь, распрощался и поскакал туда, где для него было разложено сено. Несколько раз вставал он ночью и тихо разговаривал с часовым.

— Тише, тише говорите! Пусть спят витязи! — говорил Александр Васильевич.

Чуть стало рассветать, он вскочил. Прошка облил его три раза холодной водой. Александр Васильевич поспешно оделся, и по всему стану пронеслось протяжное:

— Ку-ка-реку!

— Пойдем и покажем, как бьют поляков, — сказал Суворов, отправляясь в поход, и сдержал слово.

Первым его подвигом было взятие Кобрина; затем он разбил неприятельский корпус при Крупчицах и двинулся к Брест-Литовску.

У этого города завязалось упорное, кровопролитное сражение. Поляки дрались с отчаянной храбростью, но на стороне русских было правое дело, и с ними был Суворов. Одно появление его перед войском удесят�еряло силу солдат, и они одержали новую славную победу. Множество храбрых пало близ Брест-Литовска. Товарищи по-христиански простились с убитыми и снесли их в общую могилу. Это было 6 сентября 1794 года.

На другой день рядовые и офицеры, в полных мундирах, отправились к кургану, на котором стояло уже множество крестов, поставленных в вечную память павшим братьям. Туда же прибыл и Александр Васильевич. Приказав отслужить общую панихиду по убиенным, он с усердием молился и по окончании священнодействия, произнес надгробную речь.

— Мир вам, убитые! — говорил Суворов. — Царство небесное вам, христоролюбивые воины, за православную веру за матушку-царицу, за Русскую землю павшие! Мир вам! Царство вам небесное! Богатыри-витязи, вы принесли венец мученический, венец славы!.. Мо-

лите Бога о нас.

Брестский успех завершил победоносное движение Суворова по Польше на долгое время. Александр Васильевич остался в Бресте в ожидании подкрепления. Войска стали лагерьем.

VI

Фельдмаршал

Выжидательное положение в Бресте имело своей причиной необходимость соединения сил.

Наконец силы были стянуты. На собравшемся военном совете было единогласно принято предложение Суворова идти на Варшаву.

По доходившим известиям, поляки сильно укрепили Прагу и готовились к отпору. Александр Васильевич не скрывал этого от солдат, а, напротив, заранее им внушал, что Прага даром в руки не дастся. По своему обыкновению, объезжая ежедневно на походе войска, он останавливался у каждого полка, здоровался, балагурил, называл по именам знако-

мых солдат, говорил о предстоящих трудах. Чуть не весь полк сбегался туда, где ехал и беседовал с солдатами Суворов, — это беспорядком не считалось.

— Нам давным-давно туда пора, — говорил Александр Васильевич, — помилуй бог, пора! Поляки копают, как кроты в земле.

— Был бы только приказ — взять, все будет взято, — слышались солдатские замечания.

— Осерчал поляк, показать себя хочет... Строится.

— Сердит, да не силен, козлу брат... Другого Измаила не выстроят, а и тому не поздоровилось.

Так рассуждали солдаты.

Дух войска был как нельзя лучше: долгое брестское сидение не сопровождалось праздностью и бездельем; последующий поход был далеко не из трудных, переходы невелики, отдыхи частые, особенных недостатков не ощущалось. Больше всего приходилось терпеть от холода, так как в холщовых рубашках пронимало насквозь, особенно по ночам, но и это горе вскоре миновало, так как к войскам подвезли зимнее платье.

Суворов мерз в холщовом кителе вместе с войсками и надел суконную куртку только тогда, когда все облачились в зимнее платье. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания солдат. Много подобных мелочи прибавляли к репутации Александра Васильевича.

22 октября 1794 года русские войска расположились в виду Праги, укрепленного предместья Варшавы. Запылали костры, и солдаты, собравшись в кучки, спокойно говорили о близком часе, в который многим из них придется предстать перед престолом Всевышнего.

В семь часов вечера стали читать войсковой приказ. Он не был красноречив, но по силе выразительности понятен каждому. Глазил он следующее:

- 1) Взять штурмом Пражский ретрешамент[21]. И для того:*
- 2) На месте полк строится в колонну поротно. Охотники со своими начальниками станут впереди колонны, с ними рабочие. Они понесут плетни для закрытия волчьих ям пред временным укреплением, фашинник для закидки рва и лестницы, чтобы лазать из рва*

через вал. Людям с шанцевым инструментом быть под началом особого офицера и стать на правом фланге колонны. У рабочих ружья через плечо на погонном ремне. С ними егеря, белорусы и лифляндцы; они у них направо.

3) Когда пойдём, воинам идти в тишине, не говорить ни слова, не стрелять.

4) Подойдя к укреплению, кинуться вперед быстро, по приказу кричать «ура!».

5) Подошли ко рву — ни секунды не медля, бросай в него фашинник, спускайся в него и ставь к валу лестницы; охотники стреляй врага по головам; шибко, скоро, пара за парой лезь! Коротка лестница — штык в вал, лезь по нем другой, третий, товарищ товарища оберегай! Став на вал, опрокидывай штыком неприятеля и мгновенно стройся за валом.

6) Стрельбой не заниматься; без нужды не стрелять; бить и гнать врага штыком; работать быстро, скоро, храбро, по-русски!.. Держаться своих в середине; от начальников не отставать, везде фронт.

7) В дома не забегать; неприятеля,

просящего пощады, щадить; безоружных не убивать; с бабами не воевать; малолеток не трогать.

8) Кого из нас убьют — царство небесное! Живым — слава, слава, слава!

Этот приказ прочли три раза.

— Нам доподлинно известно, что нашему отцу-командиру угодно, — говорили старики, — не впервой нам. Мы усердно исполним его волю. Послужим нашей матушке-царице.

— Разделаем мы поляков под орех, будут знать, как изменнически убивать людей. Как осквернять убийствами страшные дни. Пора их урезонить.

Все были бодры, веселы, готовились точно на пир, а не в сражение. Русское сердце чувствует победу.

Темная, холодная ночь опустилась над лагерем. В три часа пополуночи началось выступление. В грозном молчании двигались вперед черные массы воинов.

По гениальному распоряжению Суворова русские были почти возле самого рва, когда неприятель увидал их. Послышались оклики часовых, мгновенно сменившиеся выстрела-

ми. Русские шли вперед под градом пуль, картечи и ядер, не отвечая на выстрелы.

Вдруг по рядам наступавших раскатилось громкое «ура!» Неприятель дрогнул. Все смолкло на мгновение — первое укрепление было взято.

Начался смертельный бой. Поляки защищались, как львы. Битва продолжалась в течение двенадцати часов. Кровь лилась рекой, стоны, вопли, мольбы, проклятия и боевые крики стояли гулом, сопровождаемые барабанным боем, ружейной трескотней и пушечными выстрелами. На общую беду своих, многие, спрятавшиеся в домах, стали оттуда стрелять, бросать камнями и всем тяжелым, что попадалось под руку. Это еще более усилило ярость солдат.

Бойня дошла до своего апогея: врывались в дома, били всех, кого попало, и вооруженных и безоружных, и оборонявшихся и прятавшихся, старики, женщины, дети — всякий, кто подвертывался, погибал под ударами.

Наконец Прага была взята. Страшное пламя, раздуваемое ветром, охватило город. Панический ужас овладел поляками.

На другой день этого страшного боя через реку Вислу переправились две лодки с белыми флагами. Это прибыли три депутата города Варшавы. Их проводили к ставке Суворова по грудам тел, по лужам крови, среди дымившихся развалин.

Александр Васильевич сидел в наскоро разбитой простой солдатской палатке, на деревянном обрубке, другой такой же, но несколько выше, служил ему столом. При виде приближавшихся Суворов вышел из палатки и пошел к ним навстречу. Он был в простой куртке, без орденов и в каске.

— Мир, тишина и спокойствие! — воскликнул он, сбросив с себя саблю. — Да будет впредь между нами мир.

С такими словами он обнял депутатов. Они, было, заговорили, но Александр Васильевич прервал их:

— С Польшей у нас нет войны, я бью мятежников.

Варшава сдалась без выстрела. 29 октября Александр Васильевич торжественно въехал в столицу Польши, верхом, одетый в ежедневную кавалерийскую форму, без орденов и зна-

КОВ ОТЛИЧИЯ.

Городской магистрат, в черной церемониальной одежде, находился в сборе на варшавском конце моста. По приближении Суворова старший член магистрата поднес ему на бархатной подушке городские ключи, также хлеб-соль и сказал краткое приветственное слово.

Александр Васильевич взял ключи, поцеловал их, поднял очи к небу и произнес:

— Боже, благодарю Тебя, что эти ключи достались мне не такою дорогою ценою, как...

Он оглянулся на развалины Праги, и его глаза затуманились слезами.

С моста войско стало вступать в город. Перед Суворовым ехал офицер, держа на подушке городские ключи.

Варшава кипела жизнью. Во всех окнах домов, на всех балконах виднелись любопытные зрители. На улицах толпился народ. Слышались крики:

— Виват, Екатерина!

— Виват, Суворов!

Кое-где восторженные возгласы прерывались криками протестующих патриотов, но

ни выстрелов, ни других каких-либо неприязненных действий не было.

О вступлении в Варшаву Александр Васильевич донес императрице Екатерине II со свойственным ему лаконизмом:

«Ура! Варшава наша!»

Государыня ответила с такой же красноречивою краткостью:

«Ура, фельдмаршал!»

Вслед за этим императрица удостоила его следующим рескриптом:

«Вы знаете, что я не произвожу никого через очередь и никогда не делаю обиды старшим, но вы, завоевав Польшу, сами себя сделали фельдмаршалом».

Александр Васильевичу был пожалован фельдмаршальский жезл, осыпанный бриллиантами, и семь тысяч крестьян около завоеванного им Кобрина.

Австрийский император Франц прислал ему свой портрет, украшенный алмазами, и прусский король Фридрих-Вильгельм ордена Черного и Красного Орла.

Полученным им званием фельдмаршала Суворов был обрадован донельзя. В то время были только два фельдмаршала: Разумовский и Румянцев, но девять генералов были старше Александра Васильевича и, следовательно, по старшинству имели более прав на это звание.

Известие о назначении его фельдмаршalom пришло в то время, когда у Александра Васильевича было несколько близких к нему лиц. Он не сказал им ни слова, а только перещеловал всех и выбежал в другую комнату. Слышно было, что отдавал какие-то приказания Прошке.

Вскоре он вернулся. Все ожидали, что он расскажет содержание полученной им из Петербурга бумаги, но он не торопился и, по-видимому, совершенно спокойно разговаривал посторонних предметах. Некоторые из бывших у него хо ли было откланяться, но он удержал их.

Прошло около часу. В комнату вошел Прошка.

— Готово, ваше сиятельство!

— Все? — спросил Суворов.

— Все-с.

— Ставь стулья.

Прошка начал исполнять приказание.

Александр Васильевич между тем, как ни в чем не бывало, продолжал прерванный разговор. Гости недоумевали, слушали хозяина и с удивлением смотрели на Прошку, раставлявшего посреди комнаты стулья на совершенно равном друг друга расстоянии.

— Стой! — вдруг крикнул Суворов, когда Прошка поставил девятый стул и уже брался за десятый. — Довольно. Теперь все.

Прошка отошел в глубь комнаты.

— Господи, благослови, — истово перекрестился Александр Васильевич и неожиданно для всех прыгнул через первый стул.

— Одного Салтыкова обошел. Последовал прыжок через второй стул.

— Помилуй бог, и другого Салтыкова обошел. Прыжки продолжались, и при каждом Суворов называл имя генерала, старшего его по службе, которого он обошел.

— Вот и Репнина.

— И Эхсита.

— И Прозоровского.

— Мусин-Пушкина.

— Каменского.

— Каховского.

— И вас, князь Юрий Владимирович Долгорукий, обошел. Во как, — сказал Александр Васильевич, прыгнув через последний, девятый стул. — Всех обошел, а никого не уронил. Это хорошо, знатно, помилуй бог, как хорошо, как знатно. Ну, Прощка, теперь давай мне мундир.

Александр Васильевич вышел. Удивленные гости остались в томительном ожидании разгадки всего происходящего.

Наконец, вернувшись в полной парадной форме, Суворов объяснил, в чем дело, приказал явившемуся духовенству служить молебн, а после молебна вышел к войску.

Солдаты уже знали о полученной их любимым начальником царской милости. Громкое «ура» раскатилось по их рядам при появлении вновь назначенного фельдмаршала.

Александр Васильевич верхом на коне въехал в середину войска и сказал речь, полную высоких наставлений о вере в милосердного Бога, верности и преданности к престолу

и о нравственности.

— За Богом молитва, а за государыней служба не пропадет, — заключил он ее.

Еще более громкое и радостное «ура» солдат было красноречивым на нее ответом.

Александр Васильевич пробыл в Польше до конца 1795 года, когда последовал окончательный раздел королевства, расстроенного внутренней смутой. Король отрекся от престола. По разделу России достались: Вильно, Гродно, остальная часть Волыни, Семигалия, Троки, Новогрудск, Брест и Холм с уездами. Пространство приобретенной земли составляло 2183 квадратных мили, с 1 176 590 жителями.

В ноябре 1795 года Суворов сдал Варшаву пруссакам и сам уехал в Петербург.

VII

Отец и дочь

Расставшись окончательно с женой в 1784 году, Александр Васильевич Суворов, как уже известно читателям, поместил свою девятилетнюю дочь в Петербурге, в надежные руки Софьи Ивановны де Лафон, начальницы Смольного монастыря.

Тотчас вслед за этим началась его переписка с любимой дочерью Наташей, затем он находился на службе в Петербурге, следовательно, виделся с дочерью лично и опять в конце 1786 года разлучился с нею на довольно долгий срок.

К этому-то времени и относится, в сущности, та переписка Суворова с «Суворочкой», переписка, так хорошо очерчивающая отца и сделавшая дочь известностью.

Горячая привязанность Александра Васильевича к своему ребенку проглядывает в каждой строке, в каждом слове этой переписки. Известиями о своих победах Суворов постоянно делился с дочерью, беседовал с ней

вскользь и о других предметах, подделываясь даже слишком к ребяческому пониманию Наташи.

В своих кратких письмах он любил рассылать нравоучительные сентенции и разного рода наставления. О жене, Наташиной матери, он не упоминал никогда.

После кинбурнской победы, оправившись от ран, он пишет:

«Будь благочестива, благонравна, почитай свою матушку Софью Ивановну, или она тебе выдерет уши и посадит на сухарики с водицей... У нас драки были сильнее, чем вы деретесь за волосы, а от пули дырочка, да подо мною лошади мордочку отстрелили, насилу часов через восемь отпустили с театра в камеру... Как же весело на Черном море, на Лимане: везде поют лебеди, утки, кулики, по полям жаворонки, синички, лисички, а в воде стерляди, осетры — пропасть».

В следующем письме он говорил:

«Милая моя Суворочка, письмо твое получил, ты меня так утешила, что я, по обычаю своему, от утехи запла-

кал. Кто-то тебя, мой друг, учил такому красному слогу. Как бы я, матушка, посмотрел теперь тебя в белом платье! Как это ты растешь? Как увидимся, не забудь рассказать мне какую-нибудь приятную историю о твоих великих мужах древности. Поклонись от меня сестрицам (монастыркам). Божье благословение с тобою».

К историческое теме, которую, как видно, затрагивала Суворочка, писавшая вообще складно, Александр Васильевич возвращается и в следующих письмах.

«Рад я с тобой говорить о старых и новых героях; лишь научи меня, чтобы я им последовал. Ай да Суворочка, здравствуй, душа моя в белом платье (старшем классе), носи на здоровье, расти велика. Уж теперь-то, Наташа, какой у них (у турок) по ночам вой: собачки воют волками, коровы охают, волки блеют, козы режут. Они (турки) так около нас, очень много, на таких превеликих лодках, шести большие к облакам, полотны на них на версту. На ином судне их больше, чем у вас в

Смольном мух, — красненькие, зелененькие, синенькие, серенькие. Ружья у них такие большие, как камера, где ты спишь с сестрицами».

Продолжая угощать свою Суворочку, или сестрицу, как он ее называл, подобными детскими гиперболами и описаниями, Александр Васильевич в 1788 году ей сообщает:

«В Ильин и на другой день мы были в refectoire с турками; ох, как мы потчевались! Игнали, бросались свинцовым большим горохом да железными кеглями в твою голову величины; у нас были такие длинные булавки да ножницы кривые и прямые, рука не попадается, тотчас отрежут, хоть и голову. Кончилась иллюминацией, фейерверком. С festin турки ушли ой далеко, Богу молился по-своему и только; больше нет ничего. Прости, душа моя, Христос Спаситель с тобой».

В таком роде продолжал Суворов переписку с дочерью всю вторую турецкую войну, то по-русски, то по-французски, изредка писал и по-немецки.

После Рымникской победы, пожалован-

ный в графы и Русской, и Священной Римской империи, Александр Васильевич с гордостью написал письмо к своей дочери, начав его словами: *«Comtess de deux empires»*, говорит, что чуть не умер от удара, будучи осыпан милостями императрицы.

«Скажи Софье Ивановне и сестрицам, что у меня горячка в мозгу, да кто и вытерпит. Вот каков твой папенька за доброе сердце».

Ответных писем своей дочери он ждал с нетерпением.

«Мне очень тошно, я уже от тебя и не помню, когда писем-то видал. Мне теперь досуг; я бы их читать стал. Знаешь, что ты мне мила, полетел бы в Смольный и тебя посмотреть, да крыльев нет. Куды право какая, еще тебя ждать 16 месяцев».

Ровно через месяц он ей пишет:

«Бог даст, пройдет 15 месяцев, то ты поедешь домой, а мне будет очень весело. Через год я буду в эти дни по арифметике считать. Дела наши приостановились, иначе я не читал бы твоих

*писем, ибо они мне бы помешали ради
моей нежности к тебе».*

Время это пролетело.

Александр Васильевич, после недружелюбного объяснения с Потемкиным в Яссах о награде за взятие Измаила, приехал в Петербург. Это было незадолго до выпуска дочери из Смольного монастыря.

Наконец 3 марта 1798 года выпуск состоялся. Графиня Наталья Александровна была пожалована во фрейлины и помещена во дворец около императрицы.

Этот знак особой милости и внимания Екатерины к ее знаменитому полководцу произвел на него совсем не то действие, на которое рассчитывали.

Под разными предлогами, которые сводились к желанию отца видеть около себя дочь после давней с ней разлуки, Наташа через некоторое время перешла в родительский дом.

Государыня, конечно, не стала настаивать на своем, уступила, но этот поступок Суворова не мог не затронуть ее щекотливость, тем более что задевал, вообще, придворные кру-

ги, выказывая к ним пренебрежение.

Поступить так бестактно, в ущерб своим собственным интересам, заставила Александра Васильевич сильная антипатия ко всему придворному, разжигаемая опасениями насчет дочери.

По своей натуре, по военно-солдатскому воспитанию, по вкусам, по внешним качествам, вообще по всему Суворов не был человеком придворным или даже способным приспособиться к требованиям придворного быта.

Пребывание дочери у отца продолжалось до отъезда последнего в Финляндию, когда волей-неволей надо было снова представить ее ко двору.

Снова началась переписка между отцом и дочерью. В ней целый ряд житейских наставлений.

«Будь непрекаемо верна великой монархине, — писал Александр Васильевич. — Я ее солдат, я умираю за отечество; чем выше возводит меня ее милость, тем слаще мне пожертвовать собою для нее. Смелым шагом прибли-

жаюсь я к могиле, совесть моя непятнана, мне 60 лет, тело мое изувчено ранами, и Бог оставляет меня жить для блага государства».

В другом письме он пишет:

«Помни, что дозволение свободно обращаться с собой порождает пренебрежение; берегись этого. Приучайся к естественной вежливости, избегая людей, любящих блистать остроумием, по большей части это люди извращенных нравов. Будь сурова с мужчинами и говори с ними немного, а когда они станут с тобой заговаривать, отвечай на похвалы их скромным молчанием... Когда будешь в придворных собраниях и если случится, что тебя обступят старики, показывай вид, что хочешь поцеловать у них руку, но своей не давай».

Время шло.

Александр Васильевич был все время вне Петербурга, а его дочь находилась на попечении его сестры Олешевой и родственника Хвостова.

Постоянная забота о Наташе и вечные за

нее тревоги должны были, наконец, утомить Суворова и натолкнуть его на мысль о женихе, хотя недавно он назначил Хвостову термин в 2 или 3 года, раньше которого Наташа не должна выходить замуж.

В кандидатах в женихи не было недостатка.

Первым явился молодой сын графа Н. И. Салтыкова, управлявшего военным департаментом.

Графине Наталье Александровне в то время не было еще шестнадцати лет.

Молодой граф был неказист и подслеповат, и, несмотря на блестящие связи, которые бы приобрел Александр Васильевич, выдав замуж свою дочь за сына Н. И. Салтыкова, ему было отказано за молодостью невесты.

Следующим искателем руки был молодой князь Сергей Николаевич Долгорукий, но его ухаживание было встречено холодно.

Его сменил другой жених, и в конце 1791 года кандидатом явился царевич Марианн Грузинский. По словам Суворова, — ведшего сватовство своей дочери письмами, — «царевич благодетел, но недостаток один — они

дики».

Сватовство не состоялось.

За царевичем следует еще несколько женихов, и дело почти слаживается с молодым графом Эльмптом.

Графиня Наталья Александровна заявила, что она без отрицания исполнит волю отца купно с волею императрицы, то есть дала согласие не безусловное, так как волю, государыни еще не знала.

Императрица на брак с иноверцем не соизволила.

Наконец, последним женихом, ставшим мужем графини Суворовой, был граф Николай Александрович Зубов. В пятницу, на Масленой 1795 года, совершилось торжественное обручение в Таврическом дворце.

Александр Васильевич по этому поводу писал:

«Благословение Божие Наташе и здравие с графом Николаем Александровичем; айда, ну, дочка, как меня она утешила».

29 апреля, в отсутствие Суворова, все еще находившегося в Варшаве, они были обвенча-

VIII

Приём

В день отъезда Александра Васильевича из Варшавы морозило и дул сильный, резкий ветер. Стекла дорожного дормеза были, вследствие этого, все подняты, так как Суворов боялся за свои больные глаза.

Переехав Вислу и проезжая по Праге, он с нескрываемым удовольствием глядел по сторонам, замечая сглаживающие следы прежнего бедствия и множество новых зданий, воздвигнутых на месте пожараща.

— Слава Богу, кажется, забыто прошедшее, — сказал он самому себе, и лицо его озарилось радостной улыбкой.

Проехав Прагу, он обратил внимание на то место, где была после штурма разбита его палатка, в которой он принимал варшавских депутатов. Проезжая передовую линию укреплений, он проговорил сквозь зубы:

— Волчьи ямы еще не заросли, и колья в них живут до времени. Милостив Бог к Рос-

сии, разрушатся крамолы, и плевелы исчезнут.

Александр Васильевич истово перекрестился.

Скоро скрылась Варшава и Прага в мгlistой дали. Потянулась белая однообразная дорога. Санный путь еще не совсем установился. Кочки и выбоины попадались на каждом шагу и награждали Суворова непрерывными толчками. Не привыкший к продолжительной езде в крытом экипаже, он то и дело вскрикивал, но все же решил продолжать путь безостановочно, отдыхая только по ночам.

Впереди скакал курьером один из его адъютантов Тищенко, заготавливавший лошадей, ночлеги и прочее.

На втором ночлеге Тищенко приготовил и убрал для ночлега теплую хату, но не догадался осмотреть в ней запечье, где спала глухая старуха.

Александр Васильевич приехал и, по своему обыкновению, разделся донага и приказал окатить себя холодной водой. Чтобы расправить одеревеневшие от долгого сидения чле-

ны, он, не одеваясь, стал прыгать по хате, напевая по-арабски разные изречения из Корана.

Проснувшаяся старуха выглянула из запечья, приняла Суворова за черта и закричала благим матом:

— Ратуйте, с нами небесная сила!

Александр Васильевич в свою очередь перепутался от неожиданности и также поднял крик:

— Ведьма, помилуй бог, ведьма!

Явились люди и вывели старуху, полумертвую от ужаса.

На всем пути готовились новому фельд-маршалу торжественные встречи, но он этого не хотел и разослал самые категорические просьбы и запрещения. Многие послушались, но не все. Александру Васильевичу пришлось прибегать к хитростям, чтобы избежать встреч.

Не доезжая Гродно, Александр Васильевич послал своего адъютанта просить губернатора князя Репнина отменить церемониал торжественной встречи, назначенный по Высочайшему повелению в Гродно, Митаве и Риге.

Князь отвечал, что не может не исполнить воли императрицы, и, приказав все приготовить, послал своего адъютанта вперед, для того чтобы тот немедленно уведомил его, как только покажется дорожный дормез фельдмаршала.

Адъютант не прождал и часу, как показалась простая кибитка, закрытая рогожей. С кучером сидел на козлах Прошка, камердинер Суворова.

— Скоро ли будет его сиятельство, граф Александр Васильевич? — спросил адъютант Прохора.

— Его сиятельство едет за нами.

И кибитка покатила далее. Едва только она исчезла из виду, как адъютант Суворова обратился к адъютанту Репнина и сказал ему:

— Теперь прошу вас довести до сведения князя, что фельдмаршал проехал.

— Когда? В чем?..

— Сейчас, в кибитке, которую вы видели.

— Не может быть!

— Можете сами удостовериться.

В это время приблизился к разговаривающим пустой дормез. Так ушел Александр Ва-

сильевич от церемониальной встречи в Гродно.

В Митаве и Риге, по убедительной просьбе фельдмаршала, коменданты отменили назначенный церемониал.

Суворов счастливо и без задержки доехал до Стрельни. Он прибыл туда в полночь, 3 января 1796 года.

Несмотря на совершенный им длинный, утомительный, без отдыха путь, Александр Васильевич тотчас по приезде начал отдавать распоряжения на завтрашний день.

— У тебя все в порядке? — спросил он своего камердинера Прошку.

— Все, Александр Васильевич, только надо купить ленту на косу да пудры.

— Ладно, купим. Эй, мальчик!

Мальчишками Суворов называл своих адъютантов. Тищенко немедленно явился.

— Скажи сейчас в Петербург, к графу Николаю Александровичу Зубову, и узнай у него обо всем.

— О чем же, ваше сиятельство?

— Спроси его только: «Что, как и где?» — да поезжай скорее и, кроме того, пошли купить

там ленту на косу и пудры.

— Слушаю-с!..

Адъютант ускакал.

Граф Николай Александрович на предложенные вопросы отвечал:

— Ох, уж вы мне, все хорошо...

На другой день, 4 января, в Стрельню была выслана, по повелению императрицы, парадная придворная карета при эскорте из чинов конюшенного ведомства. Туда же выехал навстречу своему тестю и граф Николай Александрович Зубов. Несколько других генералов встретили его еще раньше.

Александр Васильевич облекся в фельд-маршальский мундир со всеми орденами, сел в присланный экипаж и отправился в Петербург.

Был сильный мороз, свыше 20 градусов. Несмотря на это, Суворов просидел весь переезд в одном мундире, с открытой головой, держа шляпу в руке. Его спутники, граф Зубов и генералы Исленьев и Арсеньев, поневоле следовали его примеру.

По прибытии в Петербург, к Зимнему дворцу, Александр Васильевич зашел предвари-

тельно к графу Платону Александровичу Зубову, чтобы обогреться самому и дать отойти от стужи полузамерзшим спутникам.

Исленьев и Арсеньев из субординации молчали, но граф Николай Александрович сказал с неудовольствием одному из свиты Суворова:

— Твой молодец нас всех заморозил.

Из покоев Платона Зубова отправились в приемные комнаты императрицы.

Екатерина приказала узнать все привычки Александра Васильевича и оказывать особое внимание даже к его причудам. Узнав, что ее знаменитый полководец враг роскоши вообще, а в особенности зеркал, государыня приказала вынести из покоев, которые он должен был проходить, всю дорогую мебель и повесить зеркала и картины.

Прием Суворову был оказан самый блестящий. Императрица после приветствия заговорила с ним о предполагавшейся тогда персидской экспедиции и предложила ему главное начальствование.

— Помилуй бог, матушка-царица, так сразу! — воскликнул Александр Васильевич.

— То есть как сразу? — с недоумением спросила государыня.

— Это дело надо обмозговать, мудреное дело.

— Так обмозгуйте, — улыбнулась Екатерина и перевела разговор на другую тему.

На прощанье императрица взяла со стола драгоценную табакерку с изображением Александра Македонского и, вручая ее Суворову, сказала:

— Примите от меня этот подарок. Никому так не прилично иметь портрет тезки своего, как вам. Вы велики, как он.

Суворов упал к ногам государыни. Екатерина подняла его, а он со слезами благодарности облобызал ее руку.

Александр Васильевичу и его свите назначен был для жительства Таврический дворец, куда он тотчас же по окончании аудиенции и отправился. Велено было заранее разузнать все привычки Суворова и сообразно с ними устроить его домашний обиход.

Приехав в Таврический дворец, Александр Васильевич вприпрыжку пробежал по комнатам вплоть до спальни, не заметив, что его

езде встречала придворная прислуга.

В небольшой спальне с диваном и несколькими креслами уже была готова пышная постель из душистого сена и ярко горел камин. В соседней комнате стояла гранитная ваза, наполненная невской водой, с серебряным тазом и ковшом для омовения и прочими принадлежностями.

Суворов разделся, сел у камина и приказал подать варенья. Он был очень оживлен, необыкновенно весел и особенно красноречив; говорил с воодушевлением о милостивом приеме императрицы, но в конце заметил:

— Государыне, расцвели, помилуй бог как красно, азиатские лавры!

На другой день начались визиты. Приняты были, однако, весьма немногие, и в числе их Державин и Платон Зубов.

Державина Александр Васильевич встретил дружески, без всяких церемоний и оставил обедать. Так же бесцеремонно обошелся он и с Платоном Зубовым, но в другом смысле.

Накануне, когда Суворов приехал в Зим-

ний дворец из Стрельни, граф Зубов встретил его не в полной форме, а в обыкновенном ежедневном костюме, что было принято за неуважение и пренебрежение. Теперь Александр Васильевич ему отплатил, приняв временщика в дверях своей спальни, в одном ночном белье.

Живя в Петербурге, Суворов был предметом общего любопытства и внимания. Он вошел на первое время в моду: о нем говорили, спорили, ему прислуживались и угождали, так что зависть и недоброжелательство до поры спрятались и замолкли.

Он вел прежнюю жизнь, с некоторыми уступками столичным условиям, и обедал уже не в 8 часов утра, а в 10 или 11, причем всегда бывали у него гости.

Обед состоял из четырех или пяти кушаньев, которые обыкновенно подавались в маленьких горшочках. В скромные дни эти кушанья были: варенная с разными пряностями говядина, под названием «тушеной», щи из свежей или кислой капусты, иногда калмыцкая похлебка — башбармак, пельмени, каша из разных круп и жаркое из дичи или

телятины. Весной, даже в скоромные дни, Александр Васильевич любил разварную щуку, под названием «щука с голубым пером». В постные дни: белые грибы, различно приготовленные, пироги с грибами, иногда щука с хреном.

Во дворце у государыни он бывал редко, в особенности избегал парадных обедов.

Узнав, что он ехал из Стрельни в одном мундире, Екатерина подарила ему соболью шубу, крытую зеленым бархатом, но Суворов брал ее с собой, только едучи во дворец, да и то держал на коленях и надевал, лишь выходя из кареты.

Обращение Александра Васильевича с императрицей было для придворных сфер необычайное, режущее глаза. Однажды на придворном балу государыня, обходя гостей и беседуя с ими, приблизилась к Суворову.

— Чем потчевать дорогого гостя? — спросила она.

— Благослови, царица, водочкой!.. — сказал, кланяясь, Суворов.

— А что скажут красавицы-фрейлины, которые будут с вами разговаривать? — замети-

ла Екатерина.

— Они почувствуют, что с ними говорит солдат, — простодушно отвечал Александр Васильевич.

Императрица собственноручно подала ему рюмку тминной, его любимой.

Цесаревич Павел Петрович как-то пожелал его видеть. Суворов вошел к нему в кабинет и начал проказничать. Цесаревич этого терпеть не мог и тотчас остановил баловника, сказав ему:

— Мы и без этого понимаем друг друга.

Александр Васильевич сделался серьезен и по окончании делового разговора, выйдя из кабинета, побежал вприпрыжку по комнате, напевая:

— *Prince adorable, despote implacable...*

Это было, конечно, передано цесаревичу.

Принимая визиты от именитых и чиновных лиц, Суворов по-своему оказывал им разную степень внимания и уважения. Увидев в окно подъехавшую карету и узнав сидящее в ней лицо, он выскочил однажды из-за стола, сбежал к подъезду, вскочил в карету, когда лакей отворил дверцу, и просидел в ней

несколько минут, беседуя с гостем, а затем поблагодарил его за честь, распрощался и ушел.

В другой раз, тоже во время обеда, при визите другого лица, Александр Васильевич не тронулся с места, приказав поставить около себя стул для вошедшего гостя.

— Вам еще рано кушать, прошу посидеть! — сказал он ему.

Начался разговор. Когда же гость откланялся, то Суворов не встал его проводить.

Его частым и любимым гостем продолжал быть Гавриил Романович Державин. Раз за обедом разговор зашел о смерти.

— Моя близка, ой как близка... — сказал Александр Васильевич и, обратясь к Державину, спросил его: — Какую вы мне напишете эпитафию?

— Я не переживу вас, ваше сиятельство.

— Ну а если... — добавил Суворов.

— Какая же вам нужна эпитафия!.. Я написал бы просто: *«Здесь лежит Суворов»*.

— Помилуй бог, как хорошо!.. — воскликнул Александр Васильевич. — Помилуй бог, хорошо.

Он бросился обнимать и целовать певца

Фелицы.

— Помилуй бог, как я люблю поэзию, тут язык богов... — сказал Суворов.

— Да вы сами поэт... — заметил Державин, намекая на то, что Александр Васильевич писал стихи.

— Нет, — ответил тот, — поэзия — это вдохновение, а я складываю только вирши.

IX

Ссылка

В Петербурге Александр Васильевич пробыл недолго. Через несколько недель ему нашлось дело.

Императрица предложила ему съездить в Финляндию и осмотреть пограничные укрепления. Суворов с радостью согласился на это предложение.

Он много поработал над этим делом, в 1791 и 1792 годах, окончив главное и наметив подробности остальных работ, которые после него и продолжались по его мысли и планам. Он ехал смотреть на свое детище, и Екатерина понимала, что никто лучше его не мог оце-

нить сделанное.

Он отсутствовал недолго, в половине декабря он уехал и вернулся к Рождеству, совершенно довольный всем найденным.

Вскоре по возвращении в Петербург он снова его оставил и отправился в Тульчин, где должен был сформировать армию из 100 000 человек.

Местечко Тульчин принадлежало графу Потоцкому. Прибыв на место своего назначения, фельдмаршал немедленно занялся приведением в исполнение возложенного на него поручения. Он поместился в нижнем этаже дома, принадлежащего графу Потоцкому. Он снова весь окунулся в привычную для него деятельность и ежедневно учил солдат по частям.

По субботам было общее учение и потом развод. Перед разводом фельдмаршал говорил солдатам поученья, оканчивавшиеся большею частью следующими словами:

— Безбожные, окаянные французишки убили своего царя. Их надобно проучить. Но они мастера драться, а потому и вам, ребята, должно хорошенько поучиться, чтобы не уда-

рить лицом в грязь!..

Интересны, вообще, взгляды Александра Васильевича на происходившее в то время во Франции, высказанные им еще до отъезда из Петербурга.

Раз у него собралось много знатных эмигрантов, которые взапуски говорили о своих жертвованиях в пользу несчастного короля. Суворов прослезился при воспоминании о добродетельном короле, падшем от злодейской руки своих подданных, и сказал:

— Жаль, что во Франции не было дворянства. Этот щит престола защитил в стрелецкий бунт нашего помазанника Божия.

Эмигранты закусили губы и замолчали. В другой раз одному иностранцу, горячему стороннику французской революции, Александр Васильевич сказал:

— Покажите мне хоть одного француза, которого бы революция сделала счастливым? При споре о том, какой образ правления лучше, надобно помнить, что руль нужен, а важнее рука, которая им управляет.

Вследствие этого Суворов считал войну с французами священной обязанностью всяко-

го монархического правительства и с радостной надеждой ожидал окончания переговоров с Англией и выступления в поход.

Переговоры окончились. Начались спешные приготовления.

Вдруг...

Наступило 6 ноября 1796 года. Императрица Екатерина скончалась. На престол вступил ее сын — Павел Петрович, Это известие как громом поразило всю Россию и распространилось по ней с быстротой электрической искры.

На Александра Васильевича оно произвело прямо ошеломляющее впечатление. Получил он роковое известие в Тульчине 13 ноября. Во все время панихиды по в бозе почившей государыне он стоял на коленях и горько-горько плакал.

Кончина Екатерины II произвела не на одного Александра Васильевича потрясающее впечатление. В гвардии плакали. Рыдания раздавались и в публике по церквам.

В Петербурге дрожь всех пронимала, «и не от стужи, — замечает современник, — а в смысле эпидемии».

Наступающее новое время называли торжественно и громогласно «возрождением»; в приятельской беседе осторожно, вполголо-са — «царством власти, силы и страха»; меж четырех глаз — «затмением света».

То же самое было всюду, хотя и не в такой степени, — отдаленность в этом случае много значила.

Не все имели пессимистический взгляд на будущее, и если мало насчитывалось поклонников Павла Петровича, то гораздо больше критиков Екатерины.

В Петербурге за Павла было ничтожное число гатчинцев. В Москве, этом, со времени Петра Великого, приюте недовольных настоящим положением, «умные люди» перешептывались, что «в последние годы, от оскудения бдительности, темные пятна везде пробивались через мерцание славы». В простом народе перемена царствования произвела радость, потому что время Екатерины было для него чрезвычайно тяжело.

С первых же дней нового царствования произошла перемена внутренней и внешней политики. Прекращена война с Персией, а

также оставлены приготовления к войне против Франции.

Для Александра Васильевича это было жестоким ударом. Он не переставал оплакивать кончину великой Екатерины, говоря всем:

— Без матушки-царицы не видать бы мне Кинбурна, Рымника, Измаила и Варшавы.

Лишенный надежды на близкую войну, он был постоянно не в духе. Преобразования по военной части, начатые тотчас же по воцарении Павла Петровича, нашли в нем открытого и неосторожного порицателя.

— Русские прусских всегда бивали, — говорил он, — что же тут перенять... Я лучше прусского короля, я, милостью Божиею, баталии не проигрывал... Солдаты невеселы, унылы, разводы скучны, шаг уменьшают в $\frac{3}{4}$ и так на неприятеля, вместо 40–30 верст... Я пахарь в Кобрине лучше, нежели только инспектор, каковым и был подполковником.

Получив в войска палочки для измерения кос, Суворов отозвался:

— Пудра не порох, букли не пушка, коса не тесак, я не немец — природный русак.

Слова эти доходили до государя. Нашлось

немало людей, которые обрадовались случаю погубить «упрямого чудака», и действовали, как мы увидим, не без успеха.

Император Павел Петрович разгневался на то, что фельдмаршал медлил с приведением в исполнение некоторых новых его постановлений.

Желая уничтожить существовавшие при генералах многочисленные свиты, отвлекавшие множество офицеров из строя, государь определил число лиц для штаба каждого начальника, а всех излишних повелел возвратить немедленно в полки. Относительно производства офицеров, их перемещений, отпусков, увольнений были изданы новые правила. Вместе с тем воспрещено употреблять воинские чины на частные работы, по домашним делам или в курьерские должности.

Между тем от Суворова был прислан адъютант с одними партикулярными письмами, уволен им в отпуск офицер без высочайшего соизволения и, наконец, прислан офицер курьером. За все это Александру Васильевичу было объявлено монаршее неудовольствие.

Выговоры были объявлены в высочайших

приказах 15 и 23 января 1797 года, а вслед за сим, 27 января, фельдмаршалу повелено явиться в Петербург и быть «без команды».

«Упрямый чудак» в Петербург не поехал, так как ранее этого написал государю письмо, а 3 февраля послал прошение об отставке.

Высочайшим приказом, отданным при пароле 6 февраля 1797 года, изображено так:

«Фельдмаршал граф Суворов отнесся к его императорскому величеству, что так как войны нет, то ему делать нечего; за подобный отзыв отставляется от службы».

Это, так сказать, сторона официальная.

По частным же сведениям, за Александром Васильевичем была вина иного рода, простить которую Павел Петрович при вступлении на престол не мог.

Н. И. Григорович в статье «Канцлер князь Безбородко» приводит некоторые доказательства в пользу предположения, что императрица Екатерина II оставила особый манифест, вроде духовного завещания, подписанный важнейшими государственными людьми, в том числе и Суворовым, и Румян-

цевым-Задунайским, о назначении наследником престола не Павла Петровича, а ее любимого внука Александра Павловича и что документ этот, по указанию Безбородки, сожжен Павлом Петровичем в день смерти матери.

«Немилость к первому, — говорит Григорович, — и внезапная кончина второго, тотчас, как он узнал о восшествии на престол Павла, произошла будто бы вследствие этого».

Александр Васильевич, узнав о своем увольнении, выехал в Москву, где располагал основать в домике, унаследованном им после его родителя, умершего уже лет с десять ранее отставки сына.

Но не тут-то было. Частный пристав, являсь к отставному фельдмаршалу, объявил ему, что, по случаю приближающейся коронации императора Павла Петровича, он имеет повеление не допускать его пребывания в Москве.

— Сколько мне назначено времени для приведения в порядок дел? — спросил Суворов.

— Четыре часа, — отвечал пристав.

— Слишком много милости, — заметил

Александр Васильевич, — для Суворова довольно одного часа.

Затем, велев отложить поданную к крыльцу дорожную карету, бодрый старик потребовал экипаж, в каком ездил ко двору Екатерины или в армию, и в тряской кибитке поскакал в кобринское имение.

Не успел он, однако, хотя немного отдохнуть по прибытии в имение, как 23 апреля прибыл из Петербурга нарочный с высочайшим повелением опальному фельдмаршалу отправиться на жительство в новгородское его имение, село Кончанское.

С этим посланным Суворов и отправился в путь по назначению 25 апреля.

Село Кончанское — родовое имение Суворовых, находится, как мы уже упоминали, в самой глуши Новгородской губернии, в северо-восточной части Боровичского уезда, в Сопинском погосте.

По описи Кончанского, произведенной в 1784 году, значилось в нем: дом господский, двухэтажный, ветхий, в нем имеется десять покоев; при нем кухня, погреб, каретный сарай и конюшня.

Господский дом был настолько ветх, что знаменитый изгнанник в нем жить не мог, а занял простую крестьянскую избу, верстах в трех-четыре от Кончанского, близ церкви, а летом уходил на близлежащую гору Дубиху и там, среди старинных дубов и вязов уединялся в простой двухэтажной избе, состоявшей из двух комнат, по одной в каждом этаже.

Дубиха, самая возвышенная местность близ села Кончанского, доселе хранит хижину отшельника, опоясанную балконом и окруженную старыми елями — свидетельницами занятий и дум героя. Что же касается большого дома, то он внуком фельдмаршала сломан, и на месте его выстроен другой, из бревен, заготовленных по приказу его великого деда еще в 1789 году.

Вблизи избы на Дубихе, под елями, устроена была печка, где неизменный слуга Суворова, Прохор, грел для него медный чайник и приготавливал чай. За горой, в нескольких шагах, вырыт был колодезь, откуда доставляли Александру Васильевичу воду для частых его ванн.

Далее шли липовые и березовые аллеи, на-

саженный им сад и в саду церковь — прибежище в часы душевных мук и скорби.

Изда была меблирована просто: кровать, стол, несколько стульев из елового дерева, диван, портрет Петра Великого, бюст Екатерины II, несколько семейных портретов и книг.

Вот та обстановка, среди которой невольный отшельник проводил все время своего заточения.

Поселясь в Кончанском, Александр Васильевич, всегда верный себе, не изменял прежнего образа жизни, не имел ни одного зеркала в доме, спал на сене, вставал в 2 часа пополуночи, качивался летом и зимой водой со льдом, пил чай, обедал в 8 часов утра. После обеда отдыхал, в четыре часа снова пил чай и в 10 часов ложился спать. В знойный день он ходил с открытой головой, по субботам считал долгом париться в жарко натопленной бане.

Весть об отставке, а затем и ссылка фельдмаршала Суворова с быстротою молнии разлетелась по России. Войска долго оплакивали разлуку с любимым начальником, которого по справедливости называли своим отцом.

Много приближенных к нему офицеров тоже не замедлило выйти в отставку.

Х

В медвежьем углу

— Здорово, ребята! Здорово, чудо-богатыр-чики!

— Здравия желаем, ваше сиятельство! — раздалось звонкое приветствие нескольких десятков молодых голосов.

Это были собранные опальным фельдмаршалом Александром Васильевичем Суворовым подростки села Кончанского. Он составил из них свое «потешное войско» и с любовью занимался их обучением «воинскому артикулу». Все мальчики были однообразно одеты в серые кафтанчики и такие же шапочки и имели деревянные ружья с рогульками, которые заменяли штыки.

Сам Суворов был одет в такой же серый кафтан на лисьем меху и шапку. Через плечо на перевязи висел у него барабан.

Импровизированный плац-парад находился близ села Кончанского, перед избой, в кото-

рой жил Александр Васильевич. Невдалеке виднелась церковь. На дворе стоял февраль 1798 года.

— Стройся! — скомандовал Суворов и, став у правого фланга, забил дробь.

Юные воины построились в необычайном порядке. Построение и равнение было замечательно правильное и быстрое. Началось ученье по всем правилам старого екатерининского устава!

— Бегом!.. Марш!.. — командовал Александр Васильевич. — В атаку!.. Стой!.. Ружья вольно!.. Шагом!..

Все было исполнено с величайшим рвением.

— Сложи оружие, играй в бабки!..

Ружья были сложены в козлы, и на плац-параде появился кон бабок. Началась игра. Суворов отнес барабан в избу и, вернувшись, сам принял участие в игре.

— На все уменье, на все сноровка, и в бабки без уменья и сноровки играть не будешь. Помилуй бог, как сноровка нужна, — бормотал он.

И действительно, по меткости ударов ни-

кто из юных игроков не мог сравняться с Александром Васильевичем, с одного ловкого и сильного удара валившим целый кон. Проиграли до вечерни.

При первом ударе церковного колокола Александр Васильевич набожно перекрестился и скомандовал:

— Бабки прочь, марш в церковь!

Бабки были моментально убраны. Суворов снова вприпрыжку побежал в избу и с камертоном в руках нагнал свое воинство, степенно шедшее в церковь. Часть мальчиков-солдат отправилась на клирос, где Александр Васильевич, в качестве регента, управлял импровизированным хором.

По окончании церковной службы, выйдя из церкви, Александр Васильевич увидел мчавшуюся к его избе курьерскую тройку. Сердце старого воина дрогнуло. Он почувствовал в приезде петербургского посланца.

Несмотря на напускное равнодушие к своему положению, пребывание в Кончанском было для него далеко не из приятных. Особенно раздражал его назойливый за ним надзор со стороны присланного петербургского по-

лицейского агента Юрия Алексеевича Николаева, заменившего отказавшегося от этой щекотливой обязанности боровичского городничего Алексея Львовича Вындомского.

Это был тот самый Николаев, который привез Александра Васильевича из Кобрина. При первой встрече с ним в Кончанском Суворов внимательно оглядел его с головы до ног.

— Ты откуда?..

— Был в Боровичах и заехал узнать о здоровье вашего сиятельства.

— Гм, о здоровье. Помилуй бог, какой жалостливый. Ты, говорят, за Кобрин чин получил, — засмеялся Александр Васильевич. — Служи, служи так и дальше... еще наградят.

В голосе бывшего фельдмаршала звучала нескрываемая ирония.

— Исполнять монаршую волю есть первый священный долг каждого верноподданного, осмелюсь об этом доложить вашему сиятельству, — отвечал Николаев полунаставительным, полупочтительным тоном.

— У, нет, брат, я бы больным сказался. Нашел бы отговорку, вот как Вындом-

ский... — заметил Александр Васильевич.

— Осмелюсь заметить вашему сиятельству, что не могу разделить высказанных вашим сиятельством взглядов на службу.

— Помилуй бог, какой умница, помилуй бог, какой служака... Помилуй бог, какой негодяй!

И Суворов, по обыкновению, вприпрыжку удалился от собеседника.

С этого дня началась между ними глухая борьба. Борьба эта со стороны мелкого чиновника выражалась в мелких уколах и без того вконец наболевшего самолюбия опального героя. К этому присоединились еще ряд взысканий по служебным начетам, обрушившихся одно за другим на Александра Васильевича.

К довершению неприятностей в октябре 1797 года приехал к Суворову из Москвы гонец с письмом от его жены Варвары Ивановны. Письмо было следующего содержания:

«Милостивый государь мой, граф Александр Васильевич!

Крайность моя принудила беспокоить вас моею просьбою; тридцать лет я

ничем вас не беспокоила, воспитывая нашего сына в страхе Божиим, внушала ему почтение, повиновение, послушание, привязанность и все сердечные чувства, которыми он обязан родителям, надеясь, что Бог столь милосерд, преклонит ваше к добру расположенное сердце к вашему рождению; видя детей, да и детей ваших, вспомните и несчастную их мать, в каком она недостатке, получая в разные годы и разную малую пенсию, воспитывала сына, вошла в долги до 22 000 рублей, о которых прошу сделать милость заплатить. Не имею дому, экипажу, услуги и к тому принадлежащее к домашней жизни всей генеральной надобности, живу у брата, благодетеля и отца моего, который подкрепляет мою жизнь своими благодеяниями и добродетелями. Но уже, милостивый государь мой, пора мне его оставить от оной тягости спокойным, ибо он человек должный, хотя я и виду от него не имею никакого противного, однако чувствую сама, каково долг иметь на себе. А государю-императору угодно, чтобы все долги платили, то

брат мой и продает свой дом, и тоже рассуди милостиво при дряхлости старости, каково мне прискорбно, не имев себе пристанища верного и скитаться по чужим углам; войдите, милостивый государь мой, в мое состояние, не оставьте мою просьбу, снабдите все вышеописанным моим прошениям. Еще скажу вам, милостивый государь, развяжите мою душу, прикажите дочери нашей меня, несчастную мать, знать, как Богом узаконено, в чем, надеюсь, что великодушно поступите во всем моем прошении, о чем я всеискренне прошу вас, милостивый государь мой, остаюсь в надежде неоставления твоей ко мне милости. Милостивый государь мой, всепокорная жена ваша — графиня Варвара Суворова-Рымникская.

Октября 1 дня 1797 года».

На письмо это граф словесно ответил гонцу, что «он сам должен, а почему и не может ей помочь, а впредь будет стараться».

Письмо это представлено Николаевым князю Куракину при докладе, что приказ че-

ловлеку сказан через графского камердинера, а человек графа не видал.

По докладе об этом государю последовало повеление:

«Сообщить графине Суворовой, что она может требовать от мужа по законам».

Графиня отвечала князю Куракину, что она не знает, куда подать прошение, что нужды ее состоят не в одном долге 22 000 рублей, но и в том, что она не имеет собственного дома и ничего потребного для содержания себя и что, наконец, она была бы совершенно счастлива и благоденственно проводила бы остатки дней своих, если бы могла жить в доме своего мужа с 8000 рублей годового дохода.

Император Павел Петрович потребовал справку об имениях графа Суворова.

По этой справке оказалось, что у Александра Васильевича находилось: имений родовых 2080 душ, пожалованных 7000 душ, всего 9080 душ; оброку с них 50 000 рублей, каменный дом в Москве стоит 12 000, пожалованных алмазных вещей на 100 000 рублей.

Долгу на графе Суворове: в воспитательный дом — 10 000 рублей, графу Апраксину 2000, князю Шаховскому 1900, Обрезкову 3000, всего — 17 200 рублей. Графине Суворовой ежегодно выдавалось по 3300 рублей. Предназначено в подарок: графу Зубову 60 000, Арсеньевой — 30 000.

26 ноября высочайше повелено Суворову, чтобы он исполнил желание его жены.

Повеление это сообщено Александру Васильевичу Николаевым 6 января 1798 года, и он тотчас вручил ему для отсылки Н. А. Зубову записку следующего содержания:

«Господин коллежский асессор Ю. А. Николаев через князя Куракина мне высочайшую волю объявил, по силе сего графине В. И. прикажите отдать для пребывания дом и ежегодно отпускать ей по 8000 рублей, примите ваши меры с Д. И. Хвостовым. Я ведаю, что Г. В. много должна, мне сие посторонне».

Все эти кляузы, переписки, напоминавшие прошлое, были неприятны Суворову.

— Смерти не боюсь, — говорил он, — пули

не страшусь, приказных трушу, помилуй бог, трушу *Все* отдам, а судиться не пойду.

Звон курьерской тройки навел его снова на мысли о какой-нибудь новой кляузе.

Тройка остановилась у избы, и в это самое время, когда Александр Васильевич быстро подходил к своему крыльцу, из кибитки выскочил молодой офицер. Они столкнулись лицом клипу.

— Андрей, ты... — мог только произнести Суворов.

— Я, дядюшка, — отвечал приезжий.

— Вот не ожидал, помилуй бог, не ожидал, флигель-адъютант, и сюда, в медвежий угол. Помилуй бог, зачем?

— По высочайшему повелению, — начал прибывший.

Это был действительно флигель-адъютант полковник князь Андрей Горчаков, сын сестры Александра Васильевича. Последний быстро снял шапку.

— Пойдем в горницу.

Он вошел на крыльцо, сзади его следовал Горчаков. Они вошли в простую избу, меблировку которой составляли стол и лавки да по-

ставец с незатейливой посудой.

— Милости прошу, дорогой племянничек, в мои апартаменты, помилуй бог, чем не фельдмаршальские, — засмеялся Суворов.

Молодой Горчаков почти с ужасом обвел жилище своего знаменитого дяди.

— Что глядишь? Не нравится. Франтики, шаркуны, антишамбристы. В чем дело, выкладывай.

Александр Васильевич сел на лавку. Не раздеваясь, как был в шинели, присел на противоположную князь Горчаков. Вынув из дорожной сумки бумагу, он, молча, подал ее Суворову.

Это была копия с высочайшего указа императора Павла Петровича:

«Генерал-фельдмаршалу графу Суворову-Рымникскому всемилостивейше позволяя приехать в Петербург, находим пребывание коллежского асессора Николаева в боровицких деревнях не нужным. Пребываем к вам благосклонны.

Павел».

Александр Васильевич прочитал бумагу и

истово перекрестился.

— Вот милость истинная, от Юрия Алексеевича освобожден. Помилуй бог, какой он умница, помилуй бог, какой служака, помилуй бог, какой негодяй. Да ты разоблачайся, что сидишь, чай, побудешь, я тебе на радостях покажу роту моих лейб-кампанцев. Вот молодцы, один к одному, будущие чудо-богатыри. Эй, Прошка!

— Чего надобно? — угрюмо спросил вошедший в избу Прохор.

— Раздень барина... князя... полковника... в нашу медвежью берлогу служба занесла. Раздень.

Князь Горчаков снял с помощью Прохора верхнее платье.

— Да дай чайку, — сказал Суворов, — потчевать надо дорогого гостя.

— Есть чем потчевать гостя, — проворчал Прохор. — Готов давно, перекипел уж, — прибавил он вскользь, удаляясь.

— Все тот же Прошка, — кивнул в сторону ушедшего Горчаков.

— Все тот же... Не переменялся... Груб, как пруссак, пьян, как француз... но зато честен...

За мной, как за малым ребенком, ходит. Накормит, напоит и спать уложит. Спишь — караулит. Без него я бы пропал. Любит, а ворчит.

Вошел Прохор с чайниками и посудой. Хозяин и гость принялись за чай.

— Так, когда же, дядюшка? — спросил Горчаков.

— Что когда?

— В путь.

— Куда?

— В Петербург.

— Кто меня звал, что я там позабыл? Там и без меня много фельдмаршалов.

Александр Васильевич намекал на то, что все обойденные им генералы при воцарении Павла Петровича были произведены в фельдмаршалы.

— Но государь вас ожидает.

— Из указа сего не видно, помилуй бог, не видно; дозволяется, значит, моя воля, помилуй бог, моя воля, — возразил Суворов.

— Да что вы, дядюшка, говорю вам, что его величество ждет вас с нетерпением, я имею словесное приказание привезти вас.

— Вот как, — протянул Александр Васильевич и вдруг сделался необычайно серьезен.

— Конечно же так, я именно за этим и прислан. Когда же? Князь Горчаков смотрел на него тревожным взглядом. Суворов молчал.

XI

При дворе императора Павла

— **Н**икогда! — вдруг после большой паузы сказал Александр Васильевич.

Князь Андрей Горчаков продолжал молча смотреть на него испуганно-недоумевающим взглядом.

— Никогда! — повторил Суворов. — Чего мне глядеть там? Как все сжато прусской меркой и прусским правилом. Из солдата сделана кукла, помилуй бог, неповоротливая кукла. У меня, где проходил олень, там проходил и солдат. Зимой я с ними штурмовал Измаил. Колонна обогнула каменную батарею и шла вперед, не обращая внимания на то, что в тыл ей производился жестокий огонь. Под Прагой штурмующей колонне внезапно стала грозить с фланга конница; часть конницы вы-

строила фронт налево и бросилась в штыки, а другая часть продолжала штурмовать, как ни в чем не бывало; кавалерия исчезла.

Александр Васильевич остановился. Князь Горчаков сделал движение, чтобы заговорить, но Суворов снова заговорил:

— Под Кобылкой физическая невозможность задержала пехоту позади; несколько эскадронов легкой и тяжелой кавалерии спешили и ударили на пехотную часть в сабли — успех был полный. На Рымнике, где бой происходил против вчетверо сильнейшего неприятеля, и успех доставался тяжело, признано было нужным подействовать на турок и ударом, и неожиданным впечатлением; на неоконченный ретраншамент, защищавший позицию, пущена в атаку конница — турки были разбиты. Мои солдаты, чудо-богатыри, дрались как отчаянные, а ничего нет страшнее отчаянных. Какие же тут правила? Быстрота, натиск, только, помилуй бог, быстрота, натиск.

— Все это так, дядюшка, — успел, наконец, вставить слово князь Андрей, — но к делу не относится.

— Как не относится... Что ты меня учишь?.. Мальчик, не учи... Помилуй бог, до чего дошло. Яйцо курицу учит.

— Я не учу, дядюшка, но только...

— Что только?

— Я вам передаю волю государя, дядюшка. Вы верноподданный.

— Преданность моя государю не имеет границ, — серьезным тоном произнес Александр Васильевич. — Но я не могу видеть новые порядки, они портят солдат, они доведут до поражений. Избави Бог. У французов этот мальчик как шагает, помилуй бог, как шагает.

Мальчиком Суворов называл Бонапарта.

— Что делать, дядюшка. Может быть, вы и правы.

— Не может быть, а прав, совсем прав, — сердито буркнул Александр Васильевич.

— Ну да, правы, правы, — поспешил согласиться князь Горчаков. — Но все же нельзя идти против воли государя. Ведь вы солдат. Сами понимаете.

— Я в отставке. Я болен.

— Дай Бог, чтобы все были так больны. Вы свежи, бодры.

— Я болен, — упрямо твердил Александр Васильевич.

— Но, дядюшка, — возмутился князь Андрей.

— Мне его не переделать, а я ведь тоже переделываться не могу. Стар я, вот что.

— Но ваше упорство может вывести из себя государя.

— И пусть. Головы не снесет.

Долго убеждал князь Андрей своего строптивого дядюшку и наконец, убедил его, что ехать необходимо.

— Хорошо, будь по-своему, поеду, только не на почтовых, а на своих.

— Но это очень долго.

— Иначе не могу, стар я, болен, вот что.

Князь Андрей не стал настаивать.

Сборы Суворова были недолги. Он выехал вместе с племянником, и последний расстался с ним на первой станции и ускакал вперед с курьерской подорожной.

Прискакав в Петербург, князь Горчаков тотчас же явился во дворец и убедился, что Павел Петрович его ждет.

Увидав князя Андрея, государь тотчас же

спросил:

— А что, приедет граф?

— Дядя, ваше сиятельство, принял известие о высочайшей милости с великою радостью, но по слабости здоровья не может ехать на почтовых и выехал на своих.

— Когда же он может прибыть?

— Не могу с точностью ответить, ваше величество!

— Но приблизительно?

— Через неделю, ваше величество, не ранее.

— А...

В течение этого времени государь несколько раз спрашивал у князя Горчакова о здоровье его дяди, в дороге ли он и прочее.

К назначенному князем Андреем дню Александр Васильевич не поспел и прибыл днем позже. Князь Андрей тотчас же поехал об этом с докладом к государю.

Было около десяти часов вечера. Государь уже разделся ко сну, но накинул шинель и вышел к Горчакову.

— Я бы принял его сейчас же, — сказал государь, — но, во-первых, поздно, а во-вторых,

пусть отдохнет с дороги. Завтра в девять часов здесь.

— Дядя, ваше величество, отставлен без мундира. Как прикажете ему явиться?

— В общеармейском мундире, — отвечал Павел Петрович.

На другое утро, около девяти часов, Александр Васильевич уже был во дворце, одетый в мундир князя Андрея, пришедшийся ему как раз впору.

Все пока шло хорошо. Суворов был весел, без малейшей тени смущения и верен себе. Он балагурил с находившимися в приемной дворца придворными, подшучивал над ними, а с гардеробмейстером Кутаисовым заговорил по-турецки.

С утренней прогулки прибыл Павел Петрович. Александр Васильевич упал к его ногам. Государь поднял его, взял под руку и повел в кабинет. Там они пробыли с глазу на глаз более часа.

Александр Васильевич вышел и поехал к разводу. Вслед за ним отбыл и Павел Петрович. Внимание всех окружающих было напряжено. На разводе предстояла главная

опасность, так как там было больное место государя и Суворова. Так и вышло.

Желая сделать приятное Александру Васильевичу, император производил батальону ученье не как обыкновенно, а водил его скорым шагом в атаку и прочее. Но Суворова это не подкупило.

Он отвертывался от проходящих взводов, подсмеивался и подшучивал над окружающими, всячески высказывая свое умышленное невнимание и беспрестанно подходил к князю Андрею, говоря:

— Нет, не могу более, уеду.

— Что вы, дядюшка, останьтесь, ради Бога, — взмолился после четвертого раза Горчаков, — оставить развод до отъезда государя, разве это можно! Это будет верх бестактности. Государь страшно разгневается.

Александр Васильевич остался глух ко всем доводам.

— Не могу, брюхо болит! — сказал он решительно племяннику и уехал с развода.

Павел Петрович замечал проделки Суворова, но сдерживался. Когда же последний уехал с развода, Павел Петрович, призвав к

себе князя Андрея, долго и сильно пенял на Александра Васильевича, вспомнил свой разговор с ним в кабинете, говорил, что не мог от него добиться толку, что на все намеки его, государя, о поступлении вновь на службу Суворов отвечал подробным описанием штурма Измаила и на замечание Павла Петровича, что он мог бы оказать новые услуги, вступив в службу, начал рассказывать о взятии Праги.

— Извольте, сударь, ехать к вашему дяде, — сказал в заключение государь, — спросите у него самого объяснения его поступков и тотчас привезите мне ответ; до тех пор и я за обед не сяду.

Горчаков застал Суворова раздетым и лежащим на диване. Выслушав племянника, он отвечал раздражительно, что готов вступить в службу не иначе, как с властью главнокомандующего екатерининского времени, то есть с правом награждать, производить в чины до полковника и увольнять в отпуск и прочее. Князь Андрей возразил, что такой ответ он не может решиться передать его величеству.

— Передавай что знаешь, а я от своего не

отступлюсь, — сказал решительно Александр Васильевич и отвернулся к стене, давая тем знать, что желает прекратить разговор.

Князь Андрей поехал во дворец и доложил государю, что дядя его был слишком смущен в присутствии его величества, не помнит хорошо, что говорил, крайне огорчен своей неловкостью и т. д., и добавил, что дядя его с радостью подчинится монаршей воле о поступлении на службу.

Павел Петрович, видя смущение юноши-племянника, сделал вид, что поверил, и еще не раз приглашал Суворова к столу и на разговоры, обращался с ним милостиво, навел разговор на прежнюю тему о поступлении на службу, но получал в ответ уклончивые заявления о старости и болезнях.

Мало того, Александр Васильевич не переставал «блажить», не упускал случая подшутить и осмеять новые правила службы, обмундирование, снаряжение — не только в отсутствие, но и в присутствии государя.

Садясь в карету, он находил большое к тому препятствие и в прицепленной сзади наискось шпаге, которая якобы не позволяла

ему проникнуть в каретную дверцу. Он запер дверь, обходил карету, отворял другую, старался в нее протиснуться, но опять безуспешно.

На разводе он делал вид, что не может справиться со своей плоской шляпой, снимая ее, хватался за поля то одной, то другой рукою — все мимо и наконец, ронял ее к ногам сумрачно смотревшего на него государя.

Между проходившими церемониальным маршем взводами Суворов бегал и суетился, что считалось крайним нарушением порядка и строевого благочиния, при этом он выражал на лице своем то удивление, то недоумение, шептал себе что-то под нос и крестился.

Однажды государь спросил его:

— Что ты делаешь?

— Читаю молитву: «Да будет воля Твоя», ваше величество, — отвечал Александр Васильевич.

Через несколько дней последовал строгий приказ о благочинии на разводах, но имени Суворова не упоминалось.

После каждой выходки Александра Васильевича государь обращался к князю Горча-

кову и грозно требовал объяснения, говоря, что на его обязанности лежит вразумить его дядю.

Государь, перед которым все трепетало и безмолвствовало, в котором малейшее противоречие не в добрый час производило взрыв страшного гнева, переломил себя и оказал Александру Васильевичу необыкновенную снисходительность и сдержанность, но вместе с тем недоумевал о причинах упорства старого военачальника.

А между тем дело было простое. Суворов жил для военного ремесла и олицетворял его в издавна усвоенном известном смысле, отречение от которого было для него самоотречение.

Все бесцельнее, скучнее становилось его пребывание в Петербурге. Наконец, выбрав время, он прямо попросил у государя дозволения возвратиться в деревню.

Первое время по возвращении в деревню Суворов блаженствовал. Петербургские впечатления были еще свежи. Ненавистный ему Николаев не появлялся, и никаких признаков прошлого надзора не замечалось. Александр

Васильевич дышал свободно.

Он принялся за свои обычные занятия, стал изредка посещать соседей и принимать их у себя. Кроме того, он весь отдался делам хозяйственным.

Недели через две после приезда из Петербурга Александр Васильевич, сам наблюдавший за плотничными и другими работами, вышел посмотреть на строящийся амбар, шутил, балагурил и подбадривал плотников.

Вдруг к нему приблизился вошедший на барский двор монах и совершенно неожиданно упал к его ногам. Суворов засуетился.

— Что ты, помилуй бог, что ты, отец, кто ты?

Он поднял монаха, посмотрел ему в лицо, прищурил глаза, а затем воскликнул:

— Да неужели это ты, Николай Петрович?

Перед ним в монашеском одеянии действительно стоял Николай Петрович Лопухин.

ХII

Исповедь монаха

— Помилуй бог, да неужели это ты? — продолжал недоумевать Александр Васильевич Суворов, то пристально взглядывая на стоящего перед ним монаха, то жмуря глаза, как бы вспоминая далекое прошлое.

— Был, был! — чуть слышно прошептал монах.

— То есть, как был? Помилуй бог, ведь ты есть, значит, есть.

— Не совсем так, граф Александр Васильевич, я есть и нет меня, — отвечал монах.

— Что ты меня, помилуй бог, морочишь? Есть и нет, что за оказия? Не явился же ты с того света?

— Хуже, я умер заживо, я в схиме.

— Час от часу не легче! Пойдем в горницу. Расскажи толком... Офицер, бравый офицер. Я думал уж он генерал, женат, ан вдруг... монах. Живой покойник. Помилуй бог, ничего не понимаю.

Он быстро пошел по направлению к дому

Монах следовал за ним. Поднявшись на невысокое крыльцо с тесовой крышей, они прошли прихожую и вошли в первую комнату нового суворовского дома.

— Садись и рассказывай. Помилуй бог, странно, — сказал Александр Васильевич, сядя на стул и указывая рукой на другой своему гостю.

Тот сел с видимым наслаждением.

— Затем и пришел к вам, батюшка-граф, ваше сиятельство, чтобы хоть одному живому человеку грех мой страшный исповедать. Наедине с самим-то собой, ох как жутко, двадцать пять лет молчал, двадцать пять лет терпел, не вытерпел.

— Двадцать пять лет, — повторил Суворов.

— Четверть века, граф, грех свой замаливаю, не замолю. На духу признаться не смею. Не то чтобы казни земной боюсь. На муки тела не посмотрел бы, когда четверть века муки души испытываю. Но то боюсь, не мало ли казнию себя, не мало ли страдаю. А спросить кого? Некого. Обходил всю Русь-матушку вдоль и поперек, по всем святым местам Господу моему молился. На Афон сподобил меня

Господь попасть, десять лет там пробыл, да снова в Россию, на родину потянуло. Вот уж пять лет в Ниловой пустыне, близ Новгорода, живу. Недалеко здесь. Прознал я, что вы в своем именье проживаете, рвался идти, да сдерживался, потом решил, да слух прошел, что вы в Петербург к царю поехали. Значит, думал, не судьба. А потом прослышал на днях, что назад возвратились. Надо идти, думаю. И пошел. Ему, мыслил я, когда-то в юности душу свою открывал я. Открою и в старости грех мой незамолимый. Все, может, легче станет, как живому человеку расскажу. Наедине-то с грехом страшнее.

Александр Васильевич слушал внимательно, не отводя глаз от истомленного, страдальческого лица монаха. Когда он кончил, Суворов невольным шепотом спросил:

— Какой же такой грех-то?..

— Человека убил я.

— Безоружного?.. — даже привскочил Александр Васильевич. Монах молчал, низко опустив голову.

— Да, — чуть слышно прошептал он после некоторой паузы. — В упор, как собаку.

Он поднял голову. В его потухших глазах блеснул злобный огонек, а в голосе прозвучали ноты еще не улегшейся ярости. Все лицо его до того исказилось, что Александр Васильевич, не бывший, как мы знаем, человеком робкого десятка, невольно отшатнулся на стуле.

— Не улеглось еще! — скорее прохрипел, нежели произнес монах. — В четверть века не улеглось. Потому-то и на духу не признаюсь, что знаю, что все эти года грешу, злобой грешу, с этим грехом и перед престолом Всевышнего предстану. Один Он мне судья. Мне и ему. Точно вчера случилось это. Как теперь его вижу и лицо его подлое, испуганное. Точно умереть тяжелее, нежели убить. О, убить куда тяжелей, а я... я убил.

— Кого? Где? — снова упавшим голосом произнес Суворов.

— Поляка.

— Мало мы с тобой поляков перебили. Помилуй бог, немало, — заметил Александр Васильевич.

В его уме мелькнула мысль, что его бывший адъютант повредился в уме и картины

битвы в первой польской кампании, в которой он участвовал, представляются его расстроенному воображению убийством.

— То на поле брани, а это в Москве, в квартире.

— В Москве, в квартире, — повторил Суворов, убедившись в своем ошибочном предложении.

— Вы, может быть, не забыли, граф Александр Васильевич, — начал гость после продолжительной паузы, потребовавшейся для его успокоения, — что еще в последнее время пребывания моего в Польше я получил от моей матери из Москвы несколько писем, проливших целительный бальзам в мою наболевшую душу, измученную томительной неизвестностью. Она писала мне, что ее посещает княжна Александра Яковлевна Баратова, та самая, медальон с миниатюрой которой я носил на своей груди и ношу до сих пор. Это была моя первая чистая, юношеская любовь, первая и... последняя. Мать сообщила мне, что княжна справлялась обо мне, что она, видимо, меня помнит, знает, что я любил ее и люблю ее, и, как кажется, отвечает тем же. В

последнем письме матушка уже говорила прямо, что княжна согласна быть моей женой и что свадьба будет сыграна вскоре после моего приезда в Москву. Это неожиданное счастье положительно ошеломило меня. Столько лет надежд... и эти надежды осуществлялись. Вы еще тогда сказали мне: «Мальчик, чему ты так радуешься, ужели тому, что кончается война!» Я рассказал вам все тогда же откровенно. «Что же, женись... — сказали вы мне. — Каждому человеку должно жениться». Помните?

— Вспоминаю, — мрачно заметил Александр Васильевич.

Воспоминание о его прежних мнениях о браке, видимо, навело его на грустные мысли.

Монах смешался. Ему известна была неудачная женитьба Александра Васильевича, и он понял бестактность своего напоминания о браке. Некоторое время он молчал.

— Что же дальше? — угрюмо спросил Суворов.

Он понял причину смущения Лопухина, и это расстроило его еще более.

— Таким образом, получив отпуск, я, пол-

ный радужных надежд, полетел в Москву уже почти объявленным женихом княжны Александры Яковлевны Баратовой. Сколько раздал я по дороге рублей, сколько рассыпал колотушек, понукая ямщиков, которые и так летели стрелою. Наконец я очутился в Белокаменной и упал в объятия моей старой матушки. Первые мои слова после приветствия были: что княжна?

— Хотела сегодня быть у меня, чтобы встретить тебя вместе, — отвечала матушка, — но не приехала, ума не приложу отчего.

Сердце мое, как теперь помню, болезненно сжалось от тяжелого предчувствия.

— Может, занездоровилось немного, это бывает. Послать мне было узнать неловко. Навязываться. Завтра сам съездишь, — заметила матушка.

— Отчего не сегодня? — порывисто спросил я, томимый предчувствием.

— Оттого, что, во-первых, поздно, уже седьмой час вечера, а во-вторых, что скажут люди, что ты один вечер в первый день приезда не можешь посвятить матери, — полунаставительно, полуобидчиво сказала матушка.

Я понял, что она была права, и остался со своими томительными предчувствиями до другого дня.

Предчувствия меня не обманули.

Когда на другой день, в два часа, я поехал к княжне Баратовой, она лежала в постели, без памяти... с ней накануне сделалась нервная горячка. Лучшие доктора были около больной.

Одного из них я встретил выходящим. Я догнал его на лестнице.

— Что с княжной? — спросил я.

Он оглянул меня недоверчиво с головы до ног.

— Я ее дальний родственник, только вчера приехал из Польши, с театра военных действий, — заговорил я.

Эскулап смягчился.

— Горячка, видимо, от страшного нервного потрясения. Расспросы окружающих о причине не привели ни к чему. Последний с ней говорил ее поверенный, граф Довудский, но его здесь нет, а потому его и не спрашивали.

— Граф Довудский, граф Довудский, — повторял я, все еще стоя на ступеньках лестницы.

цы, когда доктор уже успел спуститься вниз и уе­дуть. Это имя мне было известно. Этот негодяй пользовался в Москве славой подлого, но искусного альфонса. И он — поверенный княжны Александры. Было время, она не вы­носила его присутствия в одной с нею комна­те. Что же это значит?

Все это жгло мне мозг. Я почти терял со­знание. Я не помню, как я спустился с лестни­цы, как приехал домой.

— Что с тобой? На тебе лица нет, — встре­воженно спросила меня матушка.

— Княжна больна. Лежит, я ее не ви­дел... — смог проговорить я и упал в кресло.

— Больна! Я так и знала, а то бы она, голу­бушка, еще вчера бы тебя встретила, она так ждала тебя.

— И взяла к себе поверенным графа Довуд­ского, — со злобой заметил я.

Матушка не поняла меня: она жила слиш­ком замкнуто, чтобы знать все мерзости мос­ковского большого света. Она только тревож­но посмотрела на меня.

— Я пойду к ней, — сказала она.

— Поезжайте, поезжайте, — ухватился я за

мысль если не видеть ее, то, по крайней мере, иметь о ней известия.

Матушка поехала.

Вернувшись часа через два, она сообщила мне, что княжна действительно без памяти.

Она стала ездить к больной ежедневно.

Недели через две княжна пришла в себя и стала поправляться, но доктора запретили ей всякое волнение.

— Когда я могу увидеть ее? — приставал я к матушке.

— погоди, теперь нельзя, ей запретили всякие разговоры, а тем более с тобой.

— Почему тем более?.. — допытывался я.

— Да ведь она тебя любит.

— Она вспоминает обо мне?

— Вспоминает, — говорила моя матушка.

— А граф Довудский бывает?

— С какой стати. Никого, кроме меня, сиделки, прислуги и докторов. Он даже прислал все документы и отказался от должности поверенного. Тоже нашел время.

Это меня еще более заинтересовало — я каким-то чутьем угадывал, что причиною болезни княжны был этот польский граф.

«Что произошло между ними? Был ли отпор назойливому ухаживанию этого франта или же разрыв после связи?» — вот вопросы, которые раскаленным железом жгли мне мозг.

Время шло. Прошел месяц, начался второй.

— Что же княжна? Поправляется? — спрашивал я каждый день у моей матери, которая, как я заметил, стала неохотно отвечать на мои вопросы.

— Все еще слаба, все еще слаба, — говорила матушка.

Наступил, наконец день, когда матушка совсем не поехала к княжне Баратовой. Я спросил ее о причине. Матушка смешалась.

— Княжну увезли... на теплые воды, — начала она.

— Увезли... и она позволила увезти себя, не повидавшись со мной? Что же это значит? Зачем же она морочила меня и вас?.. Боже, Боже...

Я зарыдал, как ребенок.

— Коля, Коля... успокойся, забудь ее... — обхватила мою голову своими руками моя матушка и стала покрывать ее поцелуями.

— Не могу, не могу. Куда она поехала, скажите мне, вы знаете. Я полечу за нею.

— Бесполезно, добрый мой, видно, надо говорить все, видно, надо повторить то, что она открыла мне под строжайшей тайной. Она поехала в Киев, в монастырь. Она решила посвятить себя Богу. Забудь ее.

Я смотрел на мою мать во все глаза. Я ничего ровно не понимал из того, что она говорила мне.

— В монастырь?.. Богу?.. Почему?..

— Она не стоит тебя. В день твоего приезда с ней случилось страшное несчастье. Ее погубили.

— Граф Довудский? — вскричал я.

— А ты почему знаешь? — наивно спросила матушка. Этим было сказано все.

— Но если она не виновата... — начал, было, я.

— Она, конечно, не виновата. Но она видит в этом перст наказующего ее Провидения. Я уже говорила с ней. Я за тебя ручалась, что ты все простишь ей, что ты ее так любишь.

— А она?

— Она непреклонна. Она не хочет даже ви-

деть тебя.

— А тот негодяй?

— Она простила ему.

Я заскрежетал зубами, но сделал вид, что успокоился.

— Что делать, значит, не судьба, — заметил я, после некоторого молчания, с напускным равнодушием.

Я обманул чувство матери — она поверила моему успокоению.

Между тем в голове моей созрел план. Я обдумывал его и приготавливался к его исполнению в течение нескольких месяцев. Наконец я заявил матери, что мой отпуск кончился и мне надо ехать в армию.

Старушка примирилась с необходимостью, снарядила меня в дорогу и проводила меня благословлениями. Я выехал с рассветом, но доехал только до первого постоялого двора на окраине Москвы. Здесь я нанял горницу, переделся из форменного в заранее мною приготовленное простое русское платье, оставил все вещи на постоялом дворе, сунул за пазуху заряженный пистолет и отправился на квартиру, где жил граф Довудский.

Я знал образ его жизни, я изучил его ранее. Я выждал, когда его лакей вышел из квартиры, посланный зачем-то графом, вошел на крыльцо и позвонил. Мне открыл сам граф, одетый в утреннем роскошном шлафроке. Я выхватил пистолет и в упор выстрелил ему в голову. Он упал, не вскрикнув, с разбитым черепом. По счастью, на дворе никто не слышал выстрела. Я вышел и свободно ушел со двора.

Вернувшись на постоялый двор, я снова переделся в форменное платье, велел ямщику уложить чемодан и тронулся в путь. Я ехал в Петербург, куда двинулись войска из Польши. Мое преступление, я в этом был уверен, могло остаться безнаказанным.

Но, увы, я горько ошибся. Наказание убийцы в нем самом. Оно — это наказание — началось и продолжается до сих пор. Прибыв в Петербург, я уже не в силах был бывать в обществе. Бессонные ночи, ужас одиночества, страх людей — все соединилось вместе. Я подал прошение об отставке и получил ее очень скоро, так как меня считали помешанным. Я удалился на Валаам и сделался сперва послушником, а затем через пять лет принял

схиму под именем Феофила. С тех пор я стал странствовать и только последние пять лет нашел приют в Ниловой пустыне. Но преступление мое ходит за мной. Я не нахожу покоя. Вот вам, граф, моя исповедь.

Отец Феофил умолк.

Молчал и Александр Васильевич. И что мог он сказать ему. Он понимал убийство только в битве, лицом к лицу с вооруженным врагом — другое убийство было и, по его мнению, преступлением, а самосуд лишь усугублял вину.

— А что же княжна Баратова?

— Она постриглась в монастырь в Киеве... Я видел ее издали, но не хотел нарушить ее душевный покой, — отвечал монах.

— А ваша матушка?

— Она умерла, — сказал отец Феофил, и две крупные слезы скатились по его щекам.

Суворов молчал.

— Что же вы, граф, мне посоветуете, чтобы примириться со своею совестью? — спросил монах.

— Молчать, — отвечал Александр Васильевич, — так как разговор о прошлом нарушает

мир души... Речь — серебро, молчание — золото.

— Молчать, — серьезно повторил отец Феофил. — Вы правы... Это было искушение. Вы были когда-то мне близки. Я не повторю этого.

Монах встал и, до земли поклонившись Суворову вышел. Александр Васильевич не удерживал его. Он сидел в глубокой задумчивости.

XIII

Спаситель царей

Александр Васильевич не заметил ухода Николая Петровича Лопухина, весь отдавшись мыслям о далеком прошлом.

Когда он пришел в себя, монаха не было не только в комнате, но и в селе. Он уже быстро шагал по боровичской столбовой дороге.

Суворов некоторое время с недоумением смотрел на пустой стул, на котором только сейчас сидел его бывший адъютант, спасший четверть века назад ему жизнь, в суровой монашеской одежде и исповедовался перед ним

в страшном преступлении.

Время шло.

Острое впечатление от неожиданного визита Лопухина миновало, но хорошее расположение духа лишь изредка за эти дни посетило Александра Васильевича. Скука и тоска одолевала его все больше и больше, тем более что он не имел самого необходимого условия для довольства настоящим — личной свободы.

Он, как мы знаем, вернулся в свою глушь по доброй воле. Прежний надзор был с него снят, переписка его не контролировалась, а между тем симптомы опалы и ссылки продолжали существовать. Подобная непоследовательность, странная в другое время и при другом режиме, в то время не поражала, потому что проглядывала во всем.

Государь был недоволен Александром Васильевичем за его нежелание поступить на службу, и это должно было в чем-нибудь выразиться. В порыве раздражения на дядю государь приказал исключить из службы его племянника, своего флигель-адъютанта Андрея Горчакова. Хотя сердце у него скоро про-

шло, и на другой или на третий день он приказал снова зачислить Горчакова на службу, но случай этот считался дурным предзнаменованием. Были и другие признаки недовольствия государева и опального характера суворовского пребывания в деревне.

Для примера приведем один.

В середине 1798 года майор Антоновский представил в петербургскую цензуру сочинение: «Опыт о генерале-фельдмаршале графе Суворове-Рымникском», совершенно безвредное и даже в полном смысле невинное.

Но так как на книжку набросилась бы читающая публика и в результате получилось бы увеличившееся сочувствие к отставному фельдмаршалу, то цензурного разрешения не последовало.

А между тем одновременно с этими угрожающими симптомами на Александра Васильевича сыпались и косвенные милости. Двадцатилетний его племянник произведен в полковники; другой, немного старше, был уже генерал-майор, наконец, Аркадий, сын Суворова, несмотря на свои 14 лет, пожалован в камергеры.

Но эти знаки монаршего благоволения еще более оттеняли противоположную сторону — они доставляли Александру Васильевичу временное утешение, но не облегчение.

Война надвигалась, но надежды на призыв не было никакой. В Суворове, между тем, не угас еще воинственный гениальный дух и часто-часто сердце его просилось назад, к своим витязям, к чудо-богатырям.

Незадолго до удаления Александра Васильевича с его блистательного поприща явился новый молодой полководец и в первый раз Европа услышала имя, дотоле неизвестное — Наполеона Бонапарта. Быстро распространилась слава его, и Суворов в своем уединении следил за ним и, покачивая головой, говорил:

— Пора, пора унять его. А то наделает бед этот мальчик.

Легко понять состояние духа Александра Васильевича.

«Зима наградила меня чтением и унылой скукой»,

— пишет он в одном письме, относящемся к этому времени.

Его неуживчивый, крутой нрав прорывался все чаще, природная живость и веселость уступали место тоске, воспоминания приносили не утешение, а жгучую боль. Мелкие неудовольствия вырастали до крупных неприятностей, размолвки до вражды, изыскательность переходила в придирчивость.

Такое состояние требовало какого-нибудь исхода и под впечатлением ли посещения Лопухина, или его подсказало Александру Васильевичу собственное религиозное чувство, — он нашел этот исход.

Суворов был, как мы знаем, всегда и в одинаковой степени глубоко верующим человеком и исполнительным сыном церкви, но под старость сделался еще строже в обрядовой стороне и вообще во внешнем благопочтении, особенно в селе Кончанском. Видя для себя закрытой практическую военную деятельность, он решился уединиться в монастырь и отдаться Богу.

«Со стремлением спешу предстать чистой душою перед престолом Всевышнего»,

— пишет он в одном письме, а в другом говорит:

«Усмотря приближение моей кончины, готовлюсь я в иноки».

Наконец, в декабре 1798 года, Александр Васильевич, написал государю прошение:

*«Ваше императорское величество, всеподданнейше прошу позволить мне отбыть в Нилову Новгородскую пустынь, где я намерен окончить мои краткие дни в службе Богу. Спаситель наш один безгрешен. Неумышленности моей прости, милосердный государь! Всеподданнейший богомолец Божий раб
Александр Суворов».*

Неизвестно, какая судьба постигла это прошение. Развязка приближалась, только совсем другая.

Успех французского революционного оружия беспокоил всех европейских государей. Император Павел послал в Австрию вспомогательный корпус под начальством генерала Розенберга, но Англия и Австрия обратились к русскому императору с просьбою — вверить

начальство над союзными войсками Суворову, имя которого гремело в Европе. Его победы над турками и поляками — измаильский штурм, покорение Варшавы — были еще в свежей памяти народов.

6 февраля 1799 года прискакал в село Кончанское флигель-адъютант Толбухин и вручил Александру Васильевичу пакет с собственноручным высочайшим рескриптом.

Дрожащими руками распечатал Суворов этот пакет и прочел следующее:

«Сейчас получил я, граф Александр Васильевич, известие о настоящем желании венского двора, чтобы вы предводительствовали армиями его в Италии, куда и мои корпусы Розенберга и Германа идут. Итак, по сему и теперешних европейских обстоятельствах, долгом почитаю не от своего только лица, но от лица и других, предложить вам взять дело в команду на себя и прибыть сюда для отъезда в Вену.

Павел».

В пакете была, кроме рескрипта, следующая собственноручная записка императора:

«Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитывать. Виноватым Вои́р простит. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте у славы ваше время, а у меня удовольствия вас видеть. Пребываю к вам доброжелательным.
Павел».

После всего описанного нами, не трудно понять, что Александр Васильевич был ошеломлен поворотом своей судьбы. Он немедленно отправил Толбухина назад с ответом, что исполняя монаршую волю, выезжает в Петербург, а сам принялся на скорую руку готовиться к отъезду.

7 февраля Александр Васильевич выехал из Кончанского и ехал не так, как прошлый раз, а на почтовых и очень быстро.

Как тогда, так и теперь государь ждал его нетерпеливо. Он не был совершенно свободен от сомнения — примет ли старый, больной и причудливый фельдмаршал посланное ему

приглашение, после выраженного им год назад нежелания поступить на службу. Государь не совсем верно понимал Суворова и причину его отказа.

Александр Васильевич тогда не мог принять мирной службы на немислимых, по его разумению, началах. Теперь он не мог отказаться от службы боевой, призвание к которой было его жизнью.

8 февраля возвратился в Петербург Толбухин.

Прочитав привезенное от Суворова письмо, государь приказал тотчас же отнести его к императрице и сказать австрийскому послу Кобенцелю, что Суворов приезжает и что венский двор может им располагать по желанию.

На другой день приехал Александр Васильевич и тотчас был принят Павлом Петровичем. Суворов упал к ногам государя. Император поднял старца-героя и возложил на него большой крест святого Иоанна Иерусалимского.

— Боже, спаси царя!.. — воскликнул фельд-маршал.

— Иди ты спасать царей! — отвечал Павел Петрович.

— С тобою, государь, возможно... — возразил Александр Васильевич.

Все видевшие в это время Суворова не узнавали его. Он положительно преобразился, даже как будто бы вырос. Так бодрость духа отражается на бодрости тела.

XIV

В Вене

На другой же день по приезде Александр Васильевич Суворов был зачислен в службу с чином фельдмаршала, но без объявления в приказе.

Прием Суворова петербургской публикой был самый восторженный. За ним теснились толпы, раздавались приветствия и пожелания. Почтение, уважение выражалось при всяком случае самым разнообразным образом.

Восходило солнце славы, и бедствия двух минувших лет придавали ему особенный блеск.

В армии весть о назначении Суворова произвела электрическое действие, особенно в войсках, которые назначались на войну.

Даже в высшем обществе, где ютились недоброжелатели и завистники Суворова, все как будто преобразилось в смысле общего настроения. Все повалили к нему с поклоном и поздравлениями. Вынужденно надетая маска равняла друзей с недругами до неузнаваемости. Любезностям, комплиентам не было конца. Но Александр Васильевич помнил прошлое, различал людей, и многим из его новообъявившихся поклонников пришлось с притворною улыбкой жаться и ежиться под его иронией и сарказмом.

В числе явившихся на поклон был и Юрий Алексеевич Николаев. Такая бестактность застала Суворова врасплох, и он не нашел в себе достаточно великодушия, чтобы оставить ее без внимания. Он назвал Николаева «первым своим благодетелем» и велел Прошке посадить его «выше всех».

Проход взмогнул стул на диван и заставил Юрия Алексеевича сесть на это действительно «высокое» место при громком смехе при-

сутствующих. Александр же Васильевич еще более возбуждавшей смех серьезностью низко кланялся сконфуженному гостю.

Именным высочайшим указом приказано было прекратить все взыскания с Суворова по начатым искам, ему пожаловано 30 000 рублей подъемных и по тысяче рублей в месяц столовых.

Оба русские корпуса, направленные в Италию, отданы в полное подчинение Суворову, и от них отнято право непосредственных представлений самому государю, данное им раньше. Александру Васильевичу разрешено требовать усиления русских войск под его началом, когда он найдет это нужным.

Рескрипты государя следовали один за другим и отличались выражением благоволения и благосклонности.

Император Павел потребовал книгу Антинга, чтобы подробнее ознакомиться с прежними победами своего полководца.

Случилось даже одно мелочное и многозначительное обстоятельство. Суворов просил у Павла Петровича дозволения на кое-какие перемены в войсках против существую-

щего положения. Государь разрешил, сказав:

— Веди войну по-своему, как умеешь.

Это было уже верхом монаршей снисходительности.

Александр Васильевич выехал из Петербурга в последних числах февраля.

Первая остановка была в Митаве, в замке курляндского герцога. Множество лиц, желавших представиться Александру Васильевичу, собрались в приемной зале перед дверьми, ведущими во внутренние апартаменты. Вдруг эти двери отворились, и в них появился Александр Васильевич в одной рубашке, босой.

— Суворов сейчас выйдет! — сказал он и скрылся. Все были в полном недоумении.

Действительно, через несколько минут он появился снова, но уже в полной форме и сделал прием.

Выходка эта, как и большинство выходок Суворова, имела затаенную цель показать, насколько он еще бодр и расторопен вопреки носившимся слухам о его старости и дряхлости, о том, что опала и ссылка подорвали его силы, словом, что это уже не прежний Суво-

ров.

После приема Александр Васильевич пошел пешком по улице. За ним валила толпа народа. Придя на гауптвахту, он заметил, что караулу был принесен обед, сел вместе с солдатами, с большим аппетитом поел каши и затем поехал к французскому королю-претенденту, жившему в Митаве.

Людовик XVIII принял его очень любезно. Александр Васильевич поклонился чуть не до земли, поцеловал руку и полу платья.

— Я почти тот день счастливым, — сказал он королю, — когда пролью последние капли крови, способствуя вам взойти на престол ваших знаменитых предков.

— О, я уже не несчастлив, — возразил король, — потому что судьба моего отечества зависит от Суворова.

— Уповаю, ваше величество, на помощь Божию, но жаль, что судьба меня лишает случая помериться силами с Бонапартом... Не говорю вам, ваше величество, прощайте, а до свидания в Париже.

На Людовика Александр Васильевич произвел сильное впечатление.

Выйдя от претендента, Суворов встретился на подъезде с одним аббатом, который поднес ему книгу своего сочинения. Александр Васильевич принял ее с изящною, по словам современников, вежливостью версальского царедворца.

Приехав домой, он разделся, окатился холодной водой, надел шубу и пошел к столу.

Обедал он в шубе, стоя. На столе не было ни скатерти, ни салфеток — ели рыбу и пшеничную кашу. Выпили в заключение порядочную чашу пунша.

Продолжая путь, Суворов доехал до Вильны. Остановившись перед главною гауптвахтою, он, не выходя из экипажа, принял почетный рапорт от командира, квартировавшего в Вильне фанагорийского полка.

Тут находились все власти гражданские и военные, толпы городских жителей, фанагорийские офицеры и солдаты. Александр Васильевич пожелал видеть старых гренадер — своих старых знакомцев. Человек пятьдесят подошли.

Суворов поздоровался, назвал их витязями, чудо-богатырями, своими милыми, обра-

щался ко многим поименно, подзывал поближе, целовался. Легко понять, какое действие произвело это свиданье на старых, седых суворовских сослуживцев, издавна сроднившихся в пороховом дыму со своим любимым начальником. Солдаты переглянулись. Гренадер Кабанов выступил вперед.

— Отец, родимый наш, возьми наш полк к себе бить французов, — сказал он.

— Хотим, желаем, — подхватили другие.

Просьба была невозможная: расписание войск было составлено давно и, при известных взглядах государя, вмешиваться в это дело не следовало.

— Хорошо, витязи, хорошо, чудо-богатыри, буду за вас ходатаем у его величества, — все-таки пообещал Александр Васильевич, не желая огорчать прямым отказом своих боевых товарищей.

— Ура!.. Отец... Родимый наш... — раздалось по рядам солдат.

Суворов велел переменить лошадей и вскоре отправился в дальнейший путь.

В Вену он прибыл 14 марта, вечером, и остановился в доме русского посольства. По-

сол, граф Разумовский, заранее распорядился, чтобы в комнатах фельдмаршала не было зеркал, бронзы и вообще никакой роскоши и чтобы была приготовлена постель из сена.

На другой день состоялась аудиенция у императора. Александр Васильевич поехал вместе с графом Разумовским. Толпы любопытных образовали собою шпалеры по всем улицам от самого посольского дома до дворца. Даже дворцовая лестница и смежные коридоры были полны зрителями.

— Виват, император Павел! Виват, Суворов! — всюду гремели восторженные клики толпы.

— Виват, император Франц! — отвечал на приветствия Александр Васильевич.

К императору он был приглашен один.

— Надеюсь, дорогой фельдмаршал, что у вас уже составлен план кампании... Не поделитесь ли вы им со мною?

— Вот он, ваше величество, — ответил Суворов и вынул из кармана сложенный лист бумаги, подал его императору.

Тот развернул его, и на его лице изобразилось крайнее недоумение. Лист был чист.

— Но тут ничего нет, — сказал Франц.

— Нет, тут есть, ваше величество, все, что нужно... Тут есть подпись моего повелителя.

Александр Васильевич указал на находившуюся в конце листа подпись «Павел».

— Это бланкет, а не план... — возразил император.

— Это разрешение бить французов, ваше величество, а план здесь...

Александр Васильевич ударил себя рукой по лбу.

Аудиенция продолжалась более часу. После него дана аудиенция графу Разумовскому, а затем приняты офицеры, составлявшие свиту Суворова. Александр Васильевич вернулся домой при тех же овациях народа.

На другой день он ездил представляться императрице, эрцгерцогам и французским принцессам, но по причине Великого поста отказался быть на обеде у Разумовского, куда съехался весь высший круг Вены. Под тем предлогом он не принял ни одного подобного приглашения от министров и других знатных лиц и потому, во избежание отказа, не был приглашен к столу и императором.

Частыми гостями Александра Васильевича были принц де Линь (отец), принц Кобургский и отставной генерал Карачай, которого он уговорил поступить снова на службу в войска, под его, Суворова, начальство. Больших приемов он не делал и обширного знакомства не водил. Вообще он вел в Вене свой обычный образ жизни, вставал задолго до света, обедал в 8 часов утра.

Один из его немногих выездов был в Шенбрун, чтобы взглянуть на отделение Розенбергова корпуса, проходившее на театре войны.

В этот день Вена почти опустела — все повалили в Шенбрун, где встречал русскую колонну император Франц. Не будучи сюда приглашен, Александр Васильевич сидел в карете и смотрел оттуда на войска. Франц заметил его и предложил ему верховую лошадь. Суворов сел верхом и рядом с императором смотрел проходившие войска.

По словам очевидца-иностранца, вся Вена нравственно преобразилась с приездом Суворова. О нем только было и речи: его оригинальность, жесты, слова разбирались в мель-

чайших подробностях, перетолковывались, извращались за пределы вероятного.

Наконец, отъезд Суворова назначен был на 24 марта.

Накануне была назначена отпускная аудиенция. Александр Васильевич, кончивший благополучно переговоры с венским гофкригсратом ничем, дал только шутовское обещание — не следовать примеру других, не обращаться с французами так деликатно, как с дамами, ибо он уже стар для подобных любезностей. Но он жестоко ошибся, полагая, что выедет из Вены с пустыми руками, то есть с полной волей.

На прощальной аудиенции император Франц принял его по-прежнему весьма благосклонно и снова заявил ему полную свою доверенность, но при этом вручил инструкцию с изложением главнейших указаний для первоначального хода кампании. Эта инструкция была именно тем самым, во избежание чего Суворов не хотел обязываться перед гофкригсратом никакими заранее составленными предположениями.

— В кабинете врут, в поле бьют, — повто-

рил он свою любимую поговорку.

Выехавший навстречу Александру Васильевичу в Виченцу генерал квартирмейстер армии маркиз де Шателер старался, докладывая ему дорогой о расположении войск, выпытывать от него план предстоящих действий, но Суворов, слушая его, говорил только:

— Штыки, штыки!

XV

Выступление

Император Франц возвел Суворова в чин фельдмаршала австрийских войск. Судьба последних всецело, таким образом, была вручена Александру Васильевичу, а между тем, как мы видели, никто не мог добиться от него плана предстоящих военных действий.

Австрийские военачальники сгорали от любопытства, смешанного с беспокойством за дальнейший исход кампании, и то и дело приставали к Суворову с вопросами:

— Как вы, фельдмаршал, будете действовать?

Это, наконец, надоело Александру Васильевичу, и он сказал:

— Как? Очень просто: цель к Парижу! Достичь ее, бить врага везде, действовать в одно время на всех пунктах, умно, разумно, скоро, решительно, свободно, с усердием! Военные дела имеют свой характер, ежеминутно изменяющийся, следственно частные предположения тут не имеют места, и вперед предвидеть дела никак нельзя. Одно лишь возможно: бить и гнать врага, не давая ему ни минуты отдыха. Но для этого нужно иметь полную свободу действовать — тогда только, с помощью Божией, можно достигь цели, в чем ружаюсь.

Такое объяснение гениального полководца, дышащее безыскусственной правдой, далеко не удовлетворило вопрошавших, привыкших, по выражению Суворова, «врать в кабинетах». Но более, увы, от него ничего добиться было нельзя.

День прибытия в Верону совпал как раз с днем, как туда были привезены трофеи недавно одержанной над французами победы.

Итальянцы — народ, как известно, очень впечатлительный, с восторгом приветствовали эти трофеи. На улицах толпилось множество народа, до которого и дошло известие о приближении к городу самого «непобедимого Суворова». Толпы ринулись за город и положительно запрудили всю дорогу, по которой должен был проезжать великий русский полководец.

Едва показался экипаж, в котором ехал фельдмаршал, как народ окружил его, убрал знаменами и при неумолкаемых криках восторга повез, выпрягши лошадей, на себе в город вплоть до приготовленного для Александра Васильевича дома.

Среди многих торжественных встреч, которые были устраиваемы Суворову, не было ни одной более торжественной, а главное, более сердечной, как эта встреча в первом итальянском городе — Вероне. С трудом, среди моря голов, достиг экипаж Александра Васильевича до места.

Суворов быстро выскочил из него и бегом вбежал по лестнице в отведенные для него апартаменты.

Всю ночь на площадях и на улицах, а особенно перед домом главнокомандующего гремели серенады, сверкала иллюминация, и народ не расходился.

Скажем теперь несколько слов о положении дел на театре войны, куда спешил Суворов «спасать народы и царей».

Война в Италии уже кончалась.

Французский главнокомандующий Шерер, по указанию из Парижа, держался наступательного образа действий. В кровопролитной битве при реке Адиг французы разбили левый фланг австрийцев и оттеснили центр, но на правом фланге потерпели неудачу и должны были отступить. При втором столкновении при Маньяно французы потерпели более, чем австрийцы, и должны были отступить в ту же ночь.

Генерал Край преследовал их лишь одними разъездами до Минчио, не воспользовался своей полупобедой и все ожидал генерала Мелласа, потеряв, таким образом, много драгоценного времени. Шерер спокойно отступил, усилив гарнизоны Пескиеры и Мантуи.

Только через три дня по отступлении Ше-

рера генерал Меллас перевел войска за Минчио и перенес главную квартиру в Валеджио. Это произошло в тот самый день, когда Суворов прибыл в Верону.

Силы противников и занимаемые ими позиции представлялись в следующем виде.

К началу 1799 года Австрия имела больше 350 000 действующих войск. Большая часть их была расположена в Южной Германии и на западной границе. Так, у эрцгерцога Карла было за рекою Лерхом до 80 000 человек, в Богемии же его резерв был в 15 000 человек.

Несколько левее к границе Швейцарии стоял корпус Готце в 26 000 человек, наконец, в итальянских владениях Австрии, от Вероны до Далмации, было расположено 86 000 человек. Начальство над ними должен был принять Меллас, а пока командовал генерал-фельдцейхмейстер барон Край.

Эти-то войска поступили под главное начальство графа Суворова.

Русские войска, посланные императором Павлом для действия против французов, на сухом пути простирались до 65 000, а именно корпуса Розенберга — 20 000, Германа, впо-

следствии Ребиндера — 11 000, Римского-Корсакова — 27 000 и принца Конде — 7000.

Англия со своей стороны не жалела никаких издержек и, кроме денежной субсидии России и Австрии, вооружила весь флот, и французские суда не могли показываться на море.

Русско-турецкий флот, в свою очередь, блокировал в это время берега Неаполитанских королевств, откуда король был выгнан французами.

Французские войска на всех театрах войны были гораздо малочисленнее австрийских, но у них было оживление, энергия, были способные генералы, которые своими рискованными и порой непредвиденными движениями окончательно сбивали с толку заплесневевших австрийских генералов.

Французы переняли все важное из старой военной тактики Суворова и строили свои войска не рядами, как австрийцы, а колоннами, охотно бросались в штыки, что почти не допускалось австрийской тактикой.

Кроме того, отсутствие обозов, легкость обмундировки и облегченная сильная артилле-

рия делала их легкие колонны неуловимыми, и часто французы вырывали победу у австрийских генералов, когда последние уже писали реляцию об одержанной победе.

В это время на итальянском театре войны французами командовали северной армией Шерер, бывший военный министр, а южной — Макдональд, генерал, исполненный храбрости и распорядительности.

Сам Бонапарт, как мы знаем, находился в Египте, где и был заперт, как в клетке, со своим тридцатитысячным войском, британскими кораблями.

Талейран, этот величайший ум тогдашней Европы, писал ему в Египет:

«Суворов ведет себя как шалун, говорит как мудрец, дерется как лев и обещает положить оружие только в Париже. Приезжайте и спасайте нас и Францию».

Такова была оценка великим дипломатом — Талейраном великого полководца — Суворова.

Но возвратимся к последнему.

Он прибыл в Верону вечером, и тотчас же

приемная фельдмаршальского дома стала наполняться русскими и австрийскими генералами, городскими чиновниками, духовенством, знатнейшими лицами города.

Вышедший вскоре в приемную Александр Васильевич поклонился всем и подошел под благословение к архипастырю. Последний сказал ему приветствие, затем приветствовала его городская депутация.

Суворов выслушал добрые пожелания и сказал:

— Милосердный мой государь, Павел Петрович, император большой русской земли, и австрийский император Франц прислали меня со своими войсками выгнать из Италии безбожных, сумасбродных, ветреных французов; восстановить у вас и во Франции тишину; поддержать колеблющиеся престолы государей и веру христианскую; защитить права и искоренить нечестивых... Прошу вас, ваше высокопреосвященство, — обратился он к архиепископу — молитесь Богу за царей-государей, за нас и за все христолюбивое воинство! А вы, — прибавил он, обращаясь к чиновникам и вельможам, — будьте верны и Богу, и

государевым законам и помогайте им всею душою.

После этой речи Александр Васильевич поклонился и ушел. Прибывшие стали разъезжаться, и вскоре в зале остались лишь русские генералы и несколько австрийских. Суворов снова вышел и, обратившись к генералу Розенбергу попросил познакомить его с господами генералами.

Розенберг стал представлять всех, называя каждого по имени. Александр Васильевич стоял с закрытыми глазами и при произнесении незнакомой фамилии открывал их, осматривал представляемого с головы до ног, кланялся и говорил:

— Помилуй бог, не слыхал. Познакомимся.

Этот отзыв был обиден для многих, считавших себя знаменитостями.

Наконец, когда начали представляться младшие, Розенберг сказал:

— Генерал-майор Маллер-Закомельский.

— А, помню, — сказал Суворов, — не Иван ли?

— Так точно, ваше сиятельство! Александр Васильевич открыл глаза.

— Послужим, побьем французов! Нам честь и слава!

— Генерал-майор Милорадович! — продолжал представлять Розенберг.

— А! А! Это Миша, Михайло! — воскликнул Суворов.

— Я, ваше сиятельство.

— Я знал вас вот таким, — сказал Александр Васильевич, показывая рукой на аршин от пола, — и едал у вашего батюшки Андрея пироги. О! Да какие были сладкие... как теперь помню! Помню и вас, Михаил Андреевич!.. Вы славно тогда ездили на палочке! О, да как же вы тогда рубили деревянною саблею! Поцелуемся, Михаил Андреевич. Ты будешь герой!.. Ура!..

Суворов бросился обнимать Милорадовича.

— Употреблю все усилие, чтобы оправдать доверенность вашего сиятельства, — произнес тот сквозь слезы.

— Генерал-майор князь Багратион! — проговорил Розенберг.

Тут Александр Васильевич восторженно выпрямился и спросил:

— Князь Петр? Это ты, Петр? Помнишь ли ты... под Очаковом, с турками... В Польше!..

С этими словами Суворов бросился на шею Багратиону, обнял его и стал целовать в лоб, глаза, губы.

— Господь Бог с тобою, князь Петр! Помнишь ли? А? — продолжал восклицать он.

— Нельзя не помнить, ваше сиятельство, — отвечал князь Багратион со слезами на глазах, — того счастливого времени, в которое я служил под вашею командою.

— Помнишь ли походы?

— Не забыл и не забуду вовек, ваше сиятельство.

Кончив прием, Александр Васильевич стал широкими шагами ходить по комнате, затем остановился и принялся произносить главные афоризмы своего военного катехизиса, как бы подтверждая их значение и на новом театре войны, при новом неприятеле.

Вдруг он обратился к Розенбергу:

— Ваше высокопревосходительство, пожалуйста мне два полка пехоты и два полка казачков.

— Все войско в распоряжении вашего сия-

тельства, — отвечал, не поняв приказания, Розенберг.

По лицу Суворова пробежала тень.

— Намека, догадка, лживка, краткословка, немогузнайка; от немогузнайки много, много беды, — скороговоркою проговорил он и вышел из залы.

На другой день он снова повторил генералу Розенбергу свою просьбу. Последнего выручил князь Багратион, знавший ближе Александра Васильевича.

— Мой полк готов, ваше сиятельство! — сказал он.

Суворов обрадовался, что его приказание понято, и велел Багратиону готовиться к выступлению. Князь на другой же день исполнил приказание, и первый двинулся со своим отрядом.

XVI

От победы к победе

Неудачи французского главнокомандующего Шерара были предсказаны Александром Васильевичем.

Раз за обедом рассказывали, что Шерер, по прибытии его к армии в Италию, на первом смотре в Мантуе поднимал сам головы солдат, оправлял шляпы и замечал тотчас недостающую на мундире пуговицу.

Суворов на это сказал:

— Ну, теперь я все знаю. Такой экзерцирмейстер не увидит, когда его неприятель окружит и разобьет.

Узнав вскоре, что Шерер сдал начальство Моро и удалился в Париж, Александр Васильевич заметил:

— И здесь вижу я перст Провидения. Мало славы было бы разбить шарлатана. Лавры, которые похитим у Моро, будут лучше цвести и зеленеть.

Одним из особенно горячо возражавших против высказанного Александром Василье-

вичем общего плана будущих военных действий был австрийский генерал Меллас.

— Знаю, что вы генерал «вперед» (vorwärts), — говорил он Суворову.

— Полно, папа Меллас, — сказал Александр Васильевич, — правда, что вперед — мое любимое правило, но я и назад оглядываюсь.

Действительно, Меллас, вникнув во все распоряжения Суворова, согласился с ним и даже с восторгом воскликнул:

— Где и когда успели вы все это обдумать?

— В деревне; мне там много было досуга, зато здесь думать некогда, а надобно делать, — отвечал Александр Васильевич.

И действительно, Суворов «делал».

Семидесятилетний герой начал военные действия с быстротою, отличавшей все его подвиги. Отрядив часть войска для овладения крепостями, находившимися в руках французов, Александр Васильевич сам пошел против неприятельской армии, бывшей под началом генерала Моро.

В то время, когда Багратион и Милорадович отличались, со своей стороны Суворов

разбил Моро, двинулся к Милану и занял этот город.

Некоторые австрийские генералы представили Александру Васильевичу, что после трехдневного с неприятелем дела войска заслуживают, чтобы им дано было хоть малое отдохновение. В ответ на это Суворов отдал в приказе: «Вперед!»

В Милане он пробыл лишь четыре дня.

Император Павел Петрович прислал фельдмаршалу перстень со своим портретом, осыпанным бриллиантами.

В собственноручном письме государь писал герою:

«Примите этот перстень в свидетели знаменитых дел наших и носите на руке, поражающей врага всемирного благоденствия».

Сын Александра Васильевича Аркадий был пожалован в то время генерал-адъютантом и получил приказание ехать к отцу.

— Поезжай и учись у него, — сказал ему император. — Лучшего примера тебе дать и в лучшие руки отдать не могу.

Суворов между тем продолжал бить и тес-

нить врага, отнимая у него крепости и укрепления, и вошел в Турин. Перед занятием этого города некоторые генералы осмелились представить Александру Васильевичу разные затруднения в рассуждении взятия Турина.

— Пустое! — воскликнул он, рассердившись. — Ганнибал прошел Испанию, переправясь через Рому, поразив галлов, перешел Альпы, взял в три дня Турин. Он будет моим учителем. Хочу быть преемником его гения.

Турин был взят 16 мая, а 17 числа по этому случаю, а также по поводу известий о других успехах русско-австрийского оружия состоялось празднество.

Утром отслужено было в доме, где остановился Суворов, благоденственное молебствие по чину православной церкви, а затем главнокомандующий в парадной форме, при всех знаках отличия, отправился в богатой карете в собор. Карету эскортировали генералы союзной армии верхами. Толпы народа теснились по пути этого торжественного поезда, оглашая воздух восторженными криками.

При входе в церковь Александр Васильевич был встречен духовенством, а во время

молебствия усердно молился. Артиллерия, расставленная на городском валу, производила пальбу.

Таким же порядком возвратился Суворов домой, а затем дал парадный обед, пригласив знатнейших лиц города и некоторых генералов союзной армии.

Турин поднес русскому герою шпагу, осыпанную бриллиантами, а по прошествии некоторого времени он удостоился получить следующий рескрипт от императора Павла Петровича:

«Граф Александр Васильевич!

*В первый раз уведомили вы нас об одной победе, в другой о трех, а теперь прислали реестр взятым городам и крепостям. Победа предшествует вам повсеместно, и слава сооружает из самой Италии памятник великим подвигам вашим. Освободите ее от ига неистовых разорителей, а у меня за сие воздаяние для вас готово! Простите, Бог с вами! Пребываю к вам благо-
словенный*

Павел».

Несмотря на блистательные победы Суво-

рова, многие из его распоряжений не были одобрены австрийским императором, по наущениям гоф-кригсрата, и преимущественно министра Тугута.

Славный полководец беспрестанно встречал затруднения и препятствия, которые, однако, не заставили его упасть духом. Вопреки очевидному недоброжелательству Тугута, Александр Васильевич продолжал действовать с прежним успехом. Австрийцы претерпели несколько поражений и отступали, когда явился к ним на помощь Суворов, и на берегах Требии вплел новые неувядаемые листки в свой лавровый венок.

Три дня кряду, 6, 7 и 8 июня, происходили кровавые битвы с одинаковым ожесточением с обеих сторон. В них принимал деятельное участие великий князь Константин Павлович, приехавший в армию под именем графа Романова.

Французы сосредоточили все свои силы против русских, которые невольно отступили. Лишь только Александр Васильевич заметил это отступление, как сам явился перед войсками на лихом казацком коне и громко

закричал:

— Заманивайте! Хорошенько заманивайте! Шибче, шибче!

Суворов словом «заманивайте» заменял ненавистные ему слова: «назад», «отступить», «ретироваться».

Отступили шагов на полтораста. Вдруг фельдмаршал остановился и скомандовал:

— Стой!

В одно мгновение линии отступивших остановились неподвижно, как каменная стена, и в то же мгновение внезапно открывшаяся батарея осыпала неприятеля градом картечи и ядер. Это внезапное и неожиданное обстоятельство ошеломило французов. Этого только и нужно было Александру Васильевичу.

— Вперед! — крикнул он. — В штыки!.. Ура!..

Французы были смяты, разбиты, но этим еще не кончилось сражение.

Макдональд, начальствовавший французскою армией, оказался достойным соперником Суворова.

Будучи тяжело ранен, он не оставил, одна-

ко, поле сражения, командовал на носилках и мужественно отстаивал каждый шаг и после трехдневного сражения готов был сразиться еще в четвертый день, чтобы победить или умереть, но генералы требовали отступления. В полночь Макдональд тихо снялся с лагеря и отступил.

Русские гнали его неумолимо. Во все время этой битвы Александр Васильевич, несмотря на свои преклонные лета, не сходил с казацкой лошади, воодушевлял своим присутствием союзные войска и приобрел новую славу.

Император Павел наградил Суворова своим портретом, осыпанным бриллиантами, для ношения на груди, а за освобождение Италии назначил его князем Российской империи с титулом Итальянского, простирающимся и на его потомство.

Сардинский король прислал Суворову свой орден, диплом на имя генерал-фельдмаршала и на достоинство князя, с титулом «двоюродного брата» (cousin) и с предоставлением его, из рода в род, перворожденным. Вместе с тем король изъявил желание служить под на-

чалством его, в италийской армии.

Император Павел Петрович, согласившись на принятие Суворовым лестных отличий, написал к нему, что

«через это он и ему войдет в родство, быв однажды принят в одну царскую фамилию, потому что владетельные особы между собою все почитаются роднёю».

В Англии, на всех праздниках, пили за здоровье Суворова, избавителя Италии, и в похвалу русского героя сочиняли стихотворения.

Между тем австрийский гоф-кригсрат продолжал делать неприятности Александру Васильевичу, так что он нашел, наконец, вынужденным пожаловаться своему государю. Павел Петрович повелел Суворову собрать в одно место вверенные ему русские войска и действовать независимо, если эти неприятности не прекратятся.

Успехи Суворова произвели переворот во французском правительстве.

Будучи недовольно распоряжениями Моро, оно вверило начальство над армией моло-

дому Жуберту, который поклялся победить или умереть и полетел в Италию.

— Юный Жуберт, — сказал Суворов, — пришел учиться: дадим ему урок.

Этот урок был дан 4 августа, при местечке Нови. В третьем часу утра началась перестрелка, постепенно усилившаяся. Неприятель стоял твердо и дрался с редким мужеством, пользуясь горным местоположением. Опрокинуть его не было никакой возможности.

Заметив некоторое ослабление в рядах русских войск, французы с быстротою молнии напали на них и заставили отступить. Но перед отступающими вдруг появился Суворов.

— Ко мне, сюда, братцы!.. Бей штыком!.. Колоти прикладом! Не задерживай! Шибко или вперед!.. Ух, махни!.. Головой тряхни!.. Вперед, мы русские!.. Чудо-богатыри, вперед!.. Катай!.. Ура!..

Молодой генерал Жуберт, видя, что победа склонилась на сторону русских, сам повел в штыки свое войско, ободрял солдат, но роковая пуля сразила республиканского генерала.

Он пал как герой, и последние его слова были:

— Вперед, вперед!

Он исполнил свою клятву.

К вечеру неприятель был совершенно разбит. Небольшая кучка французов, спасшихся от смерти, скрылась в горах. Ночь прекратила битву. Следствием победы при городе Нови было заключение капитуляции, по которой французы принуждены были сдать неприступную крепость Тортону.

Император Павел написал следующее письмо к Суворову.

«Князь Александр Васильевич!

Я получил известие о знаменитой победе вашей над упокоенным вами генералом Жубертом. Рад весьма, а тем более, что убитых не много и что вы здоровы. Не знаю, что приятней, вам ли побеждать или мне награждать за победы! Но оба мы исполним должное. Я как государь, а вы как первый полководец в Европе.

Посылаю награждение за взятие Серавали; а вам не знаю, что уже давать, потому что вы поставили себя выше

награждений, определили почестъ военную, как увидите из приказа, вчера отданного. Дстойному — дстойное. Прощайте, князь! Живите, побеждайте французов и прочих, кои имеют в виду не восстановление спокойствия, а нарушение оногo»[22].

Военная почестъ, о которой император упоминал в письме, состояла в том, что государь повелел гвардии и всем российским войскам отдавать Суворову, даже в присутствии своем, все воинские почести, отдаваемые особе его императорского величества.

Русский царь вел эту войну единственно для восстановления спокойствия в Европе и для восстановления веры и низверженных государей, а венский двор, вместо того чтобы оценивать великодушное действие русского монарха, беспрестанно противопоставлял им преграды. Это должно было чем-нибудь разрешиться.

Ожидать долго не пришлось.

Фридрих II приказал Суворову сдать начальство над своими войсками одному из своих генералов, а император Павел приказал

своему фельдмаршалу двинуться с русским войском в Швейцарию.

«Никогда я не забуду храбрых австрийцев, — писал Александр Васильевич в прощальном приказе к австрийским войскам, — которые почтили меня доверенностью и любовью; не забуду воинов победоносных, соделавших меня победителем».

Таким образом, кончился знаменитый поход Суворова в 1799 году, в котором союзные войска, под начальством знаменитого полководца-героя, выиграли 10 сражений, приобрели около трех тысяч огнестрельных оружий, 200 000 ружей, 80 000 пленных, 20 крепостей.

Начался не менее победоносный и славный обратный путь в Россию.

XVII

В горах

Русские войска, вступив в Швейцарию, встретились с совершенно новой для них природой.

Исполинские Альпийские горы, покрытые снегами, представили для них изумительное, невиданное до тех пор зрелище. Дорога в горах становилась все затруднительнее и затруднительнее, но, несмотря на это, Суворов продолжал идти безостановочно вперед, спеша к городу Белинцону, расположенному у подошвы горы Сен-Готард. Там должны были быть наготове, по крайней мере, уверяли австрийские военные власти, мулы, которыми Австрия обязалась снабдить русские войска для подвоза орудий и провианта.

Переход, требовавший, по меньшей мере, восемь дней, был совершен за шесть. Мулов в Белинцоне не оказалось. Было несомненно, что это дело происков недоброжелательного министра Тугута.

Александр Васильевич прождал пять дней,

во время которых австрийские комиссионеры уверяли, что мулы должны прийти с минуты на минуту, но, увы, последние не появлялись. Собрался военный совет, и по мысли великого князя Константина Павловича Суворов приказал спешить донских казаков и лошадей их употребить под тяжести.

Стояла непроглядная осень. Все время шел холодный, до костей пронизывающий дождь. Солдаты, однако, не падали духом, поддерживаемые воодушевлявшим их Александром Васильевичем.

— Там, — говорил он им, указывая на казавшиеся неприступными горы, — безбожники французы. Мы будем бить их по-русски! Правда, горы высоки, есть пропасти, водотоки, но мы их перейдем, перелетим. Мы — русские. Бог нам путеводитель. Когда полезем на горы, одни стрелки стреляй по головам врага. Редко, да метко! А прочие шибко, врассыпную! Взлезли — бей, коли, гони, не давай отдыха! Просящему — пощада! Грех напрасно убивать. Большой грех! Везде фронт. Помилуй бог, мы русские! Богу молимся: он нам помощник! Царю служим: он на нас надеется,

нас любит и наградит нас словом ласковым. Чудо-богатыри, чада Павловы! Кого из нас убьют — царство небесное. Церковь Бога молит! Останемся живы, нам честь, нам слава, слава, слава!

— Рады стараться! Веди нас, отец наш родной! Веди, веди. Умрем за царя! Ура! — слышались возгласы воодушевленных солдат в ответ на речь любимого полководца.

Смело, и бодро шли они за ним на еле обхватываемые глазом крутизны.

Гора Сен-Готард была охраняема французами. Чудо-богатырей ничто не останавливало на пути — с ними был их чудо-вождь Суворов. На высочайшие горы пробирались они по узеньким тропинкам, по обрывам спускались в глубокие пропасти, шли часто прямо по целине, без дороги, по пояс в воде переходили вброд быстрые горные реки.

Дождь между тем все лил и лил. Ночи были темные, непроглядные. Холодный северный ветер уныло завывал в горах. Войска двигались, молча, черной массой, подобно тысячеголовому чудовищу. Изредка слышались проклятия по адресу Тугута, да невольные

вырывавшийся крик неожиданности при падении в бездонную пропасть выбившегося из сил или неосторожно поскользнувшегося товарища. Этот крик, да крестное знамение товарищей были ему надгробною молитвою. Чудовище ползло дальше.

Наконец появился давно с нетерпением ожидаемый неприятель.

Несмотря на многочисленность французов и удобство их горной обуви, подбитой гвоздями остриями вниз, позволявшей им твердо держаться на скользких скалах, они не устояли против штыков «каменных суворовцев» и бежали. Отступая, они сожгли Чертов мост, бывший на пути русских войск.

Но это не остановило последних. Они связали доски шарфами офицеров и пробирались по оставшимся перекладинам, спускались в бездну, но неумоимо били и гнали неприятеля.

Так могли пройти, впрочем, отряды, полки, но для перехода всей армии мост необходимо было капитально исправить. Появились австрийские пионеры. В течение нескольких дней они меряли, рассчитывали, соображали,

но дело постройки моста не подвигалось от того ни на волос.

Русские между тем горели нетерпением поскорее перейти мост и погнаться за неприятелем, хотя бы только для того, чтобы согреться. Они иззябли и измокли до костей. Несмотря на приказания русских генералов приступить скорее к постройке, австрийцы, с присущим им воловьим упрямством, все судили и рядили, не принимались за работу.

Один из полковых командиров вышел из себя, вызвал из своего полка солдат, знающих плотничье дело. Явилось около ста человек. Отобрав от австрийских пионеров инструменты, русские принялись за дело.

Немцы насмешливо улыбались, следя за работой. Последняя положительно кипела — к утру мост был готов. Насмешливая улыбка сменилась на немецких лицах выражением удивления.

— Fertig! — восклицали они, осматривая работу. — Ja, ja! Das ist gut [23].

— То-то гут! — ответил им один из доморощенных строителей. — Вы бы и до вечера гутели, а дела бы не делали! На, получи свой

инструмент. Их данкин!

Узнав об этом, Александр Васильевич сказал:

— Русский на все пригоден! Помилуй бог, на все, на все! И врага бить, и Богу, и царю служить! У других этого нет, а у нас есть, есть все, все...

Гора Кальмберг, высочайшая на Сен-Готарде, представляла еще затруднение для русских войск. Темные облака, перерезывавшие вершины горы, обдавали солдат сыростью и холодом, солдаты шли в густом облачном тумане, карабкались то по голым скалам, то по вязкой глине, усыпанной мелкими камешками. Все терпели страшную нужду.

Подтянув потуже живот, солдаты по-братски делили одну картофелину или кусочек сыра. О мясе и не было помину. Сапоги у всех почти были без подошв. Офицеры обрезывали фалды у своих мундиров и обертывали ими свои израненные ноги.

Внизу была благодатная осень, а на горах суровая зима. Вверху и в самую ясную погоду холод, ветер, а внизу, под ногами храброго войска, тепло, гром и молния. Насмотрелись

там чудес природы чудо-богатыри, солдатушки Суворова. Несмотря на это бедственное положение, они не горевали — за них горевал отец всего русского воинства — Суворов.

16 сентября, спустившись с этой поднебесной, всех измучившей горы в долину Муттен-Тал, отряд, предводительствуемый генералом Багратионом, недалеко от селения Муттен встретил передовой пост французов, расположенный за прилеском. Багратион приказал казакам обнять его с боков и с тылу, а отборных передовых из пехоты двинул прямо. В минуту неприятель был окружен и после упорной защиты разбит. До ста человек с офицерами взято в плен и гораздо больше того убито.

Генерал Багратион остановился. Его разъездные казаки донесли, что за селением был расположен главный корпус французов. Время подходило к вечеру, а Александр Васильевич приказал не тревожить неприятеля и повелел усилить передовые посты.

В ночь перед этим Суворов получил новые неприятные сведения о злобных происках

министра Тугута, которые последний с немецкою систематичностью приводил в исполнение.

17 сентября генерал Багратион был потребован к фельдмаршалу, которого застал в полной парадной форме и во всех орденах. Он шибко ходил по палатке и против своего обыкновения не приветил своего любимого сослуживца не только словом, но даже и взглядом. Казалось, он не видел его и был сильно чем-то встревожен. Лицо его было важно, величественно.

Он, ходя, говорил сам с собою:

— Парады!.. Разводы... Большое к себе уважение! Обернется, шляпы долой!.. Помилуй Господи!.. Да и это нужно, да во время!.. А нужнее этого: знать, как вести войну, знать местность, уметь расчесть, уметь не дать себя в обман, уметь бить! А битому быть — не мудрено!.. Погубить сотни тысяч!.. И каких, и в один день... Помилуй, Господи!..

Генерал Багратион, увидев, что Суворов не обратил на него внимания, видимо погруженный в свои горькие думы, вышел из палатки.

Вскоре прибыл великий князь Константин

Павлович, и с ним все генералы и некоторые из полковников. Генерал Багратион вместе с прибывшими вернулся в палатку фельдмаршала. Последний встретил их поклоном, закрыл глаза, задумался, собираясь, видимо, с силами высказать то, что было у него на душе.

Вдруг он открыл глаза, и взор его, как молнией поразил всех.

Это не был уже тот Александр Васильевич, который между рядами воинов, в сражении, вел их на бой с высоким самоотвержением и быстротою сокола или так запросто, во время похода, веселыми своими рассказами заставлял всех любить его душевно — нет!

Это был уже величайший человек-гений!

Он преобразился совершенно.

— Корсаков разбит и прогнан в Цюрих! — заговорил он — Готц пропал без вести, и корпус его рассеяли... Австрийские войска, шедшие для соединения с нами, опрокинуты от Глариса и прогнаны... Итак, весь план для изгнания французов из Швейцарии расстроен!..

Затем Суворов стал излагать шаг за шагом, со времени пребывания своего в Италии, все

интриги, все препятствия, деланные ему бароном Тугутом с его гоф-кригсратом; говорил, что все планы и предложения его не были уважены австрийским кабинетом, что гоф-кригсрат связывал ему руки во всем и во все время, и все только благовидный предлог удалить его с русскими из Италии для лучшего себе присвоения в ней областей. Он заявил, что Корсаков разбит при Цюрихе вследствие коварных, изменнических распоряжений Тугута.

Затем он остановился, закрыл глаза и углубился в мысли. Все присутствующие были приведены в состояние экстаза, кровь кипела в их жилах и сердца, казалось, хотели вылететь из груди. Никто не решался говорить. Все ожидали продолжения речи великого, всегда победоносного полководца-старца, на закате лет жизни своей коварством поставленного в гибельное положение.

Суворов заговорил снова:

— Теперь идти нам вперед на Швиц — невозможно. У Массена свыше шестидесяти тысяч, а у нас нет теперь и двадцати тысяч. Идти назад — стыд!.. Это значило бы отсту-

пать, а русские и я никогда не отступали! Мы окружены горами, мы в горах! У нас осталось мало сухарей на пищу, а менее того боевых артиллерийских зарядов и ружейных патронов. Мы будем окружены врагом сильным, возгордившимся победою, победою, устроенной коварною изменою... Со временем дела при Пруте, при государе императоре Петре Великом, русские не были никогда в таком гибельно грозящем положении, как мы теперь... Никогда!.. Ни на мгновенье!.. Повсюду были победы над врагами, и слава России слишком восемьдесят лет сияла на ее воинственных, и слава эта неслась гулом от востока до запада. И был страх врагам России, и защита, и верная помощь ее союзникам!.. Но Петру Великому, величайшему из царей земных, изменил мелкий человек, ничтожный владетель маленькой земли, зависимый от сильного властелина — грек!.. А государю императору Павлу Петровичу, нашему великому царю, изменил кто же? Верный союзник России — кабинет великой, могучей Австрии, или, это все равно, правитель дел ее, министр Тутут, с его гоф-кригсратом... Нет!.. Это уже не

измена, а явное предательство! Чистое, без глупости, разумное, рассчитанное — предательство нас, столько крови своей проливших за спасении Австрии!.. Помощи ожидать нам теперь не от кого; одна надежда на Бога, другая на величайшую храбрость и на высочайшее самоотвержение войск, вами предводимых. Это одно остается нам... Нам предстоит труд величайший, небывалый в мире. Мы на краю пропасти...

Тут Александр Васильевич умолк на минуту, обвел всех присутствующих взглядом и добавил:

— Но мы русские! С нами Бог!

— Спасите, — начал он после некоторой паузы, — спасите честь и достоинство России и ее самодержца, спасите нашего государя императора. Спасите сына его, великого князя Константина Павловича, залог царской милостивой к нам доверенности.

С последними словами великий полководец пал к ногам Константина Павловича.

XVIII

Победитель природы

Картина лежавшего у ног великого князя Константина Павловича знаменитого полководца произвела потрясающее впечатление на присутствующих. Все положительно остолбенели на минуту, а затем невольно двинулись поднять старца-героя.

Великий князь предупредил и сам поднял Александра Васильевича, обнимал, целовал его плечи и руки. Слезы ручьями лились из его глаз. Суворов плакал навзрыд.

Все ощущали какое-то странное состояние духа при виде этих плачущих людей, один из которых был сын государя, а другой убеленный сединами, покрытый неувядаемыми лаврами, богатырь земли русской.

Кровь волновалась в каком-то восторженном состоянии и казалось, что если бы тьма тьмущая врагов или татар с подземными духами злобы предстали перед ними, они готовы бы были броситься на них и сразиться с ними.

Все невольно обратили свои взоры на присутствовавшего на совете благороднейшего и храбрейшего старца Вилима Христофоровича Дерфельдена, как бы приглашая его высказаться за всех.

И Дерфельден заговорил:

— Отец Александр Васильевич! Мы видим и теперь знаем, что нам предстоит, но ведь ты знаешь нас, знаешь, отец, ратников, преданных тебе душою, безотчетно любящих тебя. Верь же нам! Клянемся тебе пред Богом, за себя и за всех, — что бы ни встретилось, в нас ты, отец, не увидишь ни гнусной, незнакомой русскому трусости, ни ропота! Пусть сто вражьих тысяч станут перед нами, пусть горы эти втрое, вдесятеро представят нам препоны, мы будем победителями того и другого: все перенесем и не посрадим русского оружия, а если падем, то умрем со славою! Веди нас, куда думаешь, делай, что знаешь: мы твои, отец! Мы русские!

Голос старика Дерфельдена дрогнул, и две крупные слезы скатились по его щекам.

— Клянемся в том пред Всевышним Богом! — в один голос сказали все присутствующие.

щие.

Александр Васильевич слушал речь Вилима Христофоровича с закрытыми глазами и с опущенной долу головой.

Но после слова «клянемся» он поднял ее и, открыв глаза, блестящие райскою радостью, начал говорить:

— Надеюсь!.. Рад!.. Помилуй, бог... Мы русские!.. Благодарю!.. Спасибо... И победа над ними, и победа над коварством будет!.. Победа!..

Затем он подошел к столу, на котором была разложена карта Швейцарии, и начал говорить, указывая по ней:

— Тут... здесь... и здесь французы; мы их разобьем... и пойдем сюда... Пишите.

Александр Васильевич стал диктовать приказ, который заключил следующими словами:

«Все, все вы русские! Не давать врагу верха, бить его и гнать по-прежнему! С Богом! Идите и делайте во славу России и ее самодержца, государя».

Он поклонился в пояс всем присутствующим.

Все вышли из палатки Суворова с восторженным чувством, с самоотвержением, с силою воли духа: победить или умереть, но умереть со славою, закрыть знамена своих полков своими телами.

И клятва, данная отцу-полководцу, была исполнена. Все, от генерала до последнего солдата, сделали, как русские, все, что только было в их силе.

Враг был всюду бит, и путь через непроходимые до того, высочайшие, снегом покрытые горы был пройден. Они прошли их, не имея и вполовину насущного хлеба, не выдав ни жилья, ни народа, и все преодолели, и победили природу и врага, поддержанного коварством союзного кабинета, называвшегося искренним другом России.

Чудо-богатыри перенесли и холод, и голод.

Когда распространилось известие, что Суворов, вступив в Швейцарию, не получил обещанных австрийцами мулов и провианта, то общее мнение было, что знаменитый полководец погибнет с войском своим в горах.

Александр Васильевич на деле доказал ошибочность этого мнения. Правда, вслед-

ствие непрестанно и ясно обнаруживавшегося недоброжелательства венского кабинета продолжение войны становилось не только невозможным, но и напрасным; однако Суворов хотел с честью и со славою сойти с поля сражения.

Славный переход его через Альпы изумил Европу. Имя его славили, дивились семидесятилетнему старцу, победившему врагов и природу.

Бонапарт с берегов Нила писал правителю Франции о русском полководце, пожиравшем его победы, и спешил из Египта во Францию.

Император Павел Петрович, признательный к великим заслугам Суворова, возвел его в почетное достоинство генералиссимуса и прислал ему следующий рескрипт:

«Побеждая повсюду и во всю жизнь вашу врагов отечества, недоставало вам еще одного рода славы: преодолеть самую природу; но вы и над нею одержали ныне верх. Поразив еще раз злодеев веры, попрали вместе с ними козни сообщников их злобою и завистью против вас вооруженных. Ныне, награждая вас по мере признательно-

сти моей и ставя на высшую степень чести, за геройство предоставленную, уверен, что возвожу на оную знаменитейшего полководца сего и других времен».

Несмотря на милостивое расположение государя, Суворов не мог забыть удара, нанесенного русскому имени при Цюрихе. Написав императору о невозможности продолжать войну, он все-таки двинулся со своим войском вперед.

Дорого поплатился Массена за победу, одержанную под Цюрихом. Пять дней сряду русские били войска его близ Муттенталя, и все это кончилось тем, что Массену разбили и обратили в бегство. Из войска его было потоплено более 2000 человек, взято в плен 16 оберофицеров и 1200 человек рядовых, кроме того, русским досталось пять пушек и множество провианта, в котором оно крайне нуждалось.

Перед городом Гларис неприятель сделал последнее усилие. Он занял место перед тесниною. С одной стороны неприступные скалы, с другой — озеро и топь; в середине узенький проход.

Несколько раз бросались русские вперед, но ничего не могли сделать. Положение неприятеля было слишком выгодно. Прошел пятый день.

Наступил темный, холодный, ненастный вечер. Дождь лил ливня. Солдаты промокли и продрогли.

— Князь Петр! — сказал Александр Васильевич Багратиону. — Я хочу, непременно хочу ночевать в Гларисе. Мне с нашими витязями пора отдохнуть. Нам холодно и голодно, Петр. Непременно хочу ночевать в Гларисе.

И Суворов ночевал в Гларисе вместе со своими солдатушками, которые обогрелись, насытились и отдохнули. Неприятель был разбит совершенно и прогнан за Гларис. Три дня спустя русские вступили в город Кур, отдохнули и опять пошли далее.

Во все время этого славного перехода Александр Васильевич был на своей старой лошаденке, едва волочившей ноги, в синем плаще, подбитом, как говорится, ветром, сшитом в 1792 году, в мундире и полуботфортах. У форменной треугольной шляпы его были опущены поля.

После шестнадцатидневного победоносного перехода через Альпы русские взяли в плен около 3000 французов, в том числе 1 генерала, 3 полковников и 37 штаб- и обер-офицеров, отняли 11 орудий и 1 знамя[24].

В Куре войска нашли изобильные припасы, и в ту же ночь весело запылали костры, варилась каша. Солдаты справляли амуницию, чинили сапоги себе и офицерам, шутили уже над минувшим страданием, и далеко за полночь кругом костров гремели веселые песни.

Швейцарский поход кончился победой над природой.

И эта победа стоила сравнительно небольших жертв. Из 21 000 солдат, выведенных из Италии, Суворов привел в Кур 15 000 человек — отборный цвет своего войска, богатырей, закаленных таким закалом, что они стоили двойного количества любого европейского войска.

Из шести тысяч почти четыре тысячи были оставлены в госпиталях Швейцарии на благородство французов, потеря, следовательно, была убитыми и умершими — 2000 чело-

век. Спасение русских войск в горах Швейцарии несказанно обрадовало императора Павла Петровича.

Выслушав реляцию, он тут же пожаловал Суворова генералиссимусом и добавил при этом, обращаясь к Ростопчину:

— Это много для другого, а ему мало, ему быть ангелом.

В это же время государь повелел воздвигнуть в Петербурге монумент в честь Суворова. Награды сыпались за наградами на войска и на самого Суворова. Великий князь своею замечательною храбростью, распорядительностью и хладнокровием в боях заслуживал не только похвал, но и удивления Суворова и получил титул «цесаревича». Все генералы были щедро награждены. Не забыты и остальные участники швейцарского похода.

Вскоре последовало формальное объявление русского императора, что он прекращает общее дело вследствие неблагодарного поведения австрийского кабинета.

Александр Васильевич получил высочайшее повеление возвратиться в Россию и,

предвидя будущее, сказал:

— Я бил французов, но не добил... Париж мой пункт — беда Европе.

Оставляя армию, Суворов прощался со своими подчиненными, как отец с детьми, преданными ему всею душою.

Старые, седые солдаты, сподвижники славных дел великого полководца, рыдали как дети, целуя полы мундира того, кого они привыкли считать своим отцом. Они как бы предчувствовали, что им не видать более нежно любимого начальника, с которым они совершили столько славных бессмертных подвигов.

Александр Васильевич был в это время на апогее своей славы.

Курфюрст баварский, посылая ему, орден Губерта, писал, что так как ордена учреждены в воздаяние достоинств и заслуг, то никто больше Суворова не имеет на них права.

Сардинский король прислал ему большую цепь ордена Анунциаты, причем писал:

«Мы уверены, что вы, брат наш, не оставите ходатайствовать за нас у престола его императорского величе-

ства».

Даже венский двор как будто спохватился и счел нужным обратиться к нему с любезностью. Император Франц прислал ему большой крест Марии-Терезии, говоря в рескрипте:

«Я буду всегда вспоминать с чувством признательности о важных услугах мне и моему дому вами оказанных».

Кроме того, Франц II оставил Суворову на всю жизнь звание австрийского фельдмаршала с 12 000 гульденов жалованья.

Курфюрст саксонский прислал в Прагу, во время пребывания там Суворова, известного живописца Шмидта, поручив ему написать портрет генералиссимуса, что и было им исполнено.

Знаменитый адмирал лорд Нельсон, который, по словам русского посла в Лондоне, был в то время вместе с Суворовым кумиром английской нации, тоже прислал генералиссимусу восторженное письмо.

«В Европе нет человека, — писал он, — который бы любил вас так, как я: все

удивляются, подобно Нельсону, вашим великим подвигам, но он любит вас за презрение к богатству».

Кто-то назвал Суворова «сухопутным Нельсоном» — Нельсону это очень польстило.

Получил Александр Васильевич также горячий привет от старого своего сподвижника, принца Кобургского. Были приветствия и поздравления и от незнакомых лиц. Но дым фи-миама, который курили Александру Васильевичу, не застилал его глаза относительно прошлого.

Александр Васильевич был недоволен. Он удалялся с театра войны с горьким сознанием неполноты успеха итальянской кампании и совершенной неудачи швейцарской.

XIX

Непонятная опала

В последнее время, начиная с невольного пребывания в Кончанском, Александр Васильевич часто недомогал.

Явившись на службу, он как будто поправился, но к концу итальянской кампании снова стал хворать. Перед швейцарскою кампаниею слабость его была так велика, что он едва ходил, стали чаще побаливать глаза, давали о себе знать старые раны, особенно на ноге, так что не всегда можно было надеть сапог.

Швейцарская кампания еще усилила его болезненное состояние; он начал жаловаться на холод, чего прежде не случалось; не оставлял его и кашель, привязавшийся несколько месяцев тому назад, и особенно сделался чувствительным ветер.

Однажды в Праге Суворов ночью озяб, потому что откуда-то дуло. Он выскочил из спальни и стал бегать по приемной, ловя вместе с Прохором ветер — до того он ему

прискучил.

Не может быть, однако, сомнения, что главными причинами болезненного состояния Суворова были причины нравственные. Одни не давали ему покоя в селе Кончанском, другие неотвязно преследовали и мучили за границей.

Не поддаваясь всю жизнь никакой крупной страсти, — вспышка любви к покойной Глаше в ранней юности не может идти в счет, — кроме славолюбия, Суворов не мог вынести последних ударов судьбы с этой стороны.

Семейные неприятности также играли в этом состоянии духа Александра Васильевича значительную роль. Болело оскорбленное самолюбие, а праздность, отсутствие дела усугубляли нравственную боль.

Непреклонность его характера только усиливала болезненное ощущение, и неотвязные мечты о возобновлении военных действий растравляли душевные раны.

Александр Васильевич чувствовал, что слабеет, и, получив звание генералиссимуса, сказал:

— Велик чин, он меня придавит, недолго мне жить!

Это, впрочем, нимало не заставляло его принимать какие-нибудь меры предосторожности, вроде, например, изменения рода жизни, а, напротив, побуждало бороться с болезнью, настаивая на прежнем режиме.

После швейцарского похода при самом выходе из гор он был в самом легком костюме, да и после того он бравировал опасностью.

На одном из смотров, в холодное время, при резком ветре, он был мало того, что легко одет, но и мундир, и даже рубашка его были расстегнуты. Суворов почувствовал себя серьезно нездоровым тотчас по выезде из Праги, а по приезде в Краков должен был остановиться и приняться за лечение.

Особенно мучил его кашель, совершенно разбивавший грудь при малейшем ветре. Однако Александр Васильевич не поддавался болезни, пробыл в Кракове недолго и пустился в дальнейший путь, соблюдая строгую диету.

Борьба была неравная, и семьдесят лет взяли свое. С трудом дотащился он до Кобрина и здесь слег. Хотя он и написал в Петербург, что

остановился только на четыре дня, но такое решение не основывалось ни на чем, кроме надежды, и остановка потребовалась в десять раз длиннее. Здесь болезнь его развилась и выразилась в новых, небывалых еще симптомах.

В половине февраля 1800 года он пишет одному из своих племянников, что у него «огневица», что одиннадцать дней он ровно ничего не ел, что малейшая крупинка хлеба противнее ему ревеня;

«все тело мое в гноище, всякий час слабею, а если дня через два то же будет, я ожидать буду посвящения Парков».

В бытность свою в Праге и вскоре по выезде оттуда Александр Васильевич расстался почти со всеми родными и приближенными, которые разъехались в разные стороны, преимущественно в Петербург, по требованиям службы, так что при нем остались всего двое или трое, в том числе и князь Багратион.

Когда болезнь усилилась, последний поехал с донесением об этом к государю, и в Кобрин прискакали посланные императором

сын Суворова и лейб-медик Вейкарт. Новый врач принялся за лечение, но больной его не слушался, спорил с ним и советовался с фельдшером Наумом.

Вейкарт было заикнулся, что Александру Васильевичу необходимо съездить на теплые воды. Александр Васильевич раскричался:

— Помилуй бог! Что тебе вздумалось! Туда посылай здоровых богачей, прихрамывающих игроков-интриганов и всякую сволочь. Там пусть они купаются в грязи, а я истинно болен. Мне нужна молитва, в деревне изба, баня, каша да квас, ведь я солдат.

— Вы не солдат, а генералиссимус, — возразил Вейкарт.

— Правда, но солдат с меня пример берет.

Через несколько времени, впрочем, Вейкарту удалось сломить упрямство Александра Васильевича, и метод его лечения начал приносить пользу больному Суворову стало лучше.

Князь Аркадий сначала доносил государю о своем отце в выражениях неопределенных, говоря, между прочим, что Вейкарт рассчитывает скорее на улучшение, чем на ухудшение;

а потом стал писать, что болезнь проходит, велика только слабость, которая, однако, не мешает после 15 марта двинуться в путь.

Если Вейкартово лечение несколько и помогало, то еще больше помогли приятные вести, приходившие из столицы. Милостивое расположение государя к Суворову продолжалось неизменно и выказывалось при всяком случае.

Император был очень огорчен вестью о его болезни, посылая к нему своего доктора, рекомендовал «воздержанность и терпение» и советовал уповать на Бога.

Растопчин писал, что все с нетерпением его ждут «с остальными героями, от злодеев холода, голода, трудов и Тугута; что он, Растопчин, жаждет момента поцеловать его руку».

До Кобрина доходили вести, что генералиссимусу готовится торжественный прием, вернее сказать, триумф. Для его особы отведены комнаты в Зимнем дворце; в Гатчине должен его встретить флигель-адъютант с письмом от государя; придворные кареты приказано выслать до самой Нарвы. Войска предполага-

лось выстроить шпалерами по обеим сторонам улиц Петербурга и далеко за заставу. Они должны были встречать генералиссимуса барабанным боем и криками «ура!» при пушечной пальбе и колокольном звоне, а вечером приказано зажечь во всей столице иллюминацию.

Немудрено, что подобные вести действовали на Суворова возбуждающим образом, крепили его дух и задерживали течение болезни.

С ослаблением болезни Александр Васильевич возвратился к своим любимым мечтам о кампании будущего года, о средствах к успокоению Европы, говорил и диктовал заметки о последней кампании.

Но больше всего он посвящал свое время и свои последние силы Богу, так как был Великий пост, который он привык проводить со всей строгостью, предписываемой церковными уставами. Вейкарту это очень не нравилось, особенно употребление пациентом постной пищи, но протестовал он без всякого успеха.

С большой натяжкой Вейкарт, наконец, разрешил тронуться в дальнейший путь, да и

то с условием ехать как можно тише. В Петербурге очень обрадовались полученному об этом известию, приняв его за доказательство выздоровления Суворова, но жестоко ошибались.

Отправлялся в столицу не Суворов, а, скорее, его призрак или тень; ехал он в дормезе, лежа на перине, заблаговременно сообщив на пути вперед, чтобы не было никаких торжественных встреч и проводов. Словом, было видно, что выздоровление генералиссимуса было более чем сомнительно.

Во время пути, кроме того, постиг его новый жестокий удар, которого он уже не мог вынести: внезапная немилость государя.

20 марта, при параде, отдано было в Петербурге высочайшее повеление:

«Вопреки высочайше изданного устава, генералиссимус Суворов имел при корпусе своем, по старому обычаю, постоянного дежурного генерала, что и дается на замечание всей армии».

В тот же день последовал высочайший рескрипт:

«Господин генералиссимус, князь Итальянский, граф Суворов-Рымникский. Дошло до сведения моего, что во время командования вами войсками моими за границую имели вы при себе генерала, коего называли дежурным, вопреки всех установлений и высочайшего устава, то и удивляюсь оному, повелеваю вам уведомить меня, что вас побудило это сделать».

Этот рескрипт и вообще немилость государя объявили больному не сразу, но он все же продолжал путь под гнетом непонятной опасности.

Первые дни он, хотя с трудом, но выносил дорогу. Потом это ему сделалось не по силам, и он принужден был остановиться в деревне, недалеко от Вильны. Лежа на лавке в крестьянской избе, он стонал в голос, перемежая стоны молитвами и жалея, что не умер в Италии. Однако припадки болезни мало-помалу стихли, больного опять положили в карету и повезли дальше.

Опальный генералиссимус въехал в столицу как бы тайком, медленно проехал по улицам до пустынной Коломны, остановился в

доме Хвостова на Крюковом канале, между Екатерининским каналом и Фонтанкою, и тотчас слег в постель.

Поворот в отношениях к нему государя хотя и был внезапен и крут, но в описываемое нами время не неожидан.

В царствование Павла Петровича завтра не было логическим последствием настоящего дня. Беду нельзя было предвидеть, и она налетела внезапно, без предваряющих симптомов. Никто не был уверен в завтрашнем дне.

Очень многие государственные люди, не исключая пользовавшихся долгою благоклонностью государя, держали наготове экипаж, чтобы отправиться с курьером по первому приказанию.

Подозрительность и недоверчивость Павла Петровича была так велика, что ее не мог избежать решительно никто, без исключения. Раздражительность государя тоже высказывалась так неожиданно и вследствие таких поводов, которые, по-видимому, ничего не значили.

Однажды происходил развод на сильном

морозе. Проходя мимо князя Репнина, Павел Петрович спросил у него:

— Каково, князь Николай Васильевич?

— Холодно, ваше величество! — отвечал Репнин.

Когда после развода поехали во дворец и Репнин хотел, по обыкновению, пройти в кабинет государя, то камердинер остановил его, сказав:

— Не велено пускать тех, кому холодно[25].

Александр Васильевич подвергся только общей участи, попав внезапно под опалу, и если опала его была явлением особенно заметным, то единственно потому, что он сам был человек особенно заметный и имя его гремело в Европе.

Тотчас по приезде Суворова в Петербург в дом Хвостова явился от государя князь Долгорукий, но, не будучи допущен к Александру Васильевичу, оставил записку, в которой было сказано, что генералиссимусу не приказано являться к государю.

Когда Суворову осторожно было доложено об этом, он заметил с горькой улыбкой:

— Все к лучшему. Мне бы и некогда было

зайти к нему. Я спешу к Богу.

XX

Здесь лежит Суворов

Суворов действительно спешил к Богу.

Болезнь шла быстро, приближаясь к роковому концу. Изможденное тело обессилело в борьбе с надвигающеюся силою смерти, и лишь живой дух боролся до конца, временно даже оставаясь победителем. Во время этих побед — коротких промежутков — Александр Васильевич, по-видимому, поправлялся, его поднимали с постели, сажали в большое кресло на колесах и возили по комнате.

Он спал уже не на сене, и обеденное время назначено было не утром, а во втором часу дня. Чувствуя себя лучше, Суворов то, по примеру последних лет, продолжал заниматься турецким языком, то разговаривал с окружающими о делах государственных и военных. Никто, однако, не слышал от него ни упреков, ни жалоб относительно немилости государя.

Память, впрочем, стала изменять ему. Хорошо помня и верно передавая давнее про-

шное, он сбивался в изложении последних кампаний и забывал имена побежденных им генералов.

Павел Петрович, узнав об отчаянном положении больного, прислал генерала Багратиона с изъявлением своего участия.

Было светлое майское утро.

Багратион вошел в комнату больного Суворова в сопровождении графини Натальи Александровны Зубовой. Весенние солнечные лучи с трудом пробивались сквозь опущенные шторы и занавеси комнат и полуосвещали постель, на которой лежал больной старец. У постели молча, сидели Аркадий Суворов и доктор.

Багратион обратился к последнему и тревожно прошептал:

— Как больному?

— Тело окончательно разрушается, но дух еще бодр, — отвечал тихо доктор, — дайте мне полчаса времени, и я с ним выиграю сражение.

— Но есть ли надежда на выздоровление?

— Никакой!

Генерал Багратион заглушил глубокий

вздых, вырвавшийся из его груди, так как в это время больной несколько раз пришел в себя и потухающими глазами стал вглядываться в своего любимца. Вдруг он оживился, узнал его.

— А!.. Это ты, Петр? Здравствуй.

Багратион молчал, пораженный тяжелым зрелищем живого трупа, каким выглядел Александр Васильевич. Последний продолжал после минутной паузы:

— Приходится расстаться, Петр. Ну, да я пожил довольно. Свое сделал. Помнишь Кинбурн, Рымник, Измаил?

— Можно ли забыть имена, которые вы обессмертили, — ответил Багратион.

— Да, да. Хорошее было время. Я все помню. Как теперь вижу. Но в Италии... Там дело не окончено. Идти надо в Геную, бить врага по-русски!.. Князь Петр, гони врага, разбей его. Разбей непременно! Мой пункт — Париж. Спасем Европу!.. А где Михайло? Где Милорадович? Скажи ему: лицом к врагу! С Богом!.. Слава... Мы русские!

Начался бывший с ним последнее время боевой бред. Доктор стал натирать больному

виски спиртом. Суворов замолчал, а через несколько минут опять очнулся.

— Что государь? — спросил он Багратиона.

— Он прислал меня узнать о вашем здоровье, — отвечал Багратион.

Александр Васильевич оживился, хотел было приподняться, но силы изменили ему, и он лишь слабо проговорил:

— Поклон мой в ноги царю, до сырой земли. Благодарю, поклон в ноги. Скажи... Ох! Больно!

Больной громко застонал. Начался снова горячечный бред. Генерал Багратион со слезами на глазах поцеловал сморщенную, высохшую руку полководца и вышел.

Визит Багратиона, как слабый знак милости государя, оживил больного, и болезнь дала ему несколько дней роздыху.

На другой день приехал доктор Гриф, первая знаменитость того времени, и стал ездить каждый день по два раза, каждый раз объявляя, что он прислан императором. Это больному доставляло видимое удовольствие.

Посещали Александра Васильевича и другие лица из родных и знакомых. Это не было

запрещено.

Приехал Растопчин с орденами, пожалованными Суворову французским королем-президентом. Александр Васильевич обрадовался гостю, но недоумевал:

— Какие ордена? Откуда? Не понимаю. Откуда французские ордена?

— Из Митавы и присланы королем.

— Из Митавы? — переспросил Суворов.

— Да. От короля.

— Французскому королю следует быть в Париже, а не в Митаве.

Жизнь все же медленно потухала. С каждым днем слабела память, и учащался бред; на давних, затянувшихся ранах открылись язвы и стали переходить в гангрену. Невозможно уже было обманываться насчет близкого исхода. Стали говорить умирающему об исповеди и причастии, но он не соглашался.

Ему не хотелось верить, что жизнь его кончалась. Зная его благочестие, близкие люди не унывали и наконец, убедили. Суворов исполнил последний долг христианина и прощался со всеми.

— Долго гонялся я за славой — все меч-

та, — сказал он, — покой души у престола Всемогущего.

В тоне его голоса было столько веры и чувства, что слушатели прослезились.

Однако то, чем он жил на земле, не могло оставить его сразу и при переходе в вечность.

Наступила агония — больной впал в беспмятство. Непонятные звуки вырывались у него из груди в продолжение всей тревожной предсмертной ночи, но и между ними внимательное ухо могло уловить обрывки мыслей, которыми жил он на гордость и славу отечеству. То были военные грезы — боевой бред. Александр Васильевич бредил войной, последней кампанией и чаще всего поминал Геную.

Стих мало-помалу и бред. Жизненная сила могучего человека сосредоточилась в одном прерывающемся хриплом дыхании, и 6 мая 1800 года, во втором часу дня, он испустил дух.

Последние слова его были:

— За мной, вперед!.. Бей!.. Коли!.. Ура!.. Победа!..

Тело набальзамировали и положили в

гроб, обтянули комнату трауром, вокруг гроба поставили табуреты с многочисленными знаками отличий.

Суворов лежал в гробу со спокойным лицом, точно спал, только белая борода отросла на полдюйма.

Скорбь была всеобщая, глубокая. Не выразалась она только в официальных сферах. «Петербургские ведомости» не обмолвились ни единым словом; в них не было даже простого извещения о кончине генералиссимуса, ни о его похоронах. Несмотря на это, печальная весть с быстротою молнии разнеслась по Петербургу, и громадные толпы народа, вместе с сотнями экипажей, запрудили соседние улицы. Не было ни проезда, ни прохода. Всякому хотелось проститься с дорогим для России покойником, но далеко не всякому удалось даже добраться до дома Хвостова.

Похороны были назначены на 11 мая, но государь приказал их перенести на 12 число, военные почести отдать покойному по чину фельдмаршала, а тело предать земле в Александро-Невской лавре. Главным распорядителем был Хвостов. Погребальная церемония

была богатая, и обошлась наследникам Суворова больше 20 000 рублей. Войска в погребальную церемонию были назначены, кроме одного военного полка, не гвардейские. Объяснили это тем, что гвардия устала после недавнего парада.

В 10 часов утра 12 мая начался вынос с большою торжественностью.

Духовенства было множество, в том числе придворные священники. Певчих было два больших хора, из которых один придворный, присланный по приказанию государя.

Ловкие и осторожные люди остереглись участвовать в процессии, и хотя таких было немало, но от этого не поредела громадная толпа, валившая за гробом. Еще большее скопление народа было на пути процессии, по всему протяжению Большой Садовой улицы и от Садовой по Невскому проспекту до лавры. Тут собралось почти все население Петербурга, от мала до велика. Балконы, крыши были полны народа. Во всех окнах торчали человеческие головы.

По свидетельству иностранцев-очевидцев, печаль и уныние выражались на всех лицах.

Во главе поджидавших печальную процессию находился и Павел Петрович с небольшою свитой на углу Невского и Садовой. По приближении гроба государь снял шляпу. В это время за спиной его раздалось громкое рыдание. Он обернулся и увидел, что генерал-майор Зайцев, бывший в итальянскую войну бригад-майором, плачет навзрыд.

Глаза императора сверкнули гневом, но то было лишь на мгновение. Он сам вдруг поднял руку к глазам и долго не отнимал ее. Изпод пальцев капали горячие слезы.

— Хвалю вас, сударь, за искренность чувства, — сказал он Зайцеву.

Пропустив мимо себя всю процессию, император шагом возвратился домой. Все сопровождавшие его молчали и слышали, как он несколько раз про себя заметил:

— Жаль, жаль!

Целый день он был грустен, всю ночь не спал, и камердинер его, спавший в соседней комнате, слышал, как он часто произносил: — Жаль, жаль!

Процессия достигла ограды лавры и вошла в нее. Гроб стали вносить в верхнюю мона-

стырскую церковь. Перед дверьми произошла остановка — явилось сомнение, пройдет ли гроб в довольно узкие двери.

— Суворов везде проходил! — раздался возглас одного из несших гроб ветеранов — сподвижников покойного.

Сомнение исчезло — гроб прошел. Началась божественная служба. Надгробного слова сказано не было, «но лучше всякого панегирика», — говорит очевидец, — придворные певчие пропели псалом, концерт Бортнянского.

Они пели:

*«Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небесного водворится.
Речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое.
Бог мой, и уповаю на него.
Яко той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна.
Плещма своими осенит тя и под криле его надеяшия.
Падет от страны твоя тысяща, и тьма одесную тебе; к тебе же не приблизится.
Яко ангелом своим заповесть о*

тебе, сохранить ты во всех путех твоих.

На руках возьмут ты, да не преткнеши о камень ногу твою.

На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия.

Яко на мя улова, и избавлю и покрью и, яко позна имя мое.

Воззовет ко мне, и услышу его: долгою дней исполню его, и явлю ему спасение мое».

Присутствовавшие не в силах были удержать слезы. Все плакали «и только не смели рыдать», — говорит тот же очевидец.

Отпевание кончилось...

Приступили к последнему целованию и понесли гроб к могиле, приготовленной в нижней Благовещенской церкви возле левого клироса. Залпы артиллерии и ружейный огонь раздались при опускании гроба в землю. Прах великого полководца скрылся от глаз живущих навеки.

На могильной плите его до 50-х годов была надпись:

*«Генералиссимус князь Италийский
граф Александр Васильевич Суво-*

ров-Рымникский. Родился 1729 года ноября 13 дня. Скончался 1800 года мая 6. Тезоименитство ноября 23».

Потом эта надпись была заменена другою, более лаконическою, на которую Александр Васильевич Суворов указывал при своей жизни:

«Здесь лежит Суворов».

XXI

Вместо послесловия

13 мая утром, когда уже окончилась ранняя обедня, к воротам Александро-Невской лавры подъехала дорожная карета, из которой вышла дама, одетая в глубоком трауре.

Подойдя к стоявшему у ворот привратнику, она что-то сказала ему вполголоса, и тот почтительно, без шапки, повел ее в ограду лавры, а затем, войдя в Благовещенскую церковь, он там указал могилу, в которую только что накануне были опущены останки генералиссимуса Александра Васильевича Суворова,

и тихо удалился, видимо боясь шумом шагов нарушить молитвенное настроение опустившейся на колени перед могилою посетительницы.

Пришедшая на самом деле горячо молилась, и искренние слезы ручьем текли по ее морщинистым щекам.

По ее высокой фигуре, исхудавшим чертам лица и глубоко впавшим в орбиты глазам в ней с трудом можно было узнать бывшую московскую красавицу княжну Варвару Ивановну Прозоровскую, впоследствии супругу покойного Суворова.

Весть о кончине последнего пришла в Москву дня через три, и Варвара Ивановна, несмотря на то, что выехала на другой же день по получении известия, опоздала к похоронам.

При самом въезде в Петербург она узнала, что генералиссимуса Суворова похоронили в Александро-Невской лавре, и приказала ехать прямо туда.

Смерть ее знаменитого мужа произвела на нее ошеломляющее действие, особенно ввиду того, что за последнее время она сделала тя-

желые открытия, пролившие иной свет на ее прошлое и окончательно убедившие ее в безусловной вине перед покойным супругом.

Это открытие указало ей на ту неизмеримую пропасть, которая лежала между ней, опозоренной и загрязненной близостью к негодяю, и им, теперь заснувшим вечным сном, — идеалом мужской нравственной чистоты.

Увы, несмотря на ее уже преклонные лета, Варвара Ивановна только недавно прозрела, чуть ли не накануне полученного известия о смерти ее супруга.

До тех пор она успокаивала свою совесть увлечением молодости, любовью, прощающей все, несходством характеров ее и мужа, так быстро, по-военному обвенчавшемся с ней, не дав ей даже узнать себя, тяжестью совместной жизни при крутом нраве Александра Васильевича, по летам годившегося ей в отцы.

В этих успокоительных размышлениях она как-то забывала о том гнусном условии, при котором она согласилась на этот брак по наущению Сигизмунда Нарцисовича Кржи-

жановского, ставшего ее любовником по прошествии медового месяца, тотчас после отъезда Александра Васильевича на театр войны с Турцией, когда она еще и не успела узнать крутой нрав, испытать тяжесть совместной с ним жизни.

Люди вообще, а женщины по преимуществу склонны к самооправданию.

Образ пана Кржижановского до последнего времени оставался если не любимым, то симпатичным Варваре Ивановне, хотя уже лет десять как она рассталась с ним, даже не знала, где он находится. Это случилось вскоре после смерти ее отца, князя Ивана Андреевича Прозоровского. Она осталась одна, получив маленькое наследство, с ограниченными средствами к жизни.

Сигизмунд Нарцисович стал сильно задумываться, сделался грустным, расстроенным. На вопрос ее о причинах такого состояния его духа он ответил уклончиво, а наконец объяснил ей, что ему опасно оставаться в России, так как его могут каждую минуту арестовать как участника в конфедератском движении, что ему необходимо уехать за границу.

Варвара Ивановна поверила любимому человеку.

Он приглашал ее с собой, но носимое ею громкое имя не позволяло ей решиться на такой скандал, как эмиграция, да она могла этим и повредить любимому человеку. Ее, по требованию мужа, могли возвратить дипломатическим путем. Так сказал ей Кржижановский — она поверила и этому и решилась спасти его хотя бы ценой горькой разлуки.

Она продала свое имение, все ценное обратила в деньги и отдала все своему кумиру «на дорогу». Он обещал ей вернуться, когда пройдет опасность, а теперь писать...

Она осталась с надеждой на более или менее близкое свиданье. Он написал ей два письма, а потом пропал без вести, как в воду канул. На ее письма, конечно, она не получила ответа.

«Он умер!» — решила она и стала его оплакивать.

То, что он ее оставил и бросил, не приходило ей в голову. Пьедестал образцовой честности, на который его поставил покойный ее отец князь Иван Андреевич Прозоровский,

стоял прочно в ее уме.

Годы шли.

В конце апреля 1800 года к жившей в доме своего мужа Варваре Ивановне явилась послушница из Никитского монастыря с просьбой пожаловать к матушке-игуменье.

— Зачем? — спросила графиня Суворова.

— Приезжая сестра из Киева гостит у матушки, разболелась опасно... Кажись, до завтра не выживет... Так пожелала вас видеть перед смертью.

— Кто она такая?

— Мать Досифея.

Это монашеское имя ничего не сказало уму и памяти Варвары Ивановны.

— Хорошо, я буду.

— Поспешите, ваше сиятельство, матушка-игуменья очень наказывала.

— Хорошо, хорошо, сейчас! Поедем со мной...

Через какие-нибудь полчаса Варвара Ивановна входила в настоятельскую келью игуменьи Никитского монастыря матери Валентины. Та рассказала ей то же, что ее посланная, провела в комнату, где лежала больная,

и, отворив дверь, впустила графиню одну.

На постели лежала исхудалая до неузнаваемости, с горячечным огнем горевшими глазами княжна Александра Яковлевна Баратова, в схиме мать Досифея. Графиня Суворова узнала ее по глазам.

Более часа провела она с глазу на глаз с княжной Баратовой и вышла, шатаясь, с красными от слез глазами. В руке она судорожно сжимала несколько листов мелко исписанной бумаги. Это был дневник покойной Капочки.

Графиня уехала, а через два часа мать Досифея тихо скончалась после церковного напутствия.

Весть об этой смерти графиня Суворова получила тотчас же, в то время, когда она чуть ли не десятый раз читала и перечитывала дневник несчастной Капочки.

Исповедь княжны Баратовой и этот дневник открыли глаза Варваре Ивановне — она поняла, что ее жизнь была «торжество змия».

Первою мыслью ее явилось ехать в Петербург к мужу, о болезни которого она знала, и на коленях вымолить у него прощение за на-

несенные ею ему обиды. Без этого прощения ее остальная жизнь представлялась ей адом.

Но в первую минуту ей сделалось страшно. Как она взглянет ему в глаза теперь, когда ей нет оправдания в измене ему для убийцы, для отравителя.

Под этими впечатлениями она все откладывала свой отъезд. Вдруг ее, как громом, поразило известие о его смерти.

«Скорей, скорей!.. — решила она. — Я вымолю это прощение у его тела».

Она поехала, но, как мы видим, опоздала.

У свежей могилы, над холодной плитой рыдала и мысленно каялась несчастная женщина, с надеждой взирая на холодный камень, покрывший прах так безжалостно оскорбленного ею мужа.

Но камень был нем...

Варвара Ивановна Суворова не решилась даже посмотреть на своих детей и в тот же день уехала обратно в Москву, Могильный камень ее мужа лежал у ней на душе.

Ад начинался...

Примечания

1

Какое несчастье! Какое несчастье!..

[^^^]

2

Плачьте, моя крошка, плачьте... Это лучшее, что вы можете делать при таких обстоятельствах.

[^^^]

Петрушевский А. Генералиссимус князь Суворов. Т. I.

[^^^]

4

Записки Энгельгардта, 1876.

[^^^]

Булгарин Ф. В. Суворов.

[^^^]

Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей
Петербурга.

[^^^]

Стромилов Н. Н. Цесаревна Елизавета Петровна в Александровской слободе.

[^^^]

Пыляев М. И. Старый Петербург.

[^^^]

Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей
Петербурга.

[^^^]

Капуя, Капуа (*итал.* Capua) — город и крепость в Южной Италии. Выражение «капуанская нега» (*фр.* Les délices de Capoue), означает легкие радости и расслабление.

[^^^]

Петрушевский А. Генералиссимус князь Суворов. Т. I.

[^^^]

Петрушевский А. Генералиссимус князь Суворов. Т. I.

[^^^]

Петрушевский А. Генералиссимус князь Суворов. Т. I.

[^^^]

Булгарин Ф. В. Суворов.

[^^^]

Петрушевский А. Генералиссимус князь Суворов.

[^^^]

Исполáть — устар. хвала, слава (в восклицательном обращении).

[^^^]

Фашинник, фашина (нем. Faschine) — связка хворосту, вязанка прутьев, сноп; фашинами войско загачивает топкие места.

[^^^]

Таровата — то же, что щедра.

[^^^]

Пешрушевский А. Генералиссимус князь Суворов.

[^^^]

Фурман П. Р. Князь А. В. Суворов-Рымникский.

[^^^]

Ретраншемент (фр. retrancher — укрепить, обнести окопами) — фортификационное сооружение, внутренняя оборонительная ограда, расположенное позади какой-либо главной позиции обороняющихся, позволяющее обстреливать пространство за нею и принуждающее противника, овладевшего главной позицией, вести дальнейшую атаку.

[^^^]

Фурман П. Р. Князь А. В. Суворов-Рымникский.

[^^^]

Готово. Да, да. Это хорошо! (нем.)

[^^^]

Фурман П. Р. Князь А. В. Суворов-Рымникский.

[^^^]

Петрушевский А. Генералиссимус князь Суворов.

[^^^]